МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

А. М. НЕКРИЧ

ОТРЕШИСЬ ОТ СТРАХА
Воспоминания историка



А. М. Некрич

Отрешись от страха

Воспоминания историка



Москва
Берлин
2019

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
Н48

Некрич, А. М.

Н48 Отрешись от страха : Воспоминания историка / А. М. Некрич. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. — 429 с.

ISBN 978-5-4475-9872-3

Произведения историка-исследователя, специалиста по советской и российской истории, публициста Александра Моисеевича Некрича (1920–1993 гг.) отличает яркий и увлекательный стиль повествования. Книга воспоминаний «Отрешись от страха» была написана А.М. Некричем в эмиграции, куда ему пришлось уехать из СССР после того, как ряд его работ вызвал недовольство властей. Мемуарные записи были изданы в Лондоне в 1979 г. Со слов самого автора, это воспоминания, в которых рассказывается «…с возможной достоверностью о событиях, участником и свидетелем которых я был последнюю четверть века, т. е. после окончания Второй мировой войны».

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-9872-3

Оглавление

Если ты человек, то будь им.
Ибо иного выхода у тебя нет.

Ежи Лец

Вместо предисловия

Вот и пришло время для воспоминаний. Мне 52 года. Я уже чувствую безостановочное движение времени. Оно измеряется все меньшими и меньшими величинами: сначала то была вечность, затем десятилетия, потом годы, а теперь счет идет уже на месяцы, недели, дни, и снова наступит вечность...

Уже прошло пять лет, как круг моих служебных обязанностей сужается все больше и больше. Мое исследование по истории внешней политики Великобритании третий год лежит без движения, апробированное специалистами, утвержденное к печати Ученым советом института и заблокированное в Редакционно-издательском совете Академии наук СССР. Мои протесты оставлены без внимания. У меня нет аспирантов, так как мое начальство полагает, что ничему хорошему я их научить не могу.

Время от времени, раз в год или в два, напечатают в институтском малотиражном издании мою статью, и все мои коллеги поздравляют меня с таким радостным видом, как обычно восхищаются успехами второгодника, который наконец-то перешел в следующий класс.

Все это мне порядком надоело.

И чтобы не погибнуть от преждевременного склероза, а также, разумеется, в назидание всем, кто пожелает прочесть эту рукопись, я взялся за перо, т. е. сел за пишущую машинку, предварительно промыв шрифт бензином и вставив новую ленту. И если я буду здоров, если не сломается машинка, если в магазине можно будет приобрести писчую бумагу, если... то я постараюсь рассказать с возможной достоверностью о событиях, участником и свидетелем которых я был последнюю четверть века, т. е. после окончания Второй мировой войны.

Я знаю, что расскажу не о всех событиях и не о всех их участниках, так как большинство из них живет в Советском Союзе, и я боюсь ненароком повредить им. Но хочу помянуть добрым словом моих друзей и знакомых, даже не называя их по именам. Пусть не сочтут мое умолчание за обиду.

Москва, 1972

Глава 1. Возвращение

И снова к отмели родной,
О старой памятуя встрече,
Спешит — увы, уже иной!
А тот, кто был, пропал далече...

Вячеслав Иванов

Из Восточной Пруссии в Москву. — Аспирант Майского. — В Институте истории. — Холодная война бушует внутри страны. — Яков Харон и Гийом дю Вонтре. — Мандель появляется. — Стихи, стихи... — Мы тонем! — Гохан караимский Хаджи-Сараи Шапшал.

В первых числах августа 1945 г. у платформы «Безымянка», что у Рижского вокзала, выгрузился эшелон, прибывший из Восточной Пруссии. В Москву прибыло полевое управление 2-ой Гвардейской армии. По решению вышестоящих инстанций офицеры штаба и политотдела армии должны были пополнить штаб и политуправление Московского военного округа. А пока что нас отправили в Алешинские казармы, неподалеку от автозавода им. Сталина.

Москвичам повезло, ведь они возвращались домой!

Месяц я провел на полуказарменном положении, т. е. ночевал дома, бродил по Москве, встречался с друзьями и являлся в казарму лишь на утреннюю поверку. Постепенно казармы начали пустеть: кто уже получил назначение на новую работу, а кто и отпуск и мчался в родные места. Я подал рапорт о демобилизации. В конце концов мое желание вернуться в суету цивильного мира было удовлетворено. Приказом Главпурра от 7 сентября 1945 года гвардии капитан Некрич Александр Моисеевич был уволен в запас.

* * *

Мне шел 26-ой год. С тех пор как для нашей армии окончилась война, а было это через несколько дней после взятия Кенигсберга, т. е. с середины апреля 1945 г., я изнывал на восточно-прусском курорте Раушен, где дислоцировался штаб нашей армии. Мысленно я уже видел себя дома. Я мечтал о занятиях, мне хотелось учиться. Казалось, что я смог бы просидеть над книгами все 24 часа не разгибая спины.

Правда, иногда на меня находила тоска — я думал о своем погибшем в 1943 г. старшем брате Вове, о невозвратившихся с войны своих университетских товарищах Руньке Розенберге и его брате Оське, о Мише Полляке и о других, я вспоминал об убитых товарищах-политотдельцах — капитане Седове, капитане Лохине, подполковнике Глинском, о нелепой смерти Шуры Аверкиевой (случайная пуля из внезапно выстрелившего пистолета убила ее, спящую, наповал. Было это в Литве в 1944 г.) и о подобной же случайной гибели политотдельского шофера Черемисина. Мне снилась война. По ночам я часто просыпался будто бы от гула пикирующих бомбардировщиков и разрыва бомб. Я вскакивал, но кругом было тихо — ведь война уже кончилась, и я был дома. Несколько лет подряд мне снился один и тот же сон, будто я иду по деревне, и вдруг на бреющем полете появились немецкие штурмовики. Кубарем сваливаюсь в канаву. Чуть приподнимаюсь и вижу всплески песка все ближе, ближе и… несильный удар в голову. Все тихо. Подымаюсь и ощупываю голову — огромная дыра справа. Зажимаю ее рукой и бреду по улице. Санчасть. Вхожу. Двое врачей оживленно разговаривают друг с другом. Увидев меня, встают, подходят, кладут на носилки и суют мне под нос тряпку с хлороформом. В полузабытьи слышу голос одного из врачей: «Он сейчас умрет». И в ту же секунду кровь хлынула из горла и ушей — во сне я пережил самую

классическую смерть. Я — умер. Но вдруг ярко забрезжил свет. Открываю глаза. Та же изба, те же двое докторов, мирно беседующих друг с другом. «Доктор, а я ведь не умер», — радостно говорю я. Врачи поворачиваются и удивленно смотрят на меня... Очень много раз повторялся этот сон. А потом исчез, как исчезли бесследно и гул самолетов, и разрывы бомб. И вместе с ними постепенно отодвигалась и уходила в полуреальный мир война.

Нет, я не чувствовал себя ни героем Ремарка, ни героем Хемингуэя. Я не верил, что молодость уже на исходе, и мне казалось, что молодые годы будут длиться у меня еще долго-долго. Одним словом, жизнь радовала меня, и я с большой охотой включился в бесконечный, казалось, хоровод встреч, пирушек, увлечений. С юных лет я любил драму и кино. Теперь я стал завсегдатаем каких-то премьер, генеральных репетиций и прогонов, закрытых кинопросмотров, концертов. Круг знакомых, особенно случайных, расширился неимоверно. Но круг близких друзей, как во времена детства и юности, оставался достаточно узким.

Светская жизнь все же не была самой главной моей заботой после возвращения с войны.

* * *

Немедленно после демобилизации я решил поступить в аспирантуру (в начале войны я окончил исторический факультет МГУ). Сначала я, конечно, пришел на истфак, но атмосфера, царившая там, мне не понравилась. Кто-то посоветовал мне сходить на Волхонку, в Институт истории Академии наук СССР. Была у меня мечта еще с детства стать дипломатом, потом прошла. Я помнил, что еще в 1940 г. мой старший брат, студент географического факультета МГУ, подумывал о поступлении в Академию внешней торговли, но секретарь комсомольской организации, к которому он обратился с просьбой о рекомендации, объяснил ему

по-товарищески, что в Академию принимают лишь членов партии и, подчеркнул он, только русских.

В конце войны до меня уже доходили слухи, что такого-то и такого-то политработника перевели на низшую должность или не утвердили в более высокой по причине его иудейского происхождения. Но, признаюсь по совести, я не хотел тогда думать об этом, тем более что по отношению к себе я в явной форме антисемитизма не ощущал. В Институте истории было два вакантных места в аспирантуру по специальности «Новая и новейшая история». Встретили меня там очень приветливо. Подозреваю, что моя военная форма и награды сыграли не последнюю роль. Для поступления в аспирантуру тогда требовались две рекомендации от профессоров, у которых абитуриент учился. Я обратился к проф. С. В. Бахрушину и к проф. В. М. Хвостову. Оба охотно откликнулись на мою просьбу.

Когда я пришел за рекомендацией к Хвостову В. М. (он был только что назначен директором Высшей дипломатической школы), то мне пришлось прождать в приемной часа полтора, что вызвало у меня большое раздражение. Я был приглашен последним, хотя пришел первым! Проф. Хвостов руководствовался иным принципом — степенью важности дела или значительности лица, ожидающего в приемной. Естественно, что я должен был быть последним по обоим этим признакам. Не раз я вспоминал об этом эпизоде и в последующие годы, когда наблюдал, как многие сотрудники Института истории вынуждены часами просиживать в приемной у директора Института — академика В. М. Хвостова. Но принял он меня по-дружески, написал отличную рекомендацию и даже выразил сожаление, что не может видеть меня в числе слушателей Высшей дипломатической школы, поскольку

«прием уже окончен». «Евреев просят не беспокоиться», — вспомнил я тогда реплику из кинофильма «Мечта» режиссера Михаила Ромма. «А они и не беспокоятся», — мысленно отпарировал я другой фразой из того же кинофильма и весело зашагал прочь.

Времени до вступительных экзаменов в аспирантуру оставалось очень мало, всего полтора месяца. Предстояло держать экзамен не только по специальности, т. е. по новой и новейшей истории Запада и по немецкому языку, но, по правилам того времени, нужно было сдать при поступлении кандидатский минимум по философии. Дней за 20 до экзаменов, видя, что времени на философию почти не остается, я решился на отчаянный шаг и отправился к академику-секретарю отделения общественных наук В. П. Волгину с просьбой разрешить мне сдать экзамен по философии позднее. Я назвал свое имя секретарю Деборе Петровне Рыковской, красивой и доброй женщине, недолго, увы, прожившей на свете. Вскоре из кабинета академика вышел толстый, румяный и веселый человек, который спросил меня, не сын ли я журналиста Моисея Исидоровича Некрича, который в 30-е годы работал в иностранном отделе газеты «*Экономическая жизнь*». Я подтвердил. «А я работал с вашим отцом там, и зовут меня Владимиром Владимировичем Альтманом», — сказал веселый человек. «Что у вас к Вячеславу Петровичу? — спросил Альтман. — Я его референт». Я сказал. Альтман мне отсоветовал обращаться с моей просьбой, предложил напрячь все силы, «сдать все экзамены», со смешком пожелал он и крепко пожал мне руку. Позднее я не раз с благодарностью вспоминал В. В.

По философии я получил «4», набрав таким образом 14 очков из 15, и был принят в аспирантуру сектора «Новой и новейшей истории». Я решил специализироваться по

новейшей истории Великобритании. Моим научным руководителем был назначен проф. С. В. Захаров.

Зима 1945/1946 годов была для меня трудной. Вдруг я начал болеть какими-то мелкими идиотскими болезнями: видно, то была запоздалая реакция организма на напряжение военных лет. К этому прибавились еще и неурядицы семейного характера, которые привели к концу 1946 г. к разрыву с женой. Я возвратился к родителям, в нашу однокомнатную квартиру, расположенную в полуподвале дома № 26/1 (угол ул. Горького и Старопименовского переулка, ныне ул. Медведева). Здесь мы жили начиная с 1926 года. Нас было четверо до войны, теперь осталось трое.

Мой научный руководитель Сергей Владимирович Захаров встретился со мной всего два раза. Был он человек очень занятой, так как работал в аппарате ЦК партии и, кроме того, преподавал в Высшей партийной школе. На меня он произвел впечатление доброжелательного и порядочного человека. Но Сергей Владимирович умер внезапно в возрасте далеко не старом. Так я остался без научного руководителя. Прошло несколько месяцев, и однажды заведующий сектором академик Абрам Моисеевич Деборин сказал мне: «Ну, у вас будет научным руководителем настоящий англичанин», но назвать имя отказался, лишь бросил веселый взгляд на меня из-под стекол своих очков. Спустя короткое время на заседание сектора пришел человек в дипломатической форме с маршальской звездой на погонах, приземистый, почти лысый, с небольшой черной бородкой клинышком. Многие знали его по фотографиям. Это был Иван Михайлович Майский, известный дипломат, наш посол в Лондоне, только что избранный академиком. Деборин рекомендовал его сотрудникам сектора как нового их коллегу. После заседания Деборин представил меня Майскому в качестве его

аспиранта. Так началось наше знакомство, перешедшее постепенно в дружеские отношения. Они продолжались вплоть до кончины Ивана Михайловича в августе 1975 года.

Сектор Новой и новейшей истории, в котором я был аспирантом до мая 1949 года, объединял группу ученых — западников и востоковедов, — многие из которых опубликовали в послевоенные годы фундаментальные исследования, прочно вошедшие в советскую историографию и в мировую науку. Но атмосфера в секторе была напряженной: коллектив раздирался групповыми интересами и склоками. Его руководитель академик А. М. Деборин был, несомненно, выдающимся ученым, но человеком необычайно мягким, не способным совладать со строптивыми сотрудниками, каждый из которых представлял собою индивидуальность. Кроме того, он был «бит», и не единожды, и это заставляло его проявлять осторожность и инертность там, где требовалось решительное и энергичное действие. А. М. Деборин был в те годы обременен многочисленными академическими обязанностями: зам. председателя редакционно-издательского совета АН СССР, редактор «*Вестника Академии наук*» и пр. Но «меньшевиствующего идеалиста» с 1931 года не подпускали к той науке, которую он любил и где проявил свой талант. Абрам Моисеевич Деборин был одним из образованнейших русских марксистов. Настоящее его имя было Иоффе, а Деборин сначала было его псевдонимом, а потом стало частью его фамилии.

Абрам Моисеевич родился в 1881 году в Каунасе (Литва) в бедной еврейской семье. В юные годы он научился слесарному ремеслу. В 1897 году в возрасте 16 лет Деборин стал участником нелегальных марксистских кружков. В 1903 году он покинул Россию из-за преследований царской полиции. В годы эмиграции он окончил Бернский университет (Швейцария).

Здесь он сблизился с Г. В. Плехановым и разделил многие из его взглядов. Деборин возвратился в Россию в 1908 году, принимал активное участие в борьбе против царизма. Во время революции 1917 года он недолгое время был председателем городского совета в украинском городе Полтава.

По своим политическим воззрениям Деборин был меньшевиком и вступил в ВКП(б) в 20-е годы по предложению С. Орджоникидзе, который и дал ему рекомендацию. Наиболее известная работа Деборина, многократно переиздававшаяся и переведенная на многие языки, — «*Введение в философию диалектического материализма*», — была написана накануне революции в России, в 1916 году. В 1922–30 гг. Деборин был редактором центрального теоретического органа коммунистической партии «*Под знаменем марксизма*». То были годы расцвета для Деборина — он преподает в Коммунистическом университете им. Свердлова в Москве, в Институте красной профессуры, в Коммунистической академии, работает заместителем директора Института Маркса и Энгельса. Он становится самым авторитетным лицом в области марксистской философии. Ортодоксальный марксист Деборин участвует в разгроме разных «еретических» течений в советской марксистской философии — т. н. механистов и др. Он борется с ними на теоретическом фронте достаточно беспощадно, возможно даже не отдавая себе отчета, что для личной судьбы носителей механистических взглядов обвинения в «ереси» могут иметь трагические последствия.

В 1929 году Деборин вместе с группой других обществоведов-коммунистов (среди них Д. Б. Рязанов) избирается членом Академии наук СССР. С этого времени в Академии наук быстро утверждается партийное влияние, которому она полностью подчиняется. Впоследствии Деборин занимал довольно высокие посты в академической

иерархии, даже после того как его работы были преданы остракизму.

Все последующее поколение философов — Митин, Юдин, Ранцевич, Луппол, Стэн — были учениками Деборина. Первые двое стали впоследствии ближайшей опорой Сталина в области идеологии, а остальные трое погибли во время репрессий. Между прочим, Стэн преподавал Сталину марксистскую диалектику и, как говорит молва, был не очень доволен знаниями своего ученика...

Решающим поворотным моментом в судьбе Деборина был его отказ в 1930 году провозгласить Сталина корифеем философской науки и главой философского фронта. Об этой истории поведал мне сам Абрам Моисеевич во время наших многочисленных доверительных бесед.

Вот что он мне рассказал. Летом 1930 года к нему пришли его ученики Юдин, Митин и Ранцевич и повели с ним разговор, что некоторые ученики Абрама Моисеевича, например, Луппол (он был академиком), связаны с троцкистами, и Абрам Моисеевич должен решительно от них отмежеваться. Слово «отмежеваться» было в то время очень популярным в партийном лексиконе и не утратило своего значения и в наше время. Короче говоря, Деборину было предложено предать своих учеников. Абрам Моисеевич был поражен, так как он был уверен в том, что Луппол никакой не троцкист. Поэтому он ответил, что у него нет никаких оснований отказываться от Луппола и других своих учеников или осуждать их. Но не это было главной темой разговора. Юдин, Митин и Ранцевич убеждали Деборина, что Сталин является не только руководителем всей практической деятельности партии, но и крупным теоретиком в области марксистской философии. «Кому, как не вам, всеми уважаемому философу-марксисту, заявить об этом открыто и провозгласить товарища Сталина вождем

философского фронта», — убеждали они Деборина. «Но, — наивно отвечал Деборин, — у Сталина же нет работ по философии». Беседа продолжалась чуть ли не три часа. Уходя, Юдин, Митин и Ранцевич еще раз просили Деборина подумать над тем, что они ему сказали — отречься от учеников-троцкистов и провозгласить Сталина главой философского фронта. «Тогда, Абрам Моисеевич, вы навсегда останетесь нашим любимым и почитаемым учителем». Деборин был в растерянности.

Очень скоро во время очередной встречи с заведующим отделом агитации Центрального Комитета партии Стецким Деборин услышал от него нечто похожее на то, что ему уже пришлось услышать от Юдина, Митина и Ранцевича. «Дело у нас идет к тому, — откровенно сказал ему Стецкий, — что у нас будет лишь один руководитель, один вождь и для практической деятельности, и в области теории. Двух вождей в партии быть не может».

Через некоторое время мне рассказали другую часть этой истории, которая показалась мне похожей на правду, хотя, конечно, абсолютной уверенности у меня ни тогда, ни теперь не было и нет. История эта гласит, что Деборин, очень высоко оценивая Сталина как практического деятеля, невольно сравнивал его с другим практиком — Фридрихом Энгельсом. Деборин послал Сталину письмо, в котором, напоминая о великом содружестве Энгельса и Маркса, предлагал Сталину такого же рода содружество с ним, с Дебориным. Говорят, что Сталин, прочтя это, якобы фыркнул: «Тоже мне Энгельс!» Себя Сталин не отказывался сравнивать с Марксом, но на роль Энгельса не соглашался... Этот полуанекдот как бы психологически дополняет портрет Сталина, и образ мыслей самого Деборина.

Как бы то ни было, Деборин отверг предложение провозгласить Сталина гением марксистской философии и

жестоко за это поплатился. Предсказание Стецкого скоро сбылось. Бывшие ученики Деборина — Юдин, Митин и Ранцевич — выступили с резкой статьей, в которой призывали к борьбе против любых отклонений от генеральной линии партии. Вскоре Деборин был объявлен «меншевиствующим идеалистом». Сам по себе этот термин был бессмысленным, ибо если считать Деборина меньшевиком, то он никак не мог быть идеалистом в области философии, ибо меньшевики были марксистской партией и всегда стояли на почве марксистской философии.

Сталин устроил очень ловкий трюк: он объединил два наиболее ненавидимых в Коммунистической партии Советского Союза понятия — «идеалист» и «меньшевик». Никто никогда не мог толком объяснить, что же это означает, но после 1931 г. появились многочисленные статьи против Деборина и его «школки». В одном из последних изданий «*Философского словаря*» этот термин — «меньшевиствующий идеализм» — отсутствует, а о А. М. Деборине написано, что он и его группа «недооценивали ленинский этап в развитии марксистской философии, недостаточно подчеркивали коренную противоположность марксистской и гегельянской диалектики»[1]. Довольно безобидные слова, резко отличающиеся от проклятий по адресу «меньшевиствующего идеализма» в сталинские времена.

После того как Деборин был объявлен «меньшевиствующим идеалистом», он был полностью отстранен от занятий философией. Деборин хотя и сохранил положение академика, что полностью обеспечивало материальные условия его жизни, был лишен возможности продолжать

---

[1] *Философский словарь*. Издание третье. Издательство политической литературы. — Москва, 1975, стр. 227.

занятия философией. На печатание его книг был наложен запрет. Многие из его учеников погибли во время террора 30-тых годов. Среди них были такие талантливые люди, как академик-философ И. К. Луппол, известный биолог, в прошлом один из руководителей Баварской Советской республики Макс Левин, физик Е. М. Гессен.

...В его кабинете я видел груды рукописей, скопившихся за 25 лет остракизма. Абрам Моисеевич, однако, не пал духом. Его острый ум ученого жаждал деятельности. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, он написал ряд статей по истории идеологии германского фашизма. Но когда уже после войны он попытался опубликовать большой труд на эту же тему, то дальше корректур дело не пошло. Книга так и не увидела света. Во время Второй мировой войны Деборин участвовал в создании военной программы деятельности Академии наук СССР, а после войны занимал ряд должностей в Академии наук. Постепенно, однако, его значение падало, и в конце концов его превратили в обыкновенного старшего научного сотрудника Института истории Академии наук СССР.

Организационными делами в секторе фактически ведала ученый секретарь П. О., дама с большими личными пристрастиями, которая не только не боролась со склокой, но и была душой одной из враждующих группировок. Так случилось, что во время выборов парторга сектора в 1947 г. конфликтующие стороны остановились на моей кандидатуре. Их устраивало и мое положение аспиранта, т. е. человека зависимого, и то, что я стоял в стороне от всех распрей. Каждая из сторон рассчитывала подчинить меня своему влиянию. Пришлось потратить немало усилий, чтобы пресечь склоку. После этого Абрам Моисеевич предложил мне исполнять обязанности ученого секретаря,

хотя я и был аспирантом. Таким образом, неожиданно для себя я оказался в гуще институтских дел.

В то время (1946–1947 гг.) Институт истории был учреждением небольшим (очевидно, не более 150 человек), но располагавшим кадрами очень высокой квалификации. Возглавлял институт академик Б. Д. Греков, считавшийся авторитетом в области истории русского феодализма и славяноведения. Русская история и славяноведение были представлены такими блестящими учеными, как С. В. Бахрушин, С. К. Богоявленский, Н. М. Дружинин, М. В. Нечкина, В. И. Пичета.[2] Под руководством этих ученых сформировалась целая плеяда способных историков, учившихся в то время в аспирантуре и докторантуре Института истории. Здесь оформился и коллектив будущего Института славяноведения, возглавленного академиком В. И. Пичетой. Сильной стороной деятельности «русской части» научного коллектива была публикация документов и источников. Среди западников были академик Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин, А. С. Ерусалимский, Л. И. Зубок, А. З. Манфред, С. Б. Кан, Б. Ф. Поршнев, Ф. О. Нотович, В. М. Турок-Попов и др. Среди востоковедов — А. Ф. Миллер, Г. Н. Войтинский, В. Б. Луцкий, А. Н. Киселев. Многие из сотрудников института только что вернулись с фронта, другие возвратились из эвакуации. Люди соскучились по привычной работе в архивах, в библиотеках. Постепенно все восстанавливалось, и жизнь, казалось, входила в нормальную колею. Я не случайно употребил слово «казалось», ибо на горизонте собирались грозовые предвестники идеологических бурь.

[2] Если я здесь не называю всех имен, то лишь потому, что сухое некомментированное перечисление имен может вызвать скуку у читателя.

* * *

Уже спустя год после окончания Второй мировой войны была в полном разгаре «холодная война». Очень быстро атмосфера холодной войны начала распространяться и на идеологическую область. На повестке дня встал «во весь рост» вопрос о борьбе с буржуазной идеологией и с ее проникновением в среду советских ученых. «Закручивание гаек» в идеологической области было связано не только с резким обострением отношений между Советским Союзом и его бывшими партнерами по антигитлеровской коалиции, но также с внутриполитической обстановкой. Опустошительная война, сопровождавшаяся фашистской оккупацией значительной части европейской территории страны, неслыханные человеческие жертвы и огромный материальный ущерб болезненно сказались на положении государства. Тяготы были огромные. Готовность на жертвы сопровождалась у многих, особенно у интеллигенции, надеждой на перемены, на демократизацию общества. Война разорвала границы, сломала заслоны, надежно оберегавшие души советских людей от «инфекции капиталистической заразы».

Советская армия вошла в Европу, неся освобождение ее порабощенным гитлеровцами народам. Гитлеровцы, фашисты были явными врагами. Они зверствовали, издевались, жгли и убивали. Лагеря смерти Треблинка, Освенцим, Маутхаузен, Дахау предстали перед солдатами-освободителями. Не только видеть этот ад, — дышать было трудно... Солдаты стран антигитлеровской коалиции возвращались домой, справедливо убежденные в том, что они избавили мир от варварства, от фашистской чумы. Но кроме фашистских зверств многие и многие тысячи советских солдат и офицеров увидели и нечто новое, дотоле

им не известное. Реальность не всегда гармонировала с их представлением об этом чужом им мире, о котором они знали понаслышке из радиопередач и газет, из школьных учебников и по кинофильмам. Этот мир был более разнообразным. Он был окрашен не только в черный и белый цвета. Красок было больше, и еще больше — оттенков.

Советские люди, естественно, видели не только лагеря смерти, не только дымящиеся развалины. Они братались на Эльбе с американскими солдатами, дружески обнимались с французами и бельгийцами и целовались со своими славянскими братьями болгарами. Ну и, конечно, расспрашивали, кто как живет, да и сами зорко присматривались. Кругозор тех, кто побывал в заграничных походах конца Второй мировой войны, расширился неимоверно. И, возвратившись к себе на родину, законно гордящиеся победой не раз и не два вспоминали о странах, в которых довелось побывать, и рассказы эти были разные. Среди иных бродили чувства, аналогичные тем, какие были у юных офицеров, возвращавшихся в Россию после заграничного похода в 1815 году.

* * *

В 1947 году истек 10-летний срок тюремного или лагерного заключения для многих осужденных в 1937 году. И их начали выпускать. Неожиданно отворялась дверь дома и входили отцы, братья, жены, сестры, кого и ждать уже перестали. Ведь они были «врагами народа». Многие молчали о тех страшных муках, которые им пришлось пережить: кто боялся, а кто просто не хотел вспоминать, старался поскорее выбросить из памяти, вновь вернуться к жизни. Но рассказы о страшных местах, о концлагерях на Колыме, о тысячах погибших, замученных непосильной

работой, расстрелянных «за саботаж», т. е. за то, что они, обессиленные, не могли выполнить нормы, растекались по стране. Об этом шептали с глазу на глаз, на ухо, под аккомпанемент радиомузыки или воды, льющейся из крана. Но очень скоро отбывших срок начали вновь арестовывать и отправлять назад, на этот раз уже навечно. «Ошибка», допущенная властями, была ими же исправлена...

В 1947 году с Колымы приехал отец Павла Бутягина, химика, с которым меня после моего возвращения с фронта познакомил мой друг Жора Федоров. Бутягин-старший отбыл 10 лет и вот вернулся. Он был старым большевиком, подпольщиком. Во время гражданской войны Юрий Бутягин командовал XI армией, где членом Реввоенсовета был С. М. Киров. В мирное время он был на видной хозяйственной работе. Человек безупречной репутации, умный и веселый, был превращен по мановению невидимого жезла, подобно сотням тысяч других, во «врага народа» и получил самую высшую меру для тех, кого оставили в живых, — 10 лет. И вот он вернулся, не сломленный. Но однажды ночью за ним пришли в дом в Колобовском переулке № 25, кв. 21 и увезли его. Вскоре он скончался в Казанской тюремной больнице.

В том же 1947 году я познакомился с отбывшим 10-летний срок в Сибири сценаристом, музыкантом и звукооператором Яшей Хароном. Ему было 19 лет, когда его арестовали и обвинили в подготовке террористического акта. Он попал в тюрьму, в лагерь, затем работал на заводе. Вместе с ним прибыл его друг по заключению Юра Вайнер.

Люди они были необычайно талантливые. Они сочинили в заключении и привезли с собой томик сонетов, изящных, остроумных и глубоко поэтичных. Эти сонеты они выдавали за якобы принадлежащие французу Гильому де Вонтре (на самом деле такого не существовало), гугеноту, будто бы

жившему во времена Лиги и Генриха Наваррского. Харон собирался вернуться на Свердловскую киностудию, куда он поступил работать после освобождения. Вайнер оставался в Москве. Через месяц-другой мы провожали Харона на платформе Казанского вокзала. Было грустно. В купе уже сидел неприятного вида человек средних лет. Яша с какой-то тревогой посмотрел на него. И у всех провожающих было какое-то предчувствие несчастья. Мы обнялись с Яшей, расцеловались и... расстались вплоть до 1956 года. По приезде в Свердловск Яша был арестован вновь. Стоит рассказать о его дальнейшей судьбе. После вторичного освобождения он стал звукооператором московской киностудии «Мосфильм», участвовал в создании многих фильмов и показал себя специалистом необычайной профессиональной виртуозности. Но ему не удалось осуществить «голубую мечту юности» — поставить фильм о Гарибальди по собственному сценарию.

Яша обрел и семью. Он женился на Светлане Корытной, человеке столь же трагической судьбы, что и Яша. Дочь секретаря ЦК ЛКСМУ Корытного, арестованного в те страшные годы, и племянница командарма И. Якира, расстрелянного в 1937 году, Светлана после ареста отца была отправлена в специальный детский дом, где детям внушали, что их родители предатели, враги народа, и дети обязаны были ругать, клеймить и проклинать своих родителей.

Шли годы. Светлана встретилась с Хароном, поженились. У них родился сын. Светлана стала кинокритиком, опубликовала несколько лет назад интересную книжку. Последний раз я встретил ее на спектакле «*Как вам это понравится*», поставленном студентами в клубе МГУ несколько лет тому назад.

Вскоре Светлана покончила с собой. Рассказывали, что последние месяцы перед самоубийством, она была в

подавленном состоянии, говорила о возрождении сталинизма и о том, что впереди снова маячат тюрьмы и лагеря. Яша долгие годы болел туберкулезом. Он недолго прожил после смерти Светланы и умер, оставив 12-летнего сына. За несколько месяцев до смерти ему присвоили звание заслуженного деятеля культуры РСФСР. Перед смертью его одолевали кошмары, и в бреду он повторял: «Лаврентий Павлович (т. е. Берия — *А. Н.*), отпустите меня, прошу вас, отпустите меня!»

Трудно сказать, о чем вспоминал он в последнем предсмертном бреду. Может быть, это было искаженное воспоминание о том, как следователь сказал ему, 19-летнему юноше: «Я убедился, что вы не виновны. Сейчас вам принесут паспорт, и вы отправитесь домой. Вы мне так понравились. У меня такая тяжелая работа. Я хотел бы подружиться с интеллигентным человеком. Разрешите мне иногда навещать вас дома». И, действительно, принесли паспорт и пропуск на выход из здания на Лубянке. Они вышли вместе. «Вот и машина, — сказал следователь. — Разрешите мне поехать вместе с Вами, я Вас провожу». Так вместе поднялись они по лестнице дома, где жил Яша Харон. Яша протянул руку к звонку, и... следователь задержал его руку и сказал: «Извините, я забыл. Простая формальность. Надо расписаться вот здесь» — и протянул Яше протокол, в котором было написано, что он, Яков Харон, признает себя виновным в подготовке террористического акта. Но именно это признание Яша Харон отказывался сделать на следствии. «Я не могу подписать это», — сказал потрясенный Харон. — «Ах, не можешь?! Мерзавец! Кругом! Марш в машину!» — и Яша отправился в лагерь.

Спустя некоторое время мы узнали и о трагическом конце Юрия Вайнера и его жены. Приехав в Москву, он женился на женщине, которую любил издалека. Он посвятил

ей свои сонеты, назвав ее в них графиней Л. Вайнера, так же как и Харона, отправили на вечное поселение. Жена Вайнера, которая была уже беременна, повесилась на следующий после его ареста день. Сам Вайнер, когда узнал о гибели жены, по одной версии, умер от сердечного приступа, по другой — бросился в шурф шахты.

Среди 100 сонетов Харона и Вайнера было, разумеется, несколько, которые мне особенно понравились. Вот один из них:

Казнь шевалье Бонифаса де Ла-Моль

Народная толпа на Гревском поле
Глядит, не шевелясь и не дыша,
Как по ступенькам скачет, словно шар,
Отрубленная голова Ла-Моля...

Палач не смог согнать с нее улыбку!
Я видел, как веселый Бонифас,
Насвистывая, шел походкой гибкой,
Прощаясь взглядом с парой скорбных глаз.

— Одна любовь... Все прочее — химера!
Друзья? — предатели! Где честь, где вера?
Нет, лучше смерть, чем рабство и позор!

... Вот мне бы так: шутя, взойти на плаху,
Дать исповеднику пинка с размаху
И — голову подставить под топор!

Вот другой:

Пепелище

Неубранное поле под дождем;
Вдали — ветряк с недвижными крылами,
Сгоревший дом с разбитыми глазами,
Ребенок мертвый во дворе пустом...

Ни звука, ни души. Один лишь ворон
Кружит над трубами. Бродячий пес
Меж мокрых кирпичей крадется вором.
Забытый арбалет травой зарос...

Все выжжено, все пусто, все мертво.
Чей путь руинами села украшен?
Кто здесь прошел — паписты? Или наши?

Как страшен ряд несчастья твоего,
О, Франция! Ты вся в дыму развалин:
Твои же сыновья тебя распяли...

Как жаль, что сонеты Яши Харона и Юры Вайнера не увидели света. А сейчас, коль скоро речь зашла о поэзии, хочу рассказать еще об одном «приобретении» конца 40-х годов.

Не помню, кто привел в дом к Федоровым этого небольшого роста, близорукого юношу. Паренек, видно, жил впроголодь, как и полагается талантливому поэту. Был он студентом второго курса Литинститута им. Горького. Теперь его имя известно не только всей читающей России, но и далеко за ее пределами. Несколько лет назад он покинул Россию и поселился в США. В то время его еще не печатали, но по своей рассеянности он оставлял то там, то здесь клочки бумаги со своими стихами, что доставляло ему немало неприятностей. Он вошел в дом, буркнул что-то вроде: «Меня зовут Мандель», а, может, он просто сказал: «Эмка», — сейчас уже не помню. Но прекрасно запомнил, какое огромное впечатление произвели тогда на нас его первые юношеские, далеко не зрелые стихи. Было в них глубокое чувство гражданственности и лирики вместе с тем.

В те годы им были написаны такие стихи, как «Якобинец», «Невеста декабриста», «Возвращение» и многие другие. Я помню, как потрясли меня тогда «Стихи о детстве

и романтике». Они были не только глубоко лиричны, но в них уже горел огонь гражданственности, столь характерный не только для Эмки Манделя, но и для Наума Коржавина (псевдоним, взятый Манделем).

Гуляли, целовались, жили-были...
А между тем, гнусавя и рыча,
Шли в ночь закрытые автомобили
И дворников будили по ночам.

Давил на кнопку, не стесняясь, палец.
И, как по нервам, прыгала волна...
Звонок урчал... И дети просыпались,
И вскакивали женщины со сна.

А город спал. И наплевать влюбленным
На яркий свет автомобильных фар,
Когда цветут акации и клены,
Роняя аромат на тротуар.

Я о себе рассказывать не стану:
У всех поэтов ведь судьба одна...
Меня везде считали хулиганом,
Хоть я за жизнь не выбил ни окна...

И я смотрел со злобою и лютью,
И я поверить не умел никак.
Когда насквозь неискренние люди
Нам говорили речи о врагах...

Романтика, растоптанная ими,
Знамена, пропыленные кругом...
И я бродил в акациях, как в дыме...
И мне тогда хотелось быть врагом.

Стихи Манделя приходили слушать к Федоровым многие друзья и приятели. У меня нет уверенности в том, что в Литинституте среди коллег Эмки не было таких, которые относились к нему с недоброжелательством. Скверная привычка терять или забывать свои стихи, откровенность в разговорах с разными людьми, а, главное, атмосфера гнета, подозрительности и страха, стремление власти убирать тех, чьи головы чуть-чуть возвышаются над головами других или потенциально могли возвышаться, привели к аресту Манделя в 1947 году. Не исключено, что непосредственным поводом к аресту послужило стихотворение «16 октября».

После смерти Сталина такое стихотворение рассматривалось бы скорее как аполлогетическое, особенно последнее четверостишье. Но само упоминание о самом тяжелом и далеко не славном в истории обороны Москвы дне, дне паники, бегства и исхода тысяч жителей столицы, считалось тогда преступлением. Да и в наши дни не очень любят напоминания о 16 октября 1941 года. В связи с арестом Манделя был произведен обыск и у Жоры Федорова. Благодаря находчивости его жены Майи, удалось спасти тетрадь со стихами Манделя. Эмка отправился в Новосибирскую область на три года. Еще три года он прожил затем в Караганде. Мы не забыли и не бросили его. Слали ему в ссылку теплые вещи, продукты и пр. и надеялись на его скорое возвращение. К счастью, он вернулся.

* * *

...Мы тонем! Тонем не фигурально, а буквально. Мы, т. е. Жора Федоров и я, отчаянно барахтаемся в волнах озера Гавела в Трокае и скоро, обессиленные, опустимся на дно морское. Тогда все местные жители со вздохом облегчения полезут купаться, ибо существует поверье, что озеро становиться безопасным для купанья только после того, как

кто-нибудь утонет. Всевышний наказывает нас за любопытство, за откровенную наглость. Наша знакомая актриса отправилась с местным владельцем парусной лодки на остров посреди озера будто бы собирать орехи и что-то очень долго не возвращается. И мы, обуреваемые нездоровым любопытством, погрузились в байдарку и погребли к острову. Неожиданно налетел шторм. Наша байдарка немедленно наполнилась водой, и мы очутились в воде довольно далеко от берега. Театральный реквизит, одетый на нас, промок, и только помощь извне могла нас спасти. На берегу переполох. Какая-то девочка разбудила спавшую под деревом Майю и радостно закричала: «Тетя Майя! Тетя Майя! Ваш муж тонет!» Лодок поблизости не было, и кто-то на лихтвагене помчался на противоположный берег за лодкой. И вдруг свершилось чудо. Яхта отделилась от острова (видно, Аня и Павлик досыта наелись орехов) и с надутым парусом мчится прямо на нас. Еще мгновенье и... На берегу восторженные возгласы и крики «Ура!» И... яхта круто разворачивается и уходит от нас в сторону. На берегу — крики, проклятья, мат. Вторично яхта приближается к нам и берет нас на борт. Оказывается, услышав восторженные крики, Павлик решил, что он въехал в зону киносъемки, а тонем мы согласно сценарию. Однако привычный русский мат заставил его усомниться и вернуться к нам. Провидение на этот раз решило нас лишь попугать. Но чтобы мы ясно поняли Его намерение, часом позднее, когда мы возвращались на той же яхте на другой берег озера, мачта неожиданно рухнула. Мой отец, узнав про наше приключение, сказал: «Друзей, которые вместе тонут, не разольешь водой».

...В то лето 1947 года Жора и Майя, ее мать, кинорежиссер Вера Павловна Строева и я, независимо друг от друга очутились в Литве. Жора отправился в археологическую разведку, Вера Павловна снимала фильм «Мария

Мельникайте» («Марите»), а я по профсоюзной путевке отдыхал в Гируляе, близ Клайпеды. Потом неожиданно мы сошлись у Веры Павловны в гостинице «Бристоль» в Вильнюсе, и она предложила нам сниматься в эпизодах. Я с восторгом принял это предложение, так как очень нуждался в деньгах, а за эпизод платили по 75 рублей в день, т. е. $^{1}/_{10}$ часть месячной стипендии аспиранта. Слава киноактера не очень прельщала меня — после войны и фронта честолюбие такого рода исчезло. Но деньги получал я не зря, а зарабатывал их тяжелым трудом. Мне была поручена роль батрака, который по ходу действия, сидя верхом на судной лошади и ведя на поводу другую, ехал под проливным дождем. Дождь был более проливным, чем натуральный: меня поливали из пожарного брандспойта ледяной водой под давлением в несколько атмосфер. К тому же я по ошибке вскочил на кобылу, а жеребца вел на поводе. Жеребец пытался все время покрыть кобылу. И лишь струи воды несколько охлаждали его пыл... и леденили мне тело. Горек актерский хлеб! Жора устроился, как всегда, очень неплохо: то он исполнял роль батрака, перетаскивающего мешки (в них было сена граммов на 500), то раненного партизана. Картина вышла на экраны, пользовалась успехом, но нас в картине не было. Кадры с нами были вырезаны при монтаже!

Во время съемок в Литве мы подружились с Таней Ленниковой, молодой актрисой, исполняющей роль Марии Мельникайте. Она была приятной, милой девушкой, страстно рвавшейся на сцену. Одаренная от природы, Таня тогда еще только осваивала актерское мастерство. Позднее она поступила в Московский Художественный театр (МХАТ) — ее мечта исполнилась. Сыграла там много (для МХАТа) ролей, стала заслуженной, потом народной. Вышла замуж за Андрея Петрова — артиста и режиссера, чудного парня с цыганскими глазами. Мы дружили много лет, но

постепенно наши пути расходились... Мы виделись все реже и реже, а потом были лишь телефонные звонки, а затем и они прекратились. Жизнь (а, может быть, система Станиславского?) развела нас. Иногда, когда я разбираю старые бумаги, мне попадается фотография Тани и на ней надпись «Дорогому, любимому другу».

Другим «приобретением» из Литвы была белорусско-литовская девушка Галя, которая также рвалась в кино и на сцену. Потом она училась в Москве, вышла замуж, уехала в Ереван, родила там троих детей, стала кинокритиком. Муж ее, бывший студент операторского факультета Гурген, стал популярным в столице Армении фотографом. В те годы Гурген пытался выяснить у меня один очень волновавший его вопрос: «Послушай, Саша, — говорил он, — мы же любим негров. Почему у нас не играет негритянский джаз?!» В самом деле, почему? Потом мы дружили долгие годы.

* * *

Сергей Маркович Шапшал, Хаджи-Сераи Шапшал, так звучало его имя по-караимски, был открытием Жоры, сделанным в Вильнюсе тем же жарким летом 1947 года. Просто удивительно, как Жора, абсолютно не ориентируясь в уличных переплетениях городов, набрел на музей караимских древностей. Вечером того же дня он с увлечением рассказывал мне о музее, но больше всего о хранителе музея. Признаюсь, я скептически отнесся к его рассказу, так как помнил шутку студенческих лет, что рассказы Жоры надо всегда делить на 11 — это и есть коэффициент достоверности. Но на этот раз я ошибся. Не буду здесь подробно писать о Шапшале — Жора уже сделал это в рассказе «Зеленая рута», опубликованном сначала в «*Новом мире*», а затем в сборнике «*Дневная поверхность*».

Шапшал был гоханом караимским, т. е. духовным и светским главой караимов всего мира. В Трокае с 1920 года находилась его официальная резиденция. Он был выдающимся востоковедом, членом многих академий и научных обществ. Сергей Маркович был другом наших знаменитых соотечественников, востоковедов Игнатия Юлиановича Крачковского и Василия Михайловича Алексеева. Шапшал собрал уникальную коллекцию караимских, восточных и польско-литовских древностей, включая оружие, утварь, рукописи, монеты и многое другое. В 1940 году он подарил свою коллекцию советскому государству и был оставлен хранителем собственного музея с мизерным жалованием в 750 рублей. Ему удалось сберечь коллекцию во время оккупации и сохранить также жизнь своим соотечественникам. К Шапшалу повадился ходить один ученый немецкий полковник, работавший в штабе Розенберга «Остланд». Он вовремя предупредил Шапшала о готовящемся истреблении караимов и давал очень полезные советы. Для того чтобы спасти караимов от истребления (оккупанты обрекли их на смерть, как евреев), Шапшал, по совету немца, написал меморандум об истории происхождения караимов. Меморандум был составлен весьма искусно — истребление караимов было прекращено. Шапшал, человек большого личного мужества и кристальной честности, не мог не выразить своего осуждения антисемитским действиям гитлеровцев. В том же меморандуме были слова: «Заповеди Моисеевы и по сей день являются основой мировой цивилизации. Этой исторической заслуги еврейского народа никому не удастся ни забыть, ни зачеркнуть».

Сергею Марковичу удалось полностью сохранить музейные ценности во время оккупации. Обманув немецкое командование, он, получив приказ эвакуировать ценности в

Германию, набил ящики кирпичами и отправил их. С 1944 года он снова стал хранителем музея с тем же жалованием в 750 рублей, на которые он должен был существовать вместе со своей женой — первой женщиной в России, ставшей врачом-окулистом. Если бы не поддержка караимской общины, Шапшал и его жена были бы обречены на голодное умирание. Как же отблагодарило его советское государство?

Мы познакомились с Шапшалом в тяжелое для него время, когда по злобе и невежеству местных начальников караимская церковь была отнесена вместе с католической к врагам советской власти. Было принято решение о ликвидации музея караимской культуры и о передаче его фондов в общелитовский музей истории и этнографии. Надо было действовать и действовать без промедления. По счастью, у меня был с собой партбилет, и я отправился в ЦК КП Литвы. Инструктор отдела культуры мне попался доброжелательный и неглупый. Удалось убедить его не торопиться с ликвидацией музея. Приехав в Москву, Г. Б. Федоров и я отправились к вице-президенту Академии наук академику В. П. Волгину. Он немедленно принял меры, и казавшееся неминуемым уничтожение музея было приостановлено. По его настоянию Шапшал был зачислен в штат Института истории Литвы. Однако получил он должность младшего научного сотрудника без ученой степени. И это в то время, как он был действительным членом Польской академии наук, профессором Петербургского университета, почетным доктором философии Львовского университета! Даже после того как по ходатайству академиков Крачковского и Алексеева и при поддержке Академии наук Литвы было возбуждено ходатайство о присвоении Сергею Марковичу степени доктора исторических наук без защиты диссертации, в Москву, в Высшую аттестационную комиссию полетел донос,

что Шапшал является служителем культа. Дело затормозилось. Понадобилось несколько лет упорной борьбы при активном участии В. П. Волгина, чтобы заслуженному ученому, которому в то время было свыше 80 лет, была присвоена степень доктора наук и он стал наконец-то старшим научным сотрудником с соответствующим окладом.

У Шапшалов не было детей, и когда он потерял жену, то подлинно близкими для него людьми осталась семья Федоровых. Он приехал в Москву, когда родилась Вера, старший отпрыск семьи Федоровых, и привез с собой старинную арабскую книгу судеб, по которой он составил Вере гороскоп, обещая ей счастливую творческую жизнь (Вера, окончив искусствоведческое отделение истфака МГУ, работала в музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, а затем вместе с мужем уехала в Израиль).

Между прочим, мне он также составил гороскоп. Выходило, что у меня будет много дочерей. Но, увы, мой гороскоп оказался ошибочным.

С. М. Шапшал прожил долгую жизнь. Он умер в возрасте 92 лет, этот высокий и стройный старик, в котором была воплощена, как казалось, вся мудрость и доброта мира.

Еще при жизни Шапшала единственный в мире музей караимских древностей все же был ликвидирован, и его фонды раскассированы в музее истории и этнографии Литвы.

Глава 2. По Космополитам... Огонь!

Врагу мы скажем: нашу Родину не тронь!
А то откроем сокрушительный огонь!
Песня сталинских артиллеристов

Космополиты безродные — главная опасность. — Григорий Распутин и Трофим Лысенко. — Погром в общественных науках. — Характеры Института истории. — Четвертая стихия. — История профессора Зильберфарба

Весной 1948 года меня вызвал к себе секретарь партбюро Института истории Василий Дмитриевич Мочалов.

— Ну, как там у вас в секторе дела? Какие настроения?

— Да вроде все в порядке, — отвечал я.

Выслушав мой краткий доклад о производственной работе сектора, Мочалов спросил: «Как держится академик Деборин?» Вопрос несколько озадачил меня. Какой-то скрытый и непонятный для меня смысл содержался в этом вопросе. «Что-нибудь случилось, Василий Дмитриевич?» — спросил я напрямик. — «Нет, «наверху» (т. е. в ЦК партии — *А. Н.*) интересовались. Что-то у него там дома, какие-то семейные перемены. Вы ничего не слышали об этом?» — «Нет» — совершенно искренне ответил я, но про себя подумал: «Не хватает мне только еще и чужими семейными делами интересоваться». Я знал, что у Абрама Моисеевича несколько лет тому назад умерла жена.

Мочалов эту тему разговора не продолжил, но сказал мне: «Александр Моисеевич, в вашем секторе не все благополучно. Весьма вероятно, что будут какие-то перемены. Постарайтесь быть в стороне». Сказал и встал. Разговор был окончен. «Предостережение богов», — подумал я. Но все-таки, нечего сказать, хороший совет секретаря партбюро парторгу — «оставайтесь в стороне»...

Вновь и вновь, обдумывая разговор, я приходил к убеждению, что в нашем секторе нет ничего тревожного и себя мне упрекнуть также не в чем. После этого разговора мои симпатии к старику Деборину еще больше возросли, так как над ним, видимо, нависла какая-то непонятная для меня угроза.

С середины 1946 года, спустя всего 10 месяцев после окончания Второй мировой войны, «холодная война» внутри страны была в полном разгаре. Пресса, радио, весь гигантский пропагандистский аппарат партии был мобилизован для нового идеологического наступления. Был объявлен поход против т. н. космополитов.

Набор еврейских фамилий, сдобренный для внешнего приличия двумя-тремя русскими или армянскими фамилиями, не оставлял сомнения в том, что под космополитами подразумеваются евреи, и что вся кампания носит антисемитский характер. Но не только. Очень скоро стало очевидным, что угроза гонений нависла над всеми, кто не дул в дуду идеологического конформизма.

Молнии нового крестового похода должны были устрашить, если не поразить тех, кто даже мысленно наедине с самим собой, позволял себе сомневаться или уклоняться от «ортодоксальной» веры, или, наоборот, кто слишком активно изучал марксизм и жаждал его «улучшить» на благо социализма. Это уже была даже более опасная ересь. Научные журналы наполнились крикливыми статьями, в которых чуть ли не все величайшие изобретения и открытия приписывались русским умельцам, русским первопроходцам, русским инженерам. Недаром позднее начали в шутку говорить: «Россия — родина слонов»; «русские часы самые быстрые в мире» и т. п. Вошедшие давным-давно в русский словарь иностранные слова стали беспощадно изгоняться из обихода. Им подыскивали соответствующие

допотопные синонимы; архаизмы выдавались за свидетельство патриотизма и благонадежности.

В журнале «*Крокодил*» появилась первая карикатура на космополитов. Ее автором был один из наиболее талантливых карикатуристов нашего времени Борис Ефимов, родной брат публициста Михаила Кольцова, расстрелянного в 1940 году. Братья были еврейского происхождения. На развернутом листе журнала Борис Ефимов ухитрился разместить всех уже официально названных литераторов-космополитов. Мне почему-то запомнился критик-диверсант Данин, который из лука целился прямо в сердце нашей родной литературы! Каков мерзавец, а?! Этот «юмористический» журнал прославился также статьей Василия Ардаматского «Пиня из Жмеринки», носившей откровенно антисемитский характер. И это происходило всего спустя два года после процесса в Нюрнберге над гитлеровскими главарями, всего два года после того, как перед всем миром раскрылась ужасающая картина уничтожения фашистскими извергами 6 миллионов евреев.

Тот, кто склонен расценивать поход против «космополитов» как нечто из ряда вон выходящее или всего лишь как предсмертные судороги сталинской эры, рискует впасть в заблуждение. Идеологические ветры и бури ради «очищения» советского общества от «чужих» и «враждебных» взглядов и заодно от их носителей были и остаются одной из важнейших черт существующего в Советском Союзе общественного порядка. Идеологические чистки так же закономерны для нашего общества с первых же дней Октябрьской революции, как и массовые репрессии. Они являются одной из форм репрессий.

Новая идеологическая кампания продолжалась с крайне незначительными перерывами вплоть до самой смерти Сталина, постепенно перерастая в широкую кампанию

репрессий, которая по своим последствиям могла бы затмить новые репрессии 30-х годов. Кампания происходила на фоне т. н. ленинградского дела. Удар пришелся тогда не только по головке ленинградской партийной организации и органов государственной власти, но и был направлен также против творческой интеллигенции и ученых. Секретарь ЦК партии А. А. Жданов, вдохновитель этой кампании, публично клеймил Анну Ахматову, замечательную русскую поэтессу, Михаила Зощенко, оригинального и глубокого писателя. Заодно, спустя некоторое время после расстрела члена Политбюро Н. Вознесенского, секретаря ЦК партии А. Кузнецова и других, репрессии обрушились и на ленинградских историков-востоковедов.

В общественных науках кампания началась, когда крестовый поход против творческой интеллигенции был уже в полном разгаре, а в исторической науке — лишь после «усмирения» философов и уничтожения генетической науки.

Атмосфера того времени очень напоминала распутинщину. Место старца Григория занял Трофим Лысенко, сын крестьянина, достигший академических вершин.

Лысенко, конечно, не умел завораживать кровь, но зато прекрасно справлялся с уничтожением науки, а заодно и ученых в области биологии и генетики.

Жорес Медведев в одной из своих книг уже досконально исследовал этот вопрос и показал, какими методами было достигнуто возвышение Лысенко. Меня же, как историка, больше привлекла аналогия лысенковщины с распутинщиной. С первого взгляда такая аналогия может показаться несколько странной. На самом же деле, несмотря на разную конкретно-историческую обстановку, можно обнаружить ряд разительно схожих черт и обстоятельств.

Григорий Распутин возник на исторической арене в период глубокого нравственного кризиса царского самодержавия, разложения высших придворных кругов и царского окружения.

Кризис, охвативший царизм, выражался, в частности, в вере, в уповании на какое-то чудо, которое, дескать, спасет православную Россию. Появился старец Григорий Распутин, который будто бы умел заговаривать кровь (цесаревич Алексей, как известно, страдал несвертываемостью крови). Он сразу же приобрел как чудотворец огромное влияние на царский двор. Вокруг Распутина завертелась группа темных дельцов, старавшихся через влиятельного старца урвать для себя кусок пожирнее да побольше.

Трофим Лысенко появился как раз в то время, когда советское государство переживало острейший кризис, не только экономический, особенно продовольственный, но прежде всего — нравственный, ибо сгон с земли, массовое выселение крестьян по классовому признаку, а часто и просто по людской злобе, привели к массовому голоду и гибели миллионов людей. Позднее все это было названо «искривлениями», а в последние годы появилось красивое слово (между прочим, отнюдь не русского происхождения) «волюнтаризм», которым легко объяснить все, что происходило, происходит и, несомненно, еще будет происходить в нашей стране — все ошибки, нелепости и преступления.

Между прочим, старец Распутин этого слова не знал и все объяснял Божьим промыслом...

Лысенко обещал в короткий срок создать в стране изобилие продуктов, спасти земли от истощения и т. п. Поскольку сельскохозяйственная политика строилась на силе, или, как бишь его? — волюнтаризме, а не на науке, хотя и выдавалась за таковую, то следовало надеяться только на чудо. И Трофим Лысенко гарантировал, что чудо будет. Вот

поэтому-то он и был принят с распростертыми объятьями в высших партийных кругах.

Шутка ли сказать, изобилие! Это, пожалуй, почище, чем уметь заговаривать кровь!

Вера в лысенковское уменье «сотворить чудо» указывала на глубокий нравственный кризис, не говоря уже о невежестве советских верхов.

Трофиму Лысенко удалось сделать то, что Григорию Распутину даже и не мечталось: он создал лженауку, а подлинную науку — генетику — ликвидировал, а заодно и ее наиболее талантливых представителей (академик Николай Иванович Вавилов был уничтожен, а академик биолог Лина Штерн очутилась в тюрьме).

В практическом отношении лысенковщина причинила огромный вред, ибо на нее многие годы опиралась государственная политика, и лысенковщина, т. е. жульничество, показуха, заведомое введение в заблуждение, лженаука, распространилась по всей необъятной территории нашей страны, принося неисчислимые беды. Последователи Лысенко, его ученики заполнили не только научные учреждения Академии наук СССР, Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) но и партийный и государственный аппарат. Лысенковщина стала государственной политикой, обыденным явлением советского образа жизни.

Начала проникать она и в историческую науку.

В практической жизни государства общественные науки, несмотря на тот шум, который по временам поднимался вокруг них, играли подчиненную, незначительную роль, а с быстрым развитием физики, математики в 40-е и 50-е годы и вовсе отошли на второй план.

Может быть поэтому у историков не появился свой Распутин-Лысенко, а ведь у философов чуть было не стал

такой. Я имею в виду покойного Г. Ф. Александрова, начальника управления агитации и пропаганды ЦК КПСС.

Позднее, став министром культуры СССР, Александров оказался замешанным в скандальную историю с подпольным борделем, где дам, как во времена Григория Распутина, но особенно его сподвижника Митьки Рубинштейна, купали в шампанском.

В январе 1947 года по личному указанию Сталина в Институте философии Академии наук СССР была проведена дискуссия по книге Г. Ф. Александрова «*История западноевропейской философии*». Но эта дискуссия, как и следовало ожидать, учитывая, что редактор издания был главой пропагандистского ведомства ЦК КПСС, проходила вяло и не привела к выводам разгромного характера, в чем партийные верхи были в ту пору заинтересованы. По указанию ЦК в июне 1947 года была проведена повторная дискуссия, в ходе которой выступил А. А. Жданов, призвавший к беспощадной борьбе против буржуазного объективизма. Жданов призвал равняться на сессию ВАСХНИЛ, «показавшую образец того, как надо бороться за передовую советскую науку». Впоследствии эти слова Жданова неоднократно повторялись на дискуссиях и совещаниях историков.

Александров в конце концов перешел в Институт философии в качестве его директора, покинув свой высокий пост в ЦК КПСС. В свободное от посещения борделя время он учил обществоведов марксизму, большевистской принципиальности и нравственной чистоте.

С сессии ВАСХНИЛ и с философской дискуссии поднялись мутные волны ура-патриотизма, шовинизма и невежества, которые начали захлестывать и другие науки.

Они быстро достигли и берега историков. Но, повторяю еще раз, на наше счастье в исторической науке тогда еще не народился свой Лысенко, и даже не было своего

Александрова. Нет возможности в этой книге описать все перипетии «борьбы с космополитизмом» в исторической науке. Я делаю это в исследовании «*Закат сталинской эры*».[3] Поэтому читатель меня извинит, если я расскажу лишь о наиболее важных и ярких эпизодах «великих дней борьбы» с безродными.

Из ранних событий, пожалуй, наиболее важной была дискуссия о характере движения Шамиля (1947 г.), приведшая в конце концов к разгулу шовинизма. На заседании сектора истории народов СССР XIX–XX веков Института истории Академии наук СССР (им заведовал член-корр. Н. М. Дружинин; он был избран академиком в 1953 г.) был сделан доклад «Об исторической сущности кавказского мюридизма». Вопреки широко распространенному среди советских историков взгляду на это движение как прогрессивное, освободительное, докладчик Х. Г. Аджемян требовал считать отныне движение Шамиля реакционным, а взгляды Маркса и Энгельса на Кавказскую войну как на колониальную и захватническую требующими пересмотра. Аджемян спекулятивно использовал факт депортации чеченцев и ингушей в феврале 1944 года для того, чтобы очернить... движение Шамиля и заодно запугать своих оппонентов. Аргументация же Аджемяна от науки была малоубедительной. Никто Аджемяна не поддержал.

Н. М. Дружинин, подводя итог, сказал: «Если стать на точку зрения докладчика, следует признать всякое национально-освободительное движение в пределах царской России реакционным, что совершенно недопустимо». Дружинин оказался провидцем: именно такая точка зрения была навязана сверху советским историкам. Но проф. Дружинин подчеркнул и другую

[3] Готовится к печати.

сторону вопроса, а именно, что нельзя считать научной и правильной точку зрения, что всякое выступление под национальными лозунгами против царской России было прогрессивным. В соответствии с марксистским взглядом о конкретности истины он настаивал на анализе конкретной исторической обстановки в каждом отдельном случае.

Дискуссия прошла в то время как будто спокойно, но на самом деле подспудно уже бурлили страсти.

В МГУ, в Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) собирались силы самой черной реакции, готовившие нападение и расправу над своими коллегами и конкурентами, занимавшими ключевые позиции в области истории СССР в московских учебных заведениях и научных учреждениях. Эти силы возглавлялись проректором Московского университета профессором А. Л. Сидоровым. Разумеется, все действия Сидорова и других партийных шовинистов санкционировались ЦК ВКП(б).

Кампания против космополитов заставила меня глубоко и серьезно задуматься над тем, что происходит в нашей стране. Ведь я знал многих из преследуемых историков лично, и никакие речи или газетные статьи или даже постановления ЦК не могли меня убедить в том, что эти люди относятся враждебно к нашему государству или переметнулись на сторону врагов. Кстати, сразу возникал вопрос, кто же эти враги? Их стало слишком много: теперь это были не только «недобитые» немецкие реваншисты или бывшие союзники по войне — американцы и англичане, но близкие друзья нашей страны, соратники, такие как Тито. А они, оказывается, не просто враги, а шпионы врагов. Все это никак не укладывалось в сознании. Был Яша Харон, и был Бутягин-старший и было много другого, что требовало четкого ответа, куда ты идешь, с кем ты и вообще ради чего живешь на свете. И вспоминался ответ Пушкину на его

известное: «Дар прекрасный, дар напрасный, жизнь, зачем ты нам дана?» А ответ был: «Жизнь для жизни нам дана». Это правда, ужасно хотелось жить, но это не было ответом. Им могло быть только действие, и действие против.

Мы говорили между собой и обсуждали происходящее. Но не только разговаривали, а старались противостоять напору черносотенцев, сделать что-то для преследуемых людей. То, что мы делали, было совсем немного, но все же это давало возможность жить. Мой друг Жора Федоров, бывший одно время членом партийного бюро Института археологии, был приглашен на заседание дирекции Института для обсуждения вопроса, что делать с Михаилом Григорьевичем Рабиновичем. Директор Института А. Д. Удальцов настаивал на отстранении Рабиновича, многие годы руководившего археологическими раскопками в Москве, от работы. Аргументация была более чем ясная. Удальцов промычал в обычной своей манере: «Вот Рабинович, и вот Москва. И как же это получается?!» Сказал и обвел всех своими прозрачными судачьими глазами. Все молчали, тогда Удальцов добавил: «Мы должны освободить Рабиновича от работы». После этого каждый присутствующий высказывал свое мнение. Дошла очередь и до Г. Б. Федорова. Он сказал: «Я думал, что меня пригласили на заседание дирекции и парткома Института, а я присутствую на заседании 'Союза русского народа[4]». Встал и ушел. Рабиновича взяли на работу в Институт этнографии, но раскопками в Москве он больше не ведал.

В секторе, где я был аспирантом, я старался приглушить страсти, смягчить по мере возможности взаимные обвинения и нападки, которые, как правило, кончались приклеиванием политических обвинений. Но это удавалось далеко не всегда.

---

[4] Организация русских черносотенцев с ярко выраженной антисемитской и антиреволюционной окраской.

Я открыто поддерживал гонимых, сначала А. Ф. Миллера, Л. И. Зубока, позднее В. М. Турока-Попова, а затем и сам стал одним из объектов нападения.

Еще до генерального побоища в нашем институте прошел ряд собраний. Одно из них запомнилось мне очень ярко. Это было закрытое партийное собрание. Происходило оно в зале отделения исторических наук на Волхонке, 14. Говорили о космополитизме. Еще не звучали прямые персональные обвинения, но направление дальнейшего развития событий уже определилось. Юзеф Полевой, добрый и славный человек, взял слово, чтобы объяснить партийному собранию, почему евреи так заражены мелкобуржуазной идеологией. «Вот Василий Дмитриевич предъявил мне претензию, почему евреи стоят на космополитических позициях», — начал Полевой. Далее он пространно рассказал и о диаспоре, и о черте оседлости и пр. и пр. Вся его речь звучала каким-то извинением. С горечью я думал в эти минуты, что совсем не то говорит Юзик, что он должен был показать подлость и лживость измышлений о космополитах, а не «объясняться» по этому поводу. Все это я высказал Полевому во время перерыва, и он был несколько смущен. На этом же собрании обрушились на А. М. Деборина за неполадки в работе сектора. Мне пришлось в довольно резкой форме ответить и защитить Деборина. Во время перерыва одна уважаемая дама-профессор мне сказала: «Зачем вы защищали Деборина? Вы не должны были этого делать». — «Но ведь то, что о нем говорили, — неправда. Это несправедливо», — возражал я. — «Вы не должны были его защищать», — повторила она. Мне оставалось лишь пожать плечами. Один из наших аспирантов, некто Кузин, который вернулся с фронта тяжело раненным в голову, возбужденно говорил кому-то: «...и вот Гурвич[5] написал письмо в ЦК: предоставьте

[5] Известный литературный критик, одним из первых объявленный «космополитом».

мне работу в качестве учителя. И знаете, что ему ответили? — Кузин торжествующе обвел глазами слушателей, предвкушая эффект, который произведет концовка рассказа. — Ему сказали: нельзя дурному пастуху доверять стеречь стадо!»

В это же время произошел инцидент, который стал для меня как бы испытанием.

И. М. Майский нуждался в референте. Как академик он имел на это право и сам подыскал себе такого референта. Это была уже пожилая женщина, знакомая Ивану Михайловичу по совместной работе в Лондоне. Фамилия ее была Грансберг. Грансберг должна была оформляться через наш отдел кадров, и, предвидя препятствия, которые могут возникнуть в момент разгула кампании против космополитов, я попросил И. М. дать от себя характеристику Грансберг, что он и сделал охотно. Характеристика пошла в отдел кадров. На следующий день стало известно, что Грансберг арестована. Зная недоброжелательность, которая царила на верхах по отношению к Ивану Михайловичу, я забеспокоился, не будет ли арест Грансберг использован против него. Я чувствовал свою личную ответственность, так как именно по моей просьбе И. М. за день до ареста написал Грансберг весьма лестную характеристику. Решение созрело мгновенно. Я пошел в институт, забрал под каким-то предлогом характеристику на Грансберг, поехал к Ивану Михайловичу и, объяснив, в чем дело, возвратил ее ему. Через несколько часов меня срочно вызвали в отдел кадров и потребовали вернуть характеристику. Я спокойно ответил, что поскольку Грансберг не может быть теперь зачислена референтом и в связи с тем, что Майский написал характеристику по моей просьбе, я эту характеристику уничтожил. «Нет, вы на самом деле это сделали? — едва веря своим ушам, тихо переспросила меня начальница кадров. —

Я вынуждена буду доложить об этом Виктору Ивановичу» (т. е. В. И. Шункову, заместителю директора Института истории). — «Разумеется, — ответил я, — вы просто обязаны это сделать».

Виктор Иванович был человеком сложным. Но я знал также, что он человек умный и тонкий. Виктору Ивановичу я повторил, как было дело. Он посмотрел на меня внимательно, словно оценивая. Потом сказал: «Неважно же вы начинаете свою карьеру». Еще раз взглянул, улыбнулся и заключил: «Ну, на первый раз прощается. Только никогда ничего подобного не делайте. Надеюсь, все обойдется». И действительно, никаких последствий не было.

В связи с празднованием в первых числах января 1949 года 225-летия основания Академии наук в Ленинграде была проведена юбилейная сессия Общего собрания и отделений Академии наук СССР. Президент С. И. Вавилов призвал в своем докладе «восстановить историческую правду, показать истинное высокое место отечественной науки в мировой культуре, восстановить и аргументировать многие ее забытые приоритеты».

Академик И. И. Минц, которого начали бить еще в 1947 году, а потом временно оставили в покое, поспешил выступить на юбилейной сессии в Ленинграде с докладом «Ленин и развитие советской исторической науки». Тщетно, однако, Минц восхвалял «*Краткий курс*» И. В. Сталина, восторженно говорил о «разгроме буржуазной историографии, меньшевистско-троцкистовской концепции», умалчивая, конечно, о том, что каждый разгром завершался затем физическим уничтожением многих историков. Минц призывал в своем докладе бороться с низкопоклонством и обрушивался на тех, кто якобы придерживается социал-демократической концепции.

О стиле и направленности доклада Минца говорит хотя бы такая фраза: «Ошибка эта особенно недопустима в свете современного предательства шумахеров, блюмов и прочих деятелей презренной партии „третьей силы“». Доклад этот, хотя и открывал новогодний, 1949 г., номер «*Вопросов истории»,* сыграл для судьбы самого Минца крайне отрицательную роль, поскольку он «подал голос», т. е. напомнил о себе своим беспощадным противникам. Немедленно после его доклада посыпались негодующие протесты «научной общественности». Доклад Минца был оценен в ЦК как «ошибочный и претенциозный».

...И вот, наконец, получен приказ провести общеинститутское собрание по вопросу о космополитизме. Председателем собрания был Сергей Львович Утченко, занимавший в ту пору должность ученого секретаря отделения истории и философии и избранный в 1948 году секретарем партийной организации института.

До войны Утченко учился сначала на химическом факультете, но затем перешел на исторический факультет Ленинградского государственного университета. Занимался он историей древнего Рима, писал интересные работы о временах Цицерона и принципата Августа.

В ту пору Сергей Львович был в том цветущем возрасте здорового человека средних лет, перед которым открывались самые радужные перспективы. Сергей Львович был человеком способным и, несомненно, обаятельным. Кроме того, он любил и умел жить в свое удовольствие. Был он человеком не злым, но доброжелательное отношение к людям органически переплеталось у него с изрядной осторожностью, в кризисные моменты ее можно было бы принять за трусость. Он был очень популярен в нашем коллективе, его конформизм не носил агрессивного

характера, а остроумие и находчивость создали ему репутацию человека, с которым нетрудно поладить.

Утченко в течение многих лет был секретарем партийной организации и почти всегда членом партийного бюро. На выборах он, как правило, по количеству поданных за него голосов шел в первой пятерке. В бытность свою заместителем директора Института истории он не злоупотреблял своими административными возможностями. Оппортунист по натуре, Утченко хотел и большей частью умел ладить с начальством. Он придерживался широко распространенной в наше советское время «теории», согласно которой порядочным человеком можно считать того, кто по своей собственной инициативе не делает гадостей. Ну, а уж если начальство, партийная дисциплина, наконец, требуют, то тут уж ничего не поделаешь... Приходится...

Себя Сергей Львович считал человеком безусловно порядочным, и таковым его считало большинство коллег. Напомните им сегодня, что именно Сергей Львович, милейший Сергей Львович, проводил кампанию по борьбе с космополитизмом в Институте истории Академии наук, на вас посмотрят с недоверием: «Неужто? Быть того не может!»

Возможно, что роль ведущего, которую он исполнял в «великие дни борьбы», была ему неприятна, возможно, что он с большим удовольствием отказался бы от нее, но тогда под угрозой могла оказаться его такая благополучная, такая перспективная карьера. И, кроме того, ведь заставляют...

Каждый человек рано или поздно оплачивает свой жизненный счет. Пришлось платить и Сергею Львовичу — за благополучие, за доверие, которое ему пока оказывало начальство. И он платил. Ему приходилось также оплачивать и другой, невидимый, счет: он считался русским, но на самом деле одна половина его была семитской. Его жена, в те годы

еще очень красивая, милая и интеллигентная женщина, была еврейкой.

Вот так и случилось, что С. Л. Утченко пришлось вести собрание по борьбе с космополитами в исторической науке.

Активнейшим «борцом» на этом собрании был Аркадий Лаврович Сидоров, историк СССР, окончивший в свое время Институт красной профессуры, откуда вышла целая плеяда партийных историков в 20-х и в 30-х годах. А. Л. пережил на своем веку немало треволнений, боролся со всеми, с кем нужно было, по мнению партии, бороться, но одно время он где-то поддержал троцкистов, и это несколько затормозило продвижение этого несомненно способного и динамичного человека. Но сейчас он был на коне.

Главной мишенью своей атаки Сидоров избрал академика И. И. Минца.

Минц — в роли космополита! Поистине это было удивительно, ибо у партии не было более верного ее члена, чем академик И. И. Минц. Каждый раз, когда звучала труба, призывающая в очередной идеологический поход, академик Минц вспоминал свое боевое прошлое (во время гражданской войны он служил в Первой конной армии под командованием С. М. Буденного), подвязывал чресла и шел сражаться с идеологическими врагами партии. И. И. Минц возглавлял редакционный и авторский коллектив «*Истории гражданской войны*» и был одним из тех историков, которые ревностно вносили свой вклад в дело фальсификации истории КПСС и нашего государства в соответствии с постоянно менявшимися требованиями руководства партии. А. Л. Сидоров также многие годы работал в редакции «*Истории гражданской войны*» и, очевидно, имел с Минцем свои счеты.

Заседание происходило в конце марта 1949 г. в малоприспособленных залах отделения исторических наук,

которые никак не могли вместить всех желающих. При помощи радиотрансляции дело было выправлено.

По другую сторону лестничной площадки происходило аналогичное заседание экономистов. Здесь громили академика Е. С. Варгу, бывшего директора Института мирового хозяйства Академии наук СССР, бывшего члена Исполкома Коммунистического Интернационала, члена Венгерской коммуны 1919 года, профессионального революционера, бессребреника. Громил его известный выпивоха, некий полковник Антонов. Он обвинял Варгу в том, что из-за неверной оценки им, Варгой, нефтяных ресурсов Германии в начале войны якобы погибли тысячи русских солдат. «Руки Варги в крови русского народа», — кричал подвыпивший полковник. И это он говорил о человеке, чей единственный сын погиб на фронте Отечественной войны.

Я думал тогда и своего мнения не изменил и теперь, что главные погромщики, такие как А. Л. Сидоров, член-корреспондент А. Д. Удальцов, А. П. Кучкин и другие, подобные им, очень искушенные в партийных битвах люди, не могли не понимать, что наклеивая ярлыки на своих коллег-историков, они, собственно говоря, готовят материал для возможного обвинения своих товарищей во враждебной деятельности. И я не верю, чтобы такой опытный человек, как А. Л. Сидоров, не отдавал себе отчета в том, что от обвинений в космополитизме, антипатриотизме один шаг до ареста.

Вдумайтесь в обвинение, что «группка академика И. И. Минца и его ученика проф. И. М. Разгона, претенциозно выдавая себя за основоположников истории советского общества, нанесла серьезный ущерб развитию советской исторической науки».

А. Л. Сидоров собрал целое досье на Минца. Ну, в самом деле, кому бы пришло в голову обращаться к какому-то

выступлению Минца на конгрессе историков в Осло в 1928 году, разве что для мемуаров...

Речь Сидорова была построена по лучшим «образцам» обвинительных речей прокурора Вышинского на пресловутых процессах 30-х годов, когда совершенно различные факты из биографии человека, случайные и взаимонесвязанные, выстраивались в нужную прокурору систему и создавали у публики представление, будто чуть ли не с пеленок тот или иной государственный деятель занимался вредительством или шпионажем.

Такого рода перлы были и в выступлении Сидорова. Вот и пример: Минц, «будучи учеником Покровского, еще в 1928 году культивировал преклонение перед немецкой историографией. Несколько позднее акад. Минц выступил с антипартийными взглядами по вопросам истории нашей партии». Поистине, в огороде бузина, а в Киеве дядька! Конечно, западному читателю будет нелегко понять, почему преклонение перед немецкой историографией должно инкриминироваться как преступление, даже если это преклонение и было у Минца (на самом деле — не было). Увы, объяснить это почти невозможно. В абсурдности такого рода обвинений и заключалась их сила. Средневековые обвинения в колдовстве всегда вели к обвинительному приговору, даже если факт колдовства не подтверждался, но он мог быть!

И в самом деле, в обвинительной речи Сидорова все вины, совсем как на судебном процессе, уже были определены.

Вот схема, составленная, конечно, мною, но на основании выступления Сидорова.

Минц обвиняется:

в монополизации истории советского общества при помощи И. Н. Разгона,

Б. Г. Верховеня,

С. А. Шевкун,

и вовне

Е. Н. Городецкого (он работал в аппарате ЦК КПСС, но затем был изгнан и направлен на работу в Московский университет *(А. Н.*).

Противодействовали критике Минца в секторе истории советского общества Института истории Академии наук СССР:

А. Я. Гуревич,

А. П. Шелюбский.

Таков был «стиль речей высоких» Сидорова, впрочем, не только его одного. То был стиль советского образа жизни независимо от того, где это происходило, на судебной ли инсценировке, когда судили Бухарина и других, или во время очередной идеологической проработки, или при обсуждении проблемы ремонта канализационной системы в каком-нибудь домовом управлении.

Квалификация обвинений значительно ужесточилась по сравнению с 1948 годом.

Очень много говорили об «ошибках» в области новейшей истории. Здесь особенно «отличился» будущий директор Института истории СССР и будущий академик Алексей Леонтьевич Нарочницкий.

Активное участие в новом идеологическом походе КПСС принимали молодые ученые, пришедшие в науку после фронта. Часть из них делала это по чисто карьеристским соображениям, другие выполняя указание своих партийных секретарей, иные были наэлектризованы атмосферой погрома — они походили на солдат, которым командование отдало на поток и разграбление только что занятый вражеский город. Аспирантка Нарочницкого, некая Батуева, пишет заявление на американиста, профессора Льва Израильевича Зубока, обвинив его, ни мало ни много, в том,

что он является «агентом американского империализма». Другой аспирант Ю. В. Борисов избрал мишенью для нападения уже немолодого профессора Филиппа Осиповича Нотовича, только что опубликовавшего книгу по дипломатической истории Первой мировой войны. Борисов сделал карьеру. Он ушел работать в Институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР, стал в конце концов профессором и доктором исторических наук, работал в советском посольстве в Париже советником по вопросам культуры, может быть, сейчас он уже посол. Не знаю.

В середине дня был объявлен перерыв в прениях. Во время перерыва вышестоящее начальство в отделе науки ЦК КПСС было поставлено в известность о ходе проработки и осталось не удовлетворено ее масштабами.

Когда заседание возобновилось, Утченко обратился к присутствующим с призывом: «Вот назвали уже имена Кана, Молока, Нотовича, Зубока. Надо говорить прямо, называйте еще имена». И его полуумоляющий призыв был услышан. Имена были названы: вот уважаемые историки Л. В. Черепнин и А. С. Нифонтов снова обрушиваются на автора книги по историографии СССР Н. Л. Рубинштейна. Его начали ругать еще в 1947 году да так и продолжают уже второй год. Одновременно сообщается, что его взгляды находили поддержку у ленинградских профессоров В. М. Штейна и И. П. Еремина. Генерал Сухомлин, заведующий сектором военной истории, называет еще одно имя — историка СССР проф. К.В. Базилевича. Но, кажется, он попал «не в дугу», никто его не поддерживает. Ведь Базилевич — не еврей!

На трибуне медиевисты. Они говорят о космополитических ошибках ленинградского профессора О. Л. Вайнштейна, о стремлении смазать значение советской медиевистики в работах проф. В. М. Лавровского,

Б.Т. Горянова. Даже академик Е. А. Косминский не чужд этому заблуждению.

Затем наступает очередь историков древнего мира. Профессор М. Н. Машкин и К. Н. Сербина указывают на «откровенно космополитические» взгляды проф. С. Я. Лурье. Оказывается, он вместе «со своей группой» (и здесь группа! — Сломник, Надель, Любарский) сорвал (слушайте! слушайте!) издание... древних текстов. Вот, оказывается, до чего космополиты докатились!

В наше время все это кажется каким-то диким бредом, абракадаброй, но все это — было, было, было.

По всему фронту исторической науки идет пальба по космополитам. На заседании Ученого совета Тихоокеанского института Академии наук СССР его директор, молодой, элегантный профессор Евгений Михайлович Жуков (он станет потом академиком и возглавит всю историческую науку) говорит о том, что некоторые ученые все еще находятся в плену вредных представлений, будто существует мировая востоковедная наука. Какое опасное заблуждение!

Жуков обличает в космополитических ошибках многих востоковедов, требует осудить книгу проф. А. Ф. Миллера «*Очерки новейшей истории Турции*» со всей резкостью, какой она заслуживает. И вот этот призыв уже подхвачен. Другие ораторы (Акопян, Валуйский) заодно осуждают и докторскую диссертацию А. Ф. Миллера — блестящее исследование «*Бай рак тар*».

Но больше всего достается профессору Б. Н. Заходеру. Ругают его на чем свет стоит. И вдруг происходит нарушение правил игры: Заходер сопротивляется. Сопротивляется со всей решимостью отчаявшегося человека. Он отказывается признать свои ошибки, отвечает своим оппонентам с той же резкостью и гневом, с какими они говорят о нем.

Новая мизансцена: в президиум заседания поступает заявление аспирантов и студентов, прослушавших курс лекций Заходера. Они заявляют о своей солидарности. Со своим учителем? О нет, упаси Бог. С его критиками.

Затем, по мановению чьего-то невидимого жезла, открывается огонь по бывшему советскому послу в Лондоне, бывшему заместителю министра иностранных дел СССР, а ныне академику Ивану Михайловичу Майскому.

Его очень не любят «наверху», впрочем, так же, как и всех тех, кто еще оставался на дипломатической службе со времен М. М. Литвинова. Правда, критиковать Майского вроде пока еще не за что. Ведь он не успел ничего опубликовать. Вытаскивается на свет божий книга Ивана Михайловича «*Современная Монголия*», изданная в... 1920 году.

Любопытно происхождение этой книги. Об этом мне рассказывал сам Иван Михайлович. В 1920 году по поручению Сибирского Центросоюза он отправился в экспедицию в Монголию для изыскания возможностей налаживания экономических отношений между Россией и Монголией. Используя статистические методы проф. Брентано, у которого Майский учился в Мюнхене, Иван Михайлович составил первую в истории Монголии статистическую имущественную перепись, которая в течение последующих десятилетий была единственным материалом по изучению экономики и социальных условий жизни в Монголии накануне революции. Разумеется, эти сведения за прошедшие 30 лет основательно устарели. Но причем же здесь Майский? Майский, человек осторожный, компромайзер по натуре. Он посылает в президиум собрания записку, в которой сообщает, что готовит новое издание книги, а пороки прежнего сознает. Тем самым у оппонентов выбита почва из-под ног для дальнейших наскоков. Новое издание книги И. М. Майского вышло в 1959 году.

Обсуждение идет своим ходом. Востоковеды не оставляют в покое даже таких корифеев науки, которые снискали славу отечеству, как И. Ю. Крачковский (за его «немарксистскую методологию») и академик В. М. Алексеев. Нет сомнения, что проработка этих знаменитых ленинградских востоковедов была тесно связана с т. н. ленинградским делом, когда в развитие репрессии против ленинградского руководства начали громить Ленинград по всем направлениям.

Наиболее оголтелый характер принимает борьба против «космополитов» на историческом факультете Московского университета.

Заседание длится 3 дня (25, 26 и 28 марта 1949 г.). Обсуждается доклад декана факультета проф. Г. А. Новицкого. Главным оратором и здесь был А. Л. Сидоров. Снова у всех на устах имена Минца, Разгона и Городецкого, Н. Л. Рубинштейна, Зубока, Звавича, Неусыхина, Лавровского, Коган-Бернштейн, Миллера, Гальперина, Лурье, Блюмина, В. М. Штейна. Не оставляют в покое даже 90-летнего академика Виппера.

В разгаре побоище и у археологов.

Профессора А. В. Арциховский и С. В. Киселев обвиняют ленинградца, член-корреспондента АН СССР Равдоникаса в космополитизме. Со стороны Арциховского это, так сказать, ответный удар, ибо Равдоникас раньше обвинял Арциховского в космополитических ошибках в его учебнике «*Введение в археологию*», но тут же Арциховский предусмотрительно занимается и резкой самокритикой — для равновесия, так сказать.

Печальное зрелище! Артемий Владимирович Арциховский, воспитавший сотни учеников, открывший для русской культуры Новгород, должен бить себя в грудь и сводить счеты с другим выдающимся ученым и делать это в угоду партийным боссам.

Активную роль в этой вакханалии играют, помимо А. Л. Сидорова, также молодой еще тогда историк А. Д. Никонов (зять В. М. Молотова), историк Древнего мира А. Г. Бокщанин, востоковед проф. Авдиев, франковед Бендрикова, аспиранты Белинский и Семенов.

Стихия захватывает все большее количество ученых, известных в науке, людей с большим моральным авторитетом. Не устоял, к сожалению, проф. Б. Ф. Поршнев. Он обвиняет своего коллегу, работающего с ним в одной области (история 30-летней войны) проф. Вайнштейна в пренебрежительном отношении к действительному значению России во всемирной истории. «У Рубинштейна и Вайнштейна, — утверждает он, — одна космополитическая концепция». Раз начав войну против Вайнштейна, Б. Ф. Поршнев уже не сможет потом остановиться и будет вести ее в течение многих лет и однажды признается в порыве откровенности: «Как приятно наступить на горло врагу».

Посмотрим теперь, как держали себя «космополиты». Выше уже писалось о востоковеде проф. Б. Н. Заходере, который решительно отмел обвинения, возводимые на него.

На историческом факультете Московского университета пытался защититься Е. Н. Городецкий. Но сделать это было невозможно. Касаясь выступления Городецкого, журнал «*Вопросы истории*» отметил: «Одно это отмежевание воспринято аудиторией как попытка снять с себя ответственность за антипатриотическую деятельность группы академика Минца». Он признал в собственных работах ошибки «объективно-космополитического характера».

Снова (в который раз!) покаялся Н. Л. Рубинштейн. Другой обвиняемый, Б. Г. Верховень, критикуя Минца, согласился с обвинением в том, что он не разоблачил Минца.

Дальше всех пошел проф. И. С. Звавич, который признал за собой не только ошибки космополитического характера, но и приукрашивание британского империализма и лейбористов в своих работах.

Признал свои ошибки заведующий кафедрой средних веков исторического факультета академик Е. А. Косминский, вслед за ним и другие медиевисты — проф. В. М. Лавровский и проф. А. Неусыхин.

В Институте истории Академии наук фактически отказался принести покаяние проф. Л. И. Зубок.

* * *

Несколькими днями позже распространился слух, что Деборин, как и ряд других сотрудников, увольняется из института. И это действительно произошло. Однако Деборин был скоро восстановлен в институте, но на этот раз уже не в качестве заведующего сектором, а лишь старшим научным сотрудником. Ряд лиц был выведен из состава ученого совета института. Среди них был Николай Леонидович Рубинштейн, работавший в Высшей партийной школе (ВПШ) и в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Николая Леонидовича я знал по совместной военной службе в политотделе 2-ой Гвардейской армии. В 1943–44 гг. он был у нас заместителем начальника политотдела по агитации...

Я встретил его поднимающимся по лестнице на Волхонке и предупредил, что имеется решение о выводе его из членов Ученого совета. Затем мы перебросились несколькими словами по поводу происходящего. Н. Л. был человеком очень осторожным и искушенным. Одно время он работал в центральном аппарате НКВД, и одному Богу известно, как удалось ему оттуда выбраться живым и с незапятнанной репутацией. «Конечно, — сказал Н. Л., — могут быть

ошибки, но вы, надеюсь, понимаете, что кампания, которую проводит сейчас партия, необходима?» На счастье для нас обоих кто-то отвлек Н. Л. от меня, и его вопрос остался без ответа.

Примерно в это же время произошел другой эпизод. С. Л. Утченко подошел ко мне перед партийным собранием и предложил выступить в поддержку дирекции об увольнении некоторых историков, обещая после проведения этой «операции» взять меня в институт. Я ужасно обозлился и решительно отверг это предложение. Начальство было смущено и просило меня во всяком случае никому не рассказывать об этом эпизоде. Нина Александровна Сидорова, не без ведома которой это предложение было сделано, услышав от меня тут же возмущенный рассказ об этом, страшно покраснела, заволновалась и повторяла: «Я же говорила ему, чтобы он этого не делал, ах, как нехорошо, как нехорошо!» И она (Н. А. Сидорова была в ту пору секретарем парторганизации), и Утченко, как я позднее узнал, очень боялись, как бы я не раскрыл сделанное мне предложение на собрании.

К середине 1949 года битва против «космополитов» начала затихать по всему фронту.

В заключение кампании против «космополитизма» в исторической науке в журнале «*Вопросы истории*» появилось несколько статей, посвященных итогам «борьбы». В них уже произошел «отсев»: «космополиты» были, так сказать, утверждены вышестоящими инстанциями, вроде им как бы было присвоено это звание, подобно тому, как присваиваются звания заслуженных и народных деятелей науки или искусства и пр.

Отличие, правда, было и притом немалое.

Как следовало из одной статьи, космополитизм проник на нашу священную землю из трех источников, а именно: от М. Н. Покровского (и тут его не забыли), из дворянской и буржуазной русской историографии и, естественно, с Уолл-стрита.

Для того чтобы понять, какое представление об Уолл-стрите было совсем не у простых советских людей, а у некоторых историков, приведу рассказ одного из них, побывавшего в Нью-Йорке:

> «И вот, значит, выхожу я вечером и иду по мрачному Уолл-стриту, в подвалах которого американские миллиардеры ткут свою золотую паутину, которой опутывают весь мир...»

Оказывается, эти самые «безродные» отсюда, из этих подвалов, видимо, и появились...

В передовой статье «*Вопросов истории*» (№ 2 за 1949 г.) было четко сформулировано понятие космополитизма применительно к исторической науке: «Безродные космополиты наших дней искажают историю героической борьбы русского народа против своих угнетателей и иноземных захватчиков, принижают ведущую роль русского пролетариата в истории революционной борьбы как нашей родины, так и всего мира, затушевывают социалистический характер и международное значение Великой Октябрьской социалистической революции, фальсифицируют и искажают всемирно-историческую роль русского народа в построении социалистического общества и в победе над врагом человечества — германским фашизмом — в Великой Отечественной войне».

Речь здесь идет исключительно об истории русского народа, но никак не советского. То было открытое проявление великорусского шовинизма, даже не

камуфлируемое ради приличия разговорами об интернационалистских принципах партии и советского государства.

Окончательно отредактированный и утвержденный вышестоящими инстанциями список «космополитов» в исторической науке выглядел следующим образом: академик И. И. Минц, профессора И. М. Разгон, Н. Л. Рубинштейн, О. Л. Вайнштейн, В. Лан, Л. И. Зубок, И. С. Звавич, Г. А. Деборин (старший сын академика А. М. Деборина).

Какова была их дальнейшая судьба?

Минцу пришлось на несколько лет покинуть Институт истории, оставить кафедру в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Но он сохранил кафедру истории СССР в Педагогическом институте. И. М. Разгон уехал работать на периферию, О. Л. Вайнштейн мытарился долгие годы в Ленинграде. Американист В. Лан был вскоре арестован. Л. И. Зубок был вынужден уйти из Института истории и из всех других учреждений и учебных заведений, в которых он сотрудничал, в том числе и с исторического факультета университета, и был оставлен лишь в Институте международных отношений Министерства иностранных дел, благодаря, как он утверждал, личному вмешательству В. М. Молотова, дочь которого была одно время студенткой Зубока.

Г. А. Деборин покинул кафедру в Военно-политической академии и... перешел на работу в Высшую дипломатическую школу, а затем в Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Все же у него были большие «заслуги» перед партией! Ведь он был одним из авторов исторической справки «*Фальсификаторы истории*», в которой была дана версия возникновения Второй мировой войны и выдвинута «концепция» советско-германского пакта от

23 августа 1939 года, которая и сейчас осталась почти неизменной. Включение Г. А. Деборина в список космополитов могло произойти и по чьей-то личной инициативе, так сказать, в порядке сведения личных счетов, а может быть, и потому, что при всей своей преданности он все-таки был евреем. Так, чтобы знал свое место... Включение Г. А. Деборина в список «космополитов» еще раз показывало, сколь непрочно положение даже тех профессоров еврейской национальности, которые с большим рвением выполняют любое задание начальства. В гитлеровских гетто существовала т. н. еврейская полиция, которая помогала загонять в лагеря смерти своих соплеменников, затем их отправляли в крематорий самих...

Англовед проф. И. С. Звавич, блестящий оратор и публицист, был изгнан из университета. Его очень сильно подвело собственное краснобайство. Звавич, на свою беду, оправдываясь в своих несуществующих космополитических ошибках, заявил на собрании в университете: «У нас существовало общество по взаимному захваливанию...» и перечислил имена. Конечно, Звавич вкладывал в эти слова чисто фигуральный смысл, но борцы против космополитизма истолковали его слова так, как им это было нужно. Звавич расстался с Москвой и отправился в Ташкент. У него было больное сердце, и среднеазиатский жаркий климат оказался ему не под силу.

Незадолго до отъезда Звавича я случайно встретил его в метро. Исаак Семенович сказал мне с улыбкой: «Меня всегда учили, что в мире существуют три стихии: воздух, вода и огонь. Теперь же я убедился в существовании четвертой». Сказав это, Звавич выжидающе, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на меня. «Какой же?» — с любопытством спросил

я. — «Дерьмо!» — с восторгом заявил Звавич, и мы оба расхохотались.

Прошло совсем немного времени, и профессора Звавича не стало.

Выступление полковника Антонова против Варги показало, что страсти накалены опасно. Кроме того, ученые-физики дали отпор попыткам разгромить их под предлогом борьбы с космополитами. С большим трудом удалось собрать физиков на это собрание. Но тут взял слово один из основоположников советской ядерной физики академик Иоффе и сказал примерно следующее: либо мы будем сидеть на заседаниях, тратя драгоценное время для выслушивания советов, как нам, физикам, заниматься физикой и устраивать бесконечные словопрения, либо мы будем работать. Если мы будем заседать, то пусть те, кто нас собираются учить, отправятся на наши места в институты и двигают нашу науку. Выступление Иоффе вызвало замешательство и переполох. Был объявлен перерыв, заседание было отложено и больше не возобновлялось. Все-таки желание создать ядерное оружие перевесило потребности идеологической борьбы.

Отсюда следует один очень важный вывод: при столкновении интересов идеологической борьбы с государственными приоритет, как правило, получали государственные интересы.

Кампания против космополитизма начала сворачиваться в связи с приближающимся всенародным праздником — празднованием 70-летия со дня рождения Сталина. Умиротворение хотя бы на некоторое время было необходимо. Нужно было проводить беседы о жизни Сталина, готовить выставки, подарки, наконец.

В ЦК было созвано совещание, и последовал сигнал отбоя. Сразу же пошли разговоры о перегибах и о том, что очень видный руководящий товарищ, осуждая перегибы, будто бы сказал: «Мы здесь, в Центральном Комитете партии, сказали предостерегающе „Эй!..“, а на местах аукнулось „Бей!“» — и сокрушенно покачал головой. Слова эти охотно передавали и распространяли как те, кого били, так и те, кто бил.

Итак, кампания против «космополитов» прошла успешно: много талантливых людей было изгнано из научных и культурных учреждений, а некоторые из них даже умерли.

С этого времени выступления против космополитизма и других «отклонений» от истинного учения (марксизма-ленинизма) получили практическую цель вытеснения лиц еврейской национальности отовсюду, где это представлялось желательным и возможным.

...Передо мною небольшая книга. Опубликована она издательством «Наука» в Москве в 1971 году под грифом нашего Института всеобщей истории Академии наук СССР. Она называется «*Идеи и традиции Французской революции в борьбе сил демократии и фашизма*». Автор книги — Иогансон Исаакович Зильберфарб. Предисловие к ней написал проф. В. М. Далин.

Я вспоминаю проф. Зильберфарба. Он словно у меня перед глазами, этот высокий, седоватый человек с крупными чертами лица. Очень воспитанный, очень интеллигентный и мягкий и... страстный турист.

Профессор Зильберфарб многие годы посвятил изучению социалистических идей, их истории и их влияния на развитие общественной мысли. Он стал профессором истории в 29 лет, случай не столь уж частый. В 1940 году проф. Зильберфарб по предложению академика

В. П. Волгина стал его заместителем в Комиссии по истории социалистических идей при Институте истории Академии наук СССР.

Когда я учился в аспирантуре, профессор Зильберфарб блестяще защитил докторскую диссертацию (было это в 1947 году) на тему «*Социалистическая философия Шарля Фурье и ее место в истории социалистической мысли первой половины XIX века*».

На беду Зильберфарба его диссертация при утверждении ее в Высшей Аттестационной Комиссии попала в поле зрения П. Н. Поспелова, партийного историка, директора Института марксизма-ленинизма, редактора «*Правды*», одно время кандидата в члены Президиума ЦК КПСС и секретаря ЦК и прочая и прочая... Диссертация Поспелову не понравилась, и он дал указание упомянуть о ней в негативном плане, назвав ее «буржуазно-объективистской» в передовой статье газеты «*Правда*». В то время это означало гражданскую смерть. Тщетно пытался Зильберфарб аргументами от науки доказать несправедливость возведенных на него обвинений. Попытки, его собственные и его коллег, убедить, смягчить Поспелова ни к чему не привели. Ему ли, Поспелову, который поучал саму Н. К. Крупскую, жену Ленина, как писать мемуары, а главное, что вспоминать о Ленине, было менять свою точку зрения на работу какого-то Зильберфарба?!

В. М. Далин пишет в своем предисловии к книге Зильберфарба: «В силу ряда причин капитальная монография И. И. Зильберфарба о социальной философии Ш. Фурье вышла в свет только в 1964 году». Какая трагедия скрывается за этими строчками! Понадобилось 17 лет борьбы, чтобы диссертация была наконец утверждена Высшей аттестационной комиссией.

Все эти годы, т. е. 17 лет, профессор Зильберфарб был без работы. Но он не получил работы и после выхода из печати своей монографии и утверждения в ученой степени доктора исторических наук. Кстати, другое его капитальное исследование — «*Идеологическая подготовка германского империализма ко Второй мировой войне*» — так и не увидело света.

Профессор Зильберфарб скончался в июне 1968 года. Он ушел из жизни, этот скромный, деликатный, интеллигентный человек, подлинный ученый с... 20-летним стажем безработицы!

Но на фоне страстей, бушевавших в те годы, трагедия Иогансона Исааковича Зильберфарба прошла незамеченной.

Я часто думаю, что случилось бы с Карлом Марксом в наши дни (?!)

Ведь он так любил повторять, расхаживая по комнате: «Я космополит, я космополит...»

Глава 3. Прелюдия к худшему

И выли трубы, зазывая смерть...
Анна Ахматова

Срыв защиты диссертации. — И все же я защищаю. — Референт академика Деборина. — Трагедии талантов. — Арест Юзефовича и Гуральского. — Партбездельники. — Расцвет русского шовинизма в исторической науке. – Новое очищение рядов

Тема моей кандидатской диссертации была «*Политика Англии накануне Второй мировой войны*».

Умудренные опытом историки, например, Владимир Михайлович Турок, с которым у меня установились с 1946 года дружеские отношения, предостерегал меня от занятия столь близкими и не устоявшимися в истории сюжетами, как Вторая мировая война. Об этом же говорил со мною и профессор Л. И. Зубок, дружески советуя мне заняться XIX веком. Но я прошел мимо их предостережений.

Наша семья была глубоко «политической». Отец, один из старейших советских журналистов-международников, был всегда в курсе всех событий. Он в совершенстве владел иностранными языками (учился перед Первой мировой войной в Париже на историко-географическом отделении Сорбонского университета у проф. Лависса). Отец поддерживал дома жгучий интерес к политике и истории, и особенно к проблемам современности.

Мои собственные переживания участника войны также сыграли немаловажную роль в выборе темы. В первые годы после окончания войны мало кто всерьез занимался историей Второй мировой войны. Во время работы над диссертацией возникла острая политическая полемика, вызванная оглашением на Нюрнбергском процессе

некоторых материалов, касавшихся заключения секретных приложений к советско-германскому договору от 23 августа 1939 г. (свидетельство Гаусса). В 1947 году в США был выпущен сборник документов «*Нацистско-советские отношения, 1939–1941*», ответом на которые была опубликованная в 1948 г. историческая справка «*Фальсификаторы истории*». Справка стала на долгие годы основополагающим документом по причинам возникновения Второй мировой войны. Ее автором были Г. А. Деборин, проф. Б. Е. Штейн и проф. В. М. Хвостов. Текст был просмотрен Сталиным. Одновременно был опубликован двухтомный сборник немецких дипломатических документов периода аншлюсса и захвата Чехословакии, в том числе записи переговоров с англичанами относительно заключения Мюнхенского соглашения. Так случилось, что моя диссертация оказалась в центре потребностей времени.

Осенью 1947 года появилась моя первая публикация, посвященная английской политике в чехословацком вопросе. В следующем году была опубликована еще одна моя статья об английской политике невмешательства в испанские дела.

Срок аспирантуры истекал в конце 1948 года, но в связи с осложнениями в получении иностранных материалов мне пришлось пройти длительную процедуру оформления секретности, и пребывание в аспирантуре было продлено до мая 1949 года.

И вот наконец назначен день защиты — 19 мая 1949 года. Я вспомнил об этом, когда разыскивал свой автореферат. Неожиданно я натолкнулся на автореферат другого аспиранта, который защищал диссертацию на том же заседании Ученого совета. Этот реферат сейчас лежит передо мною. «*Национально-политическая борьба в Чехии в 1848 году и Ф. Палацкий*». На титульном листе надпись: «Саше Некричу: ни пуха нам с тобой, ни пера» и подпись — Удальцов. Да,

Иван Иванович Удальцов. Мы были знакомы еще с университетских времен (И. Удальцов учился на истфаке МГУ, на два курса старше меня). Во время войны Удальцов служил в Чехословацком корпусе. Он был аспирантом академика Пичеты и после образования Института славяноведения ушел туда.

Долгие годы затем он работал в аппарате ЦК КПСС, снова возвратился в Институт славяноведения уже в качестве его директора. Спустя некоторое время Удальцова вновь взяли на работу в центральный аппарат. Много раз он бывал в Чехословакии и в конце концов стал советником-посланником нашего посольства в Праге. В памятном 1968 году он был среди тех, кто требовал самых жестких, самых решительных мер по отношению к непокорным чехам. Был он когда-то хорошим малым, добрым и отзывчивым. А превратился — в ярого сталиниста. После выхода моей книги «*1941, 22 июня*» (Удальцов тщетно пытался предотвратить перевод ее на чешский язык; книга вышла в Праге в 1967 году) Иван говорил доверительно некоторым историкам-славистам: «Некрича нужно немедленно исключить из партии. Книгу запретить». Думаю, что в этом же духе он писал по инстанции в Москву. (Во время разбирательства моего дела в КПК Г. Деборин заявлял: «Чешские историки говорили мне: нам нужны такие книги, как книга Некрича»). Удальцов говорил также своим коллегам-историкам, приехавшим в Прагу, со злобой и ненавистью о чешской интеллигенции и утверждал (это было еще в 1967 г., при президенте Новотном), что необходимо немедленно произвести аресты, а, если нужно, кое-кого из чехов «поставить к стенке». И это говорил человек, безусловно считавший себя интеллигентом, сын профессора, племянник профессора. Мне рассказывали после 1968 г. знакомые чехи, что Удальцов снискал в Чехословакии широкую ненависть. За свои «заслуги» Удальцов был взят в

аппарат ЦК, а затем назначен директором Агентства печати «Новости», а затем стал послом СССР в Греции. Но все это случилось гораздо позже. А пока Иван Удальцов и я защищаем в один день кандидатские диссертации в Ученом Совете нашего института.

К моменту защиты диссертации положение в секторе Новейшей истории изменилось довольно радикально. Руководителем сектора был назначен Федор Васильевич Потемкин, историк Франции первой половины XIX века. Он заведовал кафедрой всеобщей истории в Высшей партийной школе и, хотя и был беспартийным, пользовался расположением и доверием в ЦК партии. Потемкин был очень далек от проблем новейшей истории. Однако он усвоил твердо: сектором до него руководил академик А. М. Деборин, следовательно, в секторе готовилась порочная продукция. Уже на одном из первых заседаний сектора после своего прихода Потемкин дал ясно понять, что будет придерживаться жесткого идеологического курса. Что касается аспирантов с их диссертациями, уже рекомендованных к защите, новый руководитель сектора заявил, что у сектора не будет возможности взять их на работу после окончания срока аспирантуры. Таким образом, передо мною вырисовывалась малоприятная перспектива либо остаться без работы, либо отправиться в провинциальный педагогический институт, где занятие научно-исследовательской работой было бы исключено на годы.

Но не взять меня на работу Ф. В. Потемкину показалось недостаточным. Ему очень не нравились мои дружеские отношения с А. М. Дебориным и И. М. Майским, авторитет, которым я пользовался среди сотрудников, и особенно моя независимая манера держаться. Ф. В. Потемкин изменил состав уже назначенных мне оппонентов и договорился с профессором Высшей партийной школы И. Ф. Ивашиным

о том, что отзыв Ивашина будет отрицательным. Об этом я узнал, конечно, позднее. Ивашин долго тянул с отзывом, и я получил его в субботу, защита же была назначена в понедельник. Отзыв был зубодробительный (в отличие от очень хорошего отзыва первого официального оппонента проф. Н. Л. Рубинштейна). Но легко было обнаружить, что отзыв представлял собою грубые передержки и даже прямую фальсификацию текста — так впервые я испытал непосредственно на себе этот метод идеологической борьбы.

...За сутки, оставшиеся до защиты, пришлось проделать огромную работу по сличению текстов и подготовке ответа И. Ф. Ивашину. И если бы не дружеская помощь Лидии Васильевны Поздеевой, то вряд ли я бы справился в срок. Утром в понедельник, в день защиты диссертации, я узнал, что дирекция склоняется к тому, чтобы защиту ввиду неблагоприятного отзыва отложить. Я же был готов к бою, больше того, рвался в бой. Процедура защиты диссертации позволяла защищать ее и при отрицательных отзывах. Мне казалось, что передержки И. Ф. Ивашина столь очевидны, что мне удастся убедить членов Ученого совета в правильности своей точки зрения. Да не подумает читатель, будто в моей диссертации «*Английская политика в Европе накануне 2-ой мировой войны*» была какая-то «крамола» с позиции понимания событий и отношения к ним тех лет. Работа находилась в фарватере официально принятой точки зрения по этому вопросу и опиралась, в частности, на историческую справку «*Фальсификаторы истории*». В диссертации отдавалась дань восхищения мудрости И. В. Сталина, разгадавшего и расстроившего планы империалистов путем заключения договора с гитлеровской Германией от 23 августа 1939 г. Но работа основывалась на большом фактическом материале, почерпнутом из буржуазных зарубежных источников; затрагивался очень широкий круг проблем английской

политики и взаимоотношений Англии с другими государствами. Наконец, я пытался разобраться в предвоенной ситуации и использовал для этого не только обычно применяемые две краски: черную — для империализма и белую — для Советского Союза, но и другие цвета.

Кроме того, я осмелился напомнить о заслугах М. М. Литвинова и других советских дипломатов, в частности, И. М. Майского, в борьбе за коллективную безопасность. Но оба они были теперь в немилости, и само упоминание этих имен вызывало большое раздражение. Кстати, не только в конце 40-х и в начале 50-х годов, но и 25 лет спустя.

В институте я узнал еще одну новость, что И. Ф. Ивашин решил на защиту не являться. Намерение сорвать защиту было очевидным. У меня произошло резкое объяснение с Потемкиным. При разговоре присутствовал и мой научный руководитель И. М. Майский, который пытался всячески охладить меня и доказывал необходимость в этих условиях отказаться от защиты, учесть некоторые замечания Ивашина, просить перенести защиту диссертации на осень. Я категорически отказывался и говорил, что это аморально и я не пойду ни на какие сделки. Потемкин спросил меня: «Так, по-Вашему, наша мораль ниже Вашей?» Я не ответил ему — мой ответ был и так ясен. Майский отвел меня в сторону: «Александр Моисеевич, ну, не будьте дураком. Бывают ситуации, когда лучше переждать, отступить, собраться с силами». Немного поостыв, я и сам увидел, что обстановка для защиты складывается неблагоприятная: отрицательный отзыв плюс неявка оппонента, приславшего этот отзыв, лишают меня возможности эффективной защиты. Ведь любой из членов Ученого совета мог подумать или сказать примерно следующее: «Ну, хорошо, аргументы диссертанта убедительны, но ведь оппонента-то нет. Неизвестно, какие

контрдоводы он мог бы привести». К тому же было далеко не ясно, как взглянет на такую защиту Высшая аттестационная комиссия (ВАК).

Мне пришлось смирить свою гордыню и подать председателю Ученого совета примерно следующее заявление: «В связи с тем, что официальный оппонент И. Ф. Ивашин дал на мою работу отрицательный отзыв, а сам на защиту не явился и тем самым лишил меня возможности полемизировать с ним, прошу Ученый совет защиту диссертации перенести и добиться присутствия на ней И. Ф. Ивашина». Заместитель директора института В. И. Шунков зачитал мое заявление. Из задних рядов раздался чей-то голос: «Странно!» — и это было все. Защита была перенесена на осень. Я сдал диссертацию в дирекцию, чтобы кто не подумал, что я внес изменения в текст.

Работы не было. Необходимо было подумать о хлебе насущном.

Выручил меня историк Александр Яковлевич Манусевич, заведовавший в ту пору редакцией по всеобщей истории Большой Советской Энциклопедии. Он предложил мне писать статьи для первых томов, а также быть внештатным редактором. Гонорарные ставки были вначале очень высокие, и на жизнь моих заработков было достаточно.

Защита диссертации состоялась в сентябре того же года. Еще весной Ученый совет назначил по моей просьбе 3-го оппонента на случай, если И. Ф. Ивашин снова не появится. Так оно и случилось. Накануне защиты Ивашин прислал в Ученый совет письмо, в котором просил не связывать проведение защиты с его присутствием или отсутствием. Заявление было прочитано в начале заседания и было встречено гулом оживления и смешками. Защита диссертации прошла успешно. И я стал кандидатом исторических наук.

Осенью того же года А. М. Деборин предложил мне работать у него частным образом референтом. С радостью и благодарностью я принял его предложение. Работа моя заключалась в реферировании и составлении кратких обзоров по зарубежной литературе в области современных политических учений. Сотрудничество у А. М. Деборина было для меня очень полезным, так как значительно расширило мой кругозор. Кроме того, Абрам Моисеевич рассказывал мне много интересного из истории своей жизни. В начале 1950 г. Деборин получил от Президиума Академии наук половину ставки младшего научного сотрудника для своего референта. С 1 марта того же года я был зачислен на эту должность в штат Института истории. Еще спустя год мне была дана полная ставка. Началась самостоятельная научная работа. Я перестал быть референтом Деборина, но тесные дружеские отношения сохранились у нас до его кончины 8 марта 1963 г.

Между тем на идеологическом фронте наступило некоторое затишье. Напряженность, вызванная кампанией по борьбе с космополитами, несколько спала, но далеко не до конца. В недрах отделения истории и философии шла персональная «борьба за власть». Что касается научных сотрудников, то подавляющее большинство из них с радостью вернулось к занятиям в архивы и в библиотеки. Те, кто пришел в науку не по прихоти судьбы или каких-то зигзагов неудавшейся политической карьеры, а по призванию, а их было большинство, трудились не покладая рук в самые тяжелые, самые мрачные времена, а когда наступало просветление, то они выкладывали на стол новые исследования. Таким был, например, профессор Л. И. Зубок, создавший в годы опалы ряд серьезных исследований по истории США и американского рабочего движения; проф. А. З. Манфред, А. С. Ерусалимский, В. М. Турок и др.

Мой друг Г. Б. Федоров в течение многих лет занимался археологией Молдавии, и начал он раскопки как раз в эти мрачные годы. В 50-е и в 60-е гг. он создал школу молдавских археологов, которая до появления Прутско-Днестровской археологической экспедиции находилась в зачаточном состоянии.

Бывали, конечно, и иные решения.

Человек выдающихся способностей и ума А. Ф. Миллер после травли, которой его подвергли в 1947–49 гг., предпочел долгие годы не публиковать своих книг, а целиком посвятил себя работе над 10-томным коллективным трудом «*Всемирная история*». Думаю, он совершил большую ошибку, к сожалению, почти неисправимую, ибо годы уходят безвозвратно... Несколько лет тому назад он умер, так и не опубликовав больше ни одной книги.

Жизнь шла вперед, несмотря ни на что. Но коэффициент полезности исследований в области исторических наук был намного меньше того, каким бы он был без самоцензуры, без свирепой цензуры государства, без идеологических проработок. Значительная часть жизни растрачивалась впустую, на преодоление каких-то препятствий. Механизм жизни, конечно, работал несмотря ни на что, но нередко вхолостую.

* * *

Сразу же после окончания аспирантуры я начал готовить к изданию свою диссертацию. Ее отдельные части появились в «*Известиях истории и философии*» и в «*Вопросах истории*» в 1947–50 годах. Статья в «*Вопросах истории*» — называлась она «*Двойная игра правительства Чемберлена и ее провал*» — была замечена также и за рубежом, переведена и напечатана в ряде стран. В 1950–51 гг. был опубликован ряд моих статей, связанных с предвоенной политикой Великобритании.

Работал я много и с увлечением. И чем глубже я вникал в источники, факты и события, тем больше вопросов возникало у меня, все чаще одолевали меня сомнения. Спокойное название моей кандидатской диссертации «*Английская политика...*» и пр. вызывало беспокойство у одних и раздражение у других. Название это, по модному тогда термину, отдавало «объективизмом». Пришлось изменить название. Я надеялся, что пойдя на уступку в этом вопросе, мне удастся сохранить основное содержание будущей книги.

За это время в секторе случилось большое несчастье — был арестован, а позднее расстрелян по обвинению в еврейском национализме (по делу Еврейского антифашистского комитета) Иосиф Сигизмундович Юзефович, старый коммунист, профинтерновец. Юзефович был другом С. А. Лозовского, работал в Совинформбюро и по совместительству в Институте истории. Наша семья близко знала Юзефовича и его жену, так как в годы войны и в первые послевоенные годы мой отец много писал для Совинформбюро, в частности, для отдела мирового профсоюзного движения, которым руководил Юзефович. Иосиф Сигизмундович был коммунистом со времен революции и гражданской войны и прошел соответствующую школу. Он активно боролся со всеми оппозициями, громил «рабочую оппозицию», троцкистов, бухаринцев и всех других, кого следовало громить. А потом настал и его черед... Он был посмертно реабилитирован. В 1957 году я был приглашен его вдовой Марией Соломоновной на вечер памяти Иосифа Сигизмундовича в музей Революции. Там говорили о жизненном пути Юзефовича, и один из его друзей, отбывший в лагере лет 17 и потерявший там зрение, с восторгом вспоминал о том, как в профсоюзе кожевников, который возглавлял Юзефович, громили оппозиционеров...

В связи с арестом Юзефовича обстановка в секторе стала еще более мрачной. Теперь к ошибкам, совершенным сотрудниками сектора, прибавилась еще и потеря бдительности. Я часто думаю о том, как фатально везет устроителям всевозможных проработок, вернее, как ловко они все это устраивают! Да, не зря секретарь партбюро института Мочалов предупреждал меня. Вслед за Юзефовичем был арестован другой сотрудник нашего сектора — Абрам Яковлевич Гуральский. Он был профессиональным революционером, вступившим на этот путь еще зеленым юношей. Абрам Яковлевич воевал на Украине в годы гражданской войны. В послевоенные годы он стал функционером Коминтерна: работал во Франции, в Германии, в Латинской Америке. Во время партийных разногласий Гуральский поддержал на какой-то момент оппозиционеров, подписал какую-то платформу, но вскоре порвал с оппозицией решительно. Но с тех пор он находился под подозрением. 1937 год миновал его благополучно. Он был один из немногих арестованных, которые были вскоре освобождены. Гуральский почему-то гордился этим фактом.

Абрам Яковлевич был специалистом по истории Франции, хотя я думаю, что по своим знаниям он был бы хорошим историком новейшего времени почти любой страны. Человек он был живого, острого ума, весьма далекий в глубине души от догматических построений, но всегда опиравшийся в своих работах и выступлениях на решения соответствующих партийных съездов, пленумов и конгрессов Коминтерна. Хода ему не давали. Печатали лишь его отдельные статьи, да и то не баловали. Его фундаментальное исследование по истории Франции Новейшего времени так и не было опубликовано. Некоторые подробности из жизни Гуральского в концлагере стали известны из книги ленинградца Дьякова.

Гуральский был освобожден в 1955 г., уже смертельно больной. Он умер несколько месяцев спустя. На его похоронах присутствовало всего четверо сотрудников института, в их числе В. М. Турок. Но еще до своей смерти ему суждено было пережить внезапную смерть своей дочери, молодой и очаровательной женщины, увы, с больным сердцем. Жена Абрама Яковлевича Тульчинская, испанистка, не надолго пережила своего мужа.

Арест Гуральского еще больше усилил атмосферу подозрительности и вражды в нашем секторе.

Ф. В. Потемкин скоро ушел, покинув сектор, не стяжав ни славы, ни симпатии. Руководителем сектора был назначен Владимир Владимирович Бирюкович, медиевист по образованию, доктор исторических наук. Профессор Бирюкович находился на действительной военной службе, был по званию полковником, являлся начальником кафедры по всеобщей истории Военно-политической академии им. В. И. Ленина. Был он человеком добрым, а потому с больным сердцем. До сих пор понять не могу, кой черт понес его заведовать нашим сектором. Очевидно, ему хотелось постепенно полностью переместиться в Академию наук. (Он был на полставке старшим научным сотрудником в секторе истории средних веков). Владимир Владимирович был человеком необычайно точным, добросовестным и требовал такого же отношения к работе как у себя на кафедре в академии, так и у нас в секторе. С мая 1950 г. по октябрь 1951 г. я был при нем ученым секретарем. Очень быстро между нами возникли хорошие деловые отношения, которые вскоре проложили дорогу и дружеским. Я бывал у него дома. Он бывал у меня. Владимир Владимирович был женат, но детей не было. Вместе с ним и с его женой жила старушка-мать Владимира Владимировича. Она была очень и очень стара, лет, наверное, под 90. Сына своего Владю — единственного оставшегося к тому времени в живых из ее

детей — она любила безмерной любовью. Владимир Владимирович относился к ней с трогательной заботой.

Нас сближал одинаковый подход к работе сектора, общность взглядов. Связывало меня с Владимиром Владимировичем также и то, что он был в дружеских отношениях с Ниной Александровной Сидоровой, с которой и я, в свою очередь, был дружен.

С приходом Бирюковича работа в секторе начала входить в нормальную колею. Сектор пополнился молодежью — Зина Белоусова, Нина Смирнова, Хосе Гарсиа, Виктор Чада, Володя Салов — все они пришли из МГУ. Потом появился Юра Арутюнян с горящими глазами неофита и другие. В МГУ они прошли основательную подготовку, уже имели определенные навыки к научно-исследовательской работе. Все они стали, в конечном счете, хорошими специалистами. Виктора Чада ждала печальная судьба: в возрасте 40 лет он умер от неизлечимой болезни.

Пришло пополнение и из другого учебного заведения — из Академии общественных наук при ЦК КПСС. Как правило, Академия готовила идеологические кадры для партии. Окончившие Академию обычно получали назначения секретарями областных комитетов партии по пропаганде, заведующими агитаторами, лекторскими группами и пр. Но к 1951 году времена изменились, вакантных должностей в партийном аппарате становилось все меньше и меньше, и конкуренция обострилась. Надо было подыскивать оканчивавшим академию — этому «золотому фонду нашей партии» (Г. Маленков) — другое занятие. И оно нашлось — общественные науки. Они действительно нуждались в кадрах высокой квалификации. Но наиболее способных аспирантов АОН оставляла на своих кафедрах. Первой ласточкой, прилетевшей к нам из Академии общественных наук, была С. А. Ованесян — уже

немолодая женщина. Она занималась американским рабочим движением, была аспиранткой Л. И. Зубока. Став парторгом сектора, она постоянно «повышала бдительность». В свое время Ованесян работала в ЧК «под руководством Берия», как она гордо заявляла до июня 1953 года, а потом перестала об этом вспоминать вовсе. Женщина она была несчастливая. Муж ее был арестован в 1937 году, и можно себе представить, как старалась Ованесян в последующие годы оправдать доверие партии. Один из аспирантов нашего сектора решил как-то посоветоваться с Софьей Артемьевной относительно своей диссертации, вот, мол, фактов очень много, по какому принципу их отбирать? «А вы делайте, как я, — ответила С. А., — один-два факта и глубокий анализ». Это выражение сразу стало крылатым. Творчески Ованесян оказалась бесплодной. В конце концов, она получила пенсию, думаю, что персональную, и ушла на покой.

Летом 1951 года к нам пришла группа выпускников Академии общественных наук — человек шесть. Один из них, Алексей Николаевич Филиппов был кадровым работником партийного аппарата и до учебы в Академии секретарем по пропаганде одного из обкомов партии. Человек он был к исследовательской работе непривычный, да и лет ему было уже немало, но он был добродушным, мягким и скоро попал под полное влияние Бориса Николаевича Крылова. Тот был совсем другого рода: жесткий, честолюбивый и ничем не брезгающий ради достижения поставленной цели. Иван Никифорович Слободянюк человеком был необычайно ленивым, но сметливым. Он заведовал испанской редакцией Радиокомитета, и так как у него было свободное время (по его собственному выражению),то он решил заняться наукой, т. е. получать, помимо радио, еще одну ставку (3000 рублей) в Институте истории. Следует тут же сказать, что введенные в 1947 году новые ставки оплаты научных сотрудников резко

улучшили их материальное положение. Поэтому научно-исследовательские институты все чаще начали привлекать внимание тех, кто стремился к не очень обременительной (с их точки зрения), но материально обеспеченной жизни. Слободянюк принадлежал к этой категории.

Постепенно Крылов сколотил вокруг себя группу, так сказать, «истинных партийцев», в которую он вовлек и некоторых других сотрудников. Их главная деятельность заключалась в том, что они постоянно «сигнализировали» во все вышестоящие инстанции о «неблагополучии» в секторе и в Институте, создавая тем самым атмосферу подозрительности и недоверия. В этом нет ничего удивительного, ибо наш микромир был частицей большого мира, а в нем происходило то же самое, но лишь в гигантских масштабах. Б. Н. Крылов открыто заявлял, что в секторе и в Институте происходит классовая борьба. Но раз происходит, должны быть и классовые враги... Партбюро института, которым руководил в те годы Леонид Михайлович Иванов, человек самостоятельный и принципиальный, этот тезис отвергал. Однако Крылов не успокоился на этом. Время как будто работало на него и ему подобных. Вся эта кампания начала «стучать» и стучаться в различные инстанции — от управления кадров Президиума АН СССР, который возглавлял их приятель Косиков, и... все выше, выше и выше.

...Я с интересом и некоторым удивлением перебираю документы той поры: вот стенограммы обсуждения моей рукописи в 1951–52 гг., рецензии, выписки из протоколов заседания сектора, выдержки из доклада директора Института А. Л. Сидорова, мои письма в Ученый совет Института, академику А. М. Панкратовой, переписка по поводу постановления Президиума Академии наук от 20 марта 1953 года, письмо заведующему отделом науки ЦК КПСС А. М. Румянцеву от 21 апреля 1953 г. и др.

Неужели все это было? Прошло 20 лет, какие перемены, как много изменений в жизни нашего Института, но что-то и очень важное осталось без изменений. И это «что-то».

Документы позволяют мне восстановить картину того, что происходило в 1951–52 годах.

Сектор новейшей истории был славен тем в Институте, что в течение ряда лет книги его сотрудников не печатались. В 1949 г. вышла одна-единственная книга В. М. Турока «*Локарно*». Затем — появились работы Л. И. Зубока и Б. Е. Штейна, официально объявленные порочными. Сектор работал «без руля и без ветрил» частично из разгильдяйства, частично из страха быть обвиненными в извращении чего-то или в искажении кого-то. Это привело к тому, что за более чем 10-летнее существование сектора (к 1952 г.) не было сделано даже попытки наметить основные линии изучения Новейшей истории. Сектор лихорадило: то составлялся план, в котором были лишь одни индивидуальные монографии, то этот план перечеркивался и составлялся другой, в котором уже вообще не было монографий. Перестройки происходили ежегодно то в связи с XIX партсъездом (1959 г.), то в связи с выходом в свет «*Вопросов языкознания*» И. В. Сталина. Институт, как и все прочие научные учреждения, обязан был откликаться на каждое новое слово вождя и брал на себя все новые и новые обязательства, и так без конца. Историческая наука все больше превращалась в специализированную отрасль по подбору иллюстративного материала к «гениальным высказываниям» вождя. Громы и молнии, извергаемые против «буржуазных фальсификаторов истории», не сопровождались в те годы сколько-нибудь серьезными попытками разобраться в направлениях буржуазной исторической мысли. Дело дошло до того, что открыто был выдвинут обскурантистский лозунг «Мы с буржуазными историками не полемизируем. Мы их

отвергаем». В таких условиях для невежества открылся полный простор. Очень хорошо жилось бездельникам. Упомянутая выше С. А. Ованесян работала в секторе с конца 1948 г. над монографией, посвященной некоторым проблемам рабочего движения в США. После трехлетней «работы» монография была снята с плана. Сектор не увидел и не обсудил ни одной строчки из этой работы. Другой пример: около двух лет работал в секторе некий Борецкий в качестве старшего научного сотрудника. За все это время он — выпускник Академии общественных наук — не написал ни одной строчки. Затем он был переведен в Институт востоковедения, где пробыл еще полтора года. Итог его деятельности» — 30 машинописных страниц, из коих половина была текстуально переписана из работ проф. А. Ф. Миллера, которого Борецкий к тому же еще нещадно шельмовал. Ушли в конце концов из Института, так и не оставив после себя никакой научной продукции, также Б. Н. Крылов и А. Н. Филиппов. Обстановка «холодной войны» вовне и внутри страны удивительным образом отражалась и на исторической науке. Способных и талантливых людей, подлинных ученых критиковали, вернее, ругали за любой промах, любую, пусть самую малозначащую ошибку, да и просто так — «за космополитизм». И занимались этим бездельники, дешевые демагоги, паразитирующие на почве науки. Один был у них интерес — как можно дольше существовать за счет государства. Как я писал А. М. Панкратовой 17 ноября 1952 года, «эти люди создают обстановку беспринципной групповщины и взаимоподдержки бездельников».

К чести подавляющего большинства историков из нашего Института они относились к этим людям с большой, хотя и часто скрываемой, антипатией. Были, правда, сотрудники, которые стремились заслужить их благоволение.

В октябре 1951 г. рукопись моей основательно переработанной кандидатской диссертации была рекомендована для опубликования и поступила в издательство Академии наук СССР. Но тут случилась беда.

Летом 1951 года в издательстве Академии наук вышла книга профессора Бориса Ефимовича Штейна «*Буржуазные фальсификаторы истории*». Книга представляла собой анализ зарубежных документов и мемуаров о событиях, предшествовавших Второй мировой войне. Борис Ефимович был старейшим работником Министерства иностранных дел СССР, занимал ряд ответственных постов и имел высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Штейн руководил в свое время различными отделами иностранного ведомства, а также был послом в Италии. Он занимался историей международных отношений и историей внешней политики СССР очень давно, чуть ли не с начала 20-х годов, много писал, а также преподавал, главным образом, в Высшей дипломатической школе. Штейна часто приглашали в Институт истории то оппонировать, то принять участие в каком-либо обсуждении и пр. Поэтому было вполне естественно, что Борис Ефимович просил наш сектор обсудить его новую рукопись и рекомендовать ее для издания под грифом Института истории. Книга была обсуждена, рекомендована и издана. Но кому-то «наверху» она не понравилась. В № 8 «*Большевика*» за 1952 г. появилась разгромная рецензия. Книга была названа «вредной, грубо искажающей историческую правду», «порочной». Больше того, произошла неслыханная в практике Академии вещь: Президиум Академии наук принял 30 мая 1952 г. специальное решение по поводу ошибок в книге Б. Е. Штейна.

Институту было предложено повторно рассмотреть все работы по новейшей истории, в том числе и те, которые уже

находились в производстве. К ним относилась и моя собственная, которая к тому времени была уже набрана. Новое руководство мобилизовало все возможные силы для разгрома рукописи. Обсуждение 8 июля 1952 г. длилось много часов. В чем только меня не обвиняли! И все же разгром на научной основе не удался. Я принял те замечания, которые считал справедливыми, и пункт за пунктом (мое выступление продолжалось полтора часа) опроверг те аргументы, которые были основаны на передержках, домыслах, прямой фальсификации текста. Лишь трое выступавших (М. Н. Машкин, И. М. Майский и Л. В. Поздеева) дали объективную оценку работе. Мои собственные аргументы, по-видимому, произвели некоторое впечатление. А. Н. Филиппов, резюмируя итоги обсуждения, предложил дать мне до конца года время для доработки. Рекомендация к печати 1951 года (не лишено интереса, что тогда А. Н. Филиппов выступал в качестве рецензента на Ученом совете Института с положительным письменным и устным отзывом), не была отменена. Но аоновцы решили реваншировать себя обычным административным методом. На заседании партгруппы они заклеймили положительные отзывы как «беспринципные». В стенгазете института (ее редактором был тогда Б. Н. Крылов) появилась соответствующая статья. Еще спустя три месяца на заседании сектора, посвященного совсем другому вопросу, было принято решение, фактически ревизовавшее оценку работе, данную во время обсуждения.

На этом этапе дело окончилось тем, что набор рукописи был рассыпан. И это было в конечном счете большим счастьем для меня, ибо, не случилось этого, я вынужден был бы ввести в текст такие поправки, которые потом вызывали бы у меня чувство стыда. Но в то время удар был для меня тяжелым. Положение мое в секторе осложнилось.

Еще во время обсуждения моей работы 8 июля 1952 г. я обратил внимание присутствующих, что И. Н. Слободянюк попросту списал часть своего отзыва из отзыва другого сотрудника. Это мне показалось забавным, но не более. Спустя два месяца на одном из заседаний авторского коллектива и редколлегии IX т. «*Всемирной истории*» (ответственным редактором был тогда И. М. Майский) должна была обсуждаться глава И. Н. Слободянюка «*Италия, 1929–1939*». Начав читать текст, я почувствовал что-то неладное, будто читал я когда-то точно такой же текст. Взяв несколько ходовых учебных пособий, я без труда установил, что из 14 страниц текста Слободянюк заимствовал 13! Я отдавал себе отчет в том, что будут предприняты отчаянные попытки замять это дело. Поэтому прежде всего я выступил на открытом обсуждении. Вслед за тем случай этот был предан, вопреки существовавшей практике, самой широкой огласке. Несмотря на отчаянную борьбу «истинных патриотов» из Академии общественных наук, 9 октября А. Л. Сидоров издал приказ об увольнении И. Н. Слободянюка из Института за плагиат. Это было поистине революционное действие, неслыханное в истории отечественных наук. С тех пор я никогда не слышал, чтобы кого-нибудь увольняли за плагиат, хотя их было предостаточно. Сектор принял решение, осуждающее Слободянюка, и потребовал освободить от него сектор. Слободянюк проработал в секторе 8 месяцев на полной ставке старшего научного сотрудника. Одновременно он получал полную ставку и в качестве заведующего испанской редакцией Радиокомитета. Это было грубое нарушение правил о совместительстве. Но оно не было единственным.

Согласно уставу Академии наук, на должность старшего научного сотрудника зачислялись академики, член-корреспонденты и доктора наук. Кандидатов наук в то время

брали на эту должность только в виду их исключительных заслуг. Теперь же все выпускники Академии общественных наук автоматически зачислялись на эту должность. Таким образом, был взят курс на создание привилегированной прослойки среди ученых общественных наук, легко «управляемых» соответствующим начальством. В 20-е годы, когда основная часть историков была беспартийной, и к тому же они были выходцами, главным образом, из среды буржуазно-дворянской интеллигенции, были созданы Институты красной профессуры. Икаписты составили затем основную партийную элитарную прослойку среди историков и философов. Но прежних отличала от нового поколения, т. е. выпускников АОН, жажда знаний (большинство из них пришло в ИКП, имея за плечами гражданскую войну, подполье и пр.). Аоновцы, которые попали к нам в сектор, жаждали... но не знаний, а постов, положения привилегированных. Их мало интересовала или вовсе не интересовала история как наука, а лишь как один из способов благополучного существования. Недостаток профессиональных знаний они восполняли привычными аргументами административного характера. Будучи истинными сталинцами, они, подобно отцу народа, уважали и ценили только силу. Они были сильны, сильны своей беспринципностью, готовностью употреблять в борьбе за свое благополучие любые методы, на использование которых у порядочных людей просто не хватило бы духу. Они были сильны корпоративной спаянностью, взаимовыручкой, круговой порукой. Тот же Слободянюк, рассказывали мне, и это вполне достоверно, был приглашен после изгнания из института к своему приятелю в центральный аппарат, и тот сказал ему: «Тикай, Ваня, до Киеву», и... Слободянюк отправился в столицу Украины на должность... заведующего

кафедрой журналистики Киевского государственного университета!

После бурных собраний и витийства борьба с космополитами вошла в спокойное, так сказать, рутинное русло, стала составной частью жизни нашего общества.

Громя космополитов, вышестоящие органы обратили внимание на необходимость утверждения благотворной роли Российской империи для присоединения к ней народов Средней Азии и Кавказа. Борьба против так называемого местного национализма пошла, однако, не по линии интернационализма, а великодержавного русизма.

Сигналом явилась статья секретаря ЦК компартии Азербайджана М. Багирова «*К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля*» («*Большевик*», № 13, 1950). Поводом для статьи послужила отмена Советом Министров СССР в мае 1950 года постановления о присуждении Сталинской премии азербайджанскому историку Г. Гусейнову за книгу «*Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане*». (Вскоре после этого решения Гусейнов покончил с собой.) Одновременно в статье критиковалась книга другого дагестанского историка Р. М. Магомедова «*Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля*», опубликованная еще в 1939 году. Для нравов того времени характерен, между прочим, такой мотив, прозвучавший в предисловии Магомедова к своей книге: стимулом для ее написания было желание восстановить историческую правду о Шамиле, так как «враги народа, пробравшиеся на руководящие посты, изображали Шамиля как реакционера» (стр. 17). Затем в журнале «*Вопросы истории*» (№ 9, 1950) появилась небольшая статья на ту же тему секретаря Дагестанского обкома партии А. Даниялова, повторявшая и в некоторых случаях развивавшая основные положения статьи Багирова. В 1951 г. были опубликованы статьи Якунина («*Вопросы истории*», № 4,

1951), А. Фадеева (№ 9, 1951), передовая в «*Вопросах истории»*, № 4 и др., в которых безапелляционно утверждалось, что присоединение народов Средней Азии и Кавказа к России было делом прогрессивным. То, что присоединение носило насильственный характер и являлось проявлением агрессивной экспансионистской политики царизма, нимало не смущало марксистских глашатаев этой доктрины. Они полностью игнорировали мнение В. И. Ленина по этому вопросу и отстаивали тезис, что приграничным государствам Средней Азии грозила опасность поглощения другими, более отсталыми по сравнению с Россией, государствами (Персия, Турция) или угроза порабощения английским империализмом.

В начале 1951 г. «*Правда*» опубликовала статью Г. Шашибаева, Х. Айдаровой и А. Якунина под названием «*За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казахстана*», в которой была подвергнута разгрому книга казахского ученого Е. Бекмаханова «*Казахстан в 20–40 гг. XIX века*». Эта работа была защищена автором в качестве докторской диссертации. Официальными оппонентами были член-корреспондент АН СССР Н. М. Дружинин, член-корреспондент А. М. Панкратова и проф. М. П. Вяткин.

Как и полагается, после статьи в «*Правде*» был созван Ученый совет Института истории (21 февраля 1951 г.). Председательствующий, заместитель директора Института С. Л. Утченко призвал к резкой критике работы Бекмаханова и напомнил, что в 1947 г. во время дискуссии о мюридизме и Шамиле такие ведущие историки, как Н. М. Дружинин, А. М. Панкратова, М. В. Нечкина, будто бы дали неправильную оценку этому движению, охарактеризовав его как прогрессивное. Согласно канонам того времени, речь С. Л. Утченко изобиловала такими эпитетами, как «порочная», «антимарксистская», «буржуазно-националистические

извращения». В своем выступлении С. Л. Утченко заявил: «Таким образом, Бекмаханов поднимает на щит султана Кенесары. Создавая своего казахского Шамиля, Бекмаханов трактует Кенесары с буржуазно-националистических позиций». Оратор призвал к пересмотру оценок и других национальных движений, как, например, андижанского восстания 1898 г., поскольку оно имело религиозную форму и было поддержано английскими агентами. Реакционный характер андижанского восстания С. Л. Утченко видел в том, что его целью было создание самостоятельного независимого мусульманского государства в борьбе «за отторжение от России значительной части Средней Азии». В этих словах и содержится квинтэссенция официального взгляда того времени: всякую попытку отделения от царской России следует рассматривать как реакционную и как отторжение от России ее территории! Мысль С. Л. Утченко была затем развита А. Якуниным, который представил политику царской России того времени в Средней Азии как... оборонительную. Якунин говорил об агрессии среднеазиатских ханств в Казахстане и заявил, что «царское правительство было вынуждено строить укрепления для того, чтобы оградить от разбойных набегов русские и казахские селения»... Кенесары же «опирался в своей борьбе именно на среднеазиатские ханства и вдохновлялся именно ими». По моде того времени Якунин напомнил и о шпионской деятельности английских колонизаторов и пр. Фактически это выступление оправдывало колонизаторскую политику русского царизма.

Вынуждены были признать ошибочность своей оценки движения Кенесары, а также ошибочность некоторых взглядов Бекмаханова и бывшие его официальные оппоненты Н. М. Дружинин, А. М. Панкратова и профессор М. П. Вяткин (он был ответственным редактором книги

Бекмаханова). Н. М. Дружинин сделал это, правда, в очень осторожной и строго научной форме. Айдарова — один из авторов статьи «*Правды*» — была аспиранткой Н. М. Дружинина. Николай Михайлович был настолько возмущен ее выступлением на Ученом совете, что перестал с нею раскланиваться.

Однако дело не ограничилось обсуждением. По предложению С. Л. Утченко Ученый совет признал неправильным свое прежнее решение о присуждении Е. Бекмаханову степени доктора исторических наук и отменил его. Во время первого голосования по этому вопросу (об этом, разумеется, в печати не сообщалось) против нового предложения голосовали Н. М. Дружинин и А. М. Панкратова. Тщетно С. Л. Утченко убеждал их голосовать вместе со всеми. Они не согласились. Тогда был объявлен перерыв, и на следующий день Ученый совет собрался вновь. Но до того А. М. Панкратова была вызвана в ЦК КПСС для беседы... При вторичном голосовании лишь один беспартийный академик Н. М. Дружинин сохранил свою позицию. Те, кто знал Н. М. Дружинина, этого честнейшего человека, «рыцаря исторической науки», и не ожидали от него ничего другого. В то время вряд ли А. М. Панкратова могла поступить иначе — ведь она была членом партии (в том же году, на XIX партсъезде, она была избрана членом ЦК КПСС).

Е. Бекмаханов был лишен докторской степени, снят с работы и вскоре арестован. Несколько лет он пробыл в заключении, был после XX съезда КПСС реабилитирован и восстановлен в степени доктора наук. Оценка его работы как порочной была признана ошибочной.

Об этой истории в последующие годы в Институте старались не вспоминать. Неловко все же!

Спор о прогрессивности присоединения окраинных народов к Российской империи, который мог бы развиваться

на чисто научной платформе, очень скоро выродился в погром, наклеивание ярлыков, шельмование и сведение личных счетов. Особенно характерной в этом отношении была статья А. Якунина «*К вопросу об оценке характера национального движения 30–40 гг. XIX в. в Казахстане*» («*Вопросы истории*», № 4, 1951), которая выглядела как донос, ибо, помимо безусловного, так сказать, «буржуазного националиста» Бекмаханова, автор называл лиц, разделявших точку зрения Бекмаханова и поддерживавших его, в том числе проф. М. П. Вяткина, А. М. Панкратову, А. П. Кучкина, Н. М. Дружинина, С. В. Бахрушина, вице-президента Казахской АН Кенеспаева, секретаря ЦК компартии Казахстана Омарова, рецензента К. Шарипова.

В апреле 1951 г. ЦК компартии Казахстана осудил ошибки Бекмаханова, а также «ошибки» во втором издании коллективного труда «*Истории Казахстана*». Этот вопрос обсуждался также и на пленуме ЦК. Ученый совет Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР постановил считать движение Кенесары реакционным. Тут же было принято решение ходатайствовать о лишении Бекмаханова ученой степени доктора наук, кандидата наук и звания профессора. Подобной каре был подвергнут на этом же заседании и кандидат исторических наук Дильмухамедов, совершивший якобы «те же буржуазно-националистические ошибки» в своей диссертации. В октябре 1951 г. Дильмухамедов был лишен степени. В ноябре 1951 г. тот же Ученый совет ходатайствовал о лишении ученой степени кандидата литературоведения еще одного сотрудника Института — А. Жиренгина за его работу «*Абай и его русские друзья*». «Преступление» Жиренгина состояло в его тезисе, что творчество знаменитого казахского просветителя Абая Кунанбаева испытывало влияние отдельных народников,

ставших впоследствии эсерами, и что Жиренгин изображает этих эсеров (даже подумать страшно!) «проводниками идей передовой русской демократической культуры» («*Вопросы истории», №* 2, 1952, стр. 148).

По-видимому, этот вопрос очень тревожил руководство, ибо на XIX съезде партии первый секретарь ЦК компартии Казахстана Ж. Шаяхметов специально остановился на ошибках Института истории Академии наук СССР в оценке Кенесары, а от Багирова на том же съезде досталось журналу «*Вопросы истории»* в связи с дискуссией относительно формулы «наименьшего зла» — теперь следовало говорить лишь о благе присоединения окраинных народов к Российской империи! Эта дискуссия началась с письма М. В. Нечкиной в «*Вопросах истории*» (№ 4, 1951) «*К вопросу о формуле наименьшее зло*». Речь шла о том, что для пограничных народов Средней Азии и Кавказа присоединение к России было наименьшим злом по сравнению с угрозой присоединения их к отсталым империям Турции или Персии, к отсталым воинственным среднеазиатским ханствам, в которых большим влиянием пользовались английские агенты. М. В. Нечкина в своем письме предлагала рассматривать эту формулу в свете развития хозяйственной и культурной жизни народов Российской империи, несмотря и вопреки политике царизма. Особое внимание она придавала выяснению истории объединения трудовых людей различных народов в общей борьбе против эксплуататоров. Отклики на письмо М. В. Нечкиной свидетельствовали о том, что многие историки склонны рассматривать присоединение к Российской империи Армении, Грузии, районов Поволжья как благо для населявших их народов. Итоги дискуссии по этому поводу были подведены спустя полтора года в разносной статье Л. Максимова «*О журнале „Вопросы исто-*

рии“» (*«Большевик»*, № 13, 1952), в которой опубликование статьи М. В. Нечкиной было охарактеризовано как грубая ошибка.

Кампания против «космополитов» открыла зеленый свет для проникновения в науку воинствующих невежд. Мне вспоминается статья С. И. Кожухова (директора музея в Бородино) о неправильной будто бы оценке акад. Е. В. Тарле некоторых вопросов Отечественной войны 1812 г. (*«Большевик»*, № 19, 1951). Не буду повторять здесь весь бред Кожухова, ибо случай этот скорее можно назвать клиническим.

И все же по этому поводу было созвано специальное заседание Ученого совета Института истории в конце октября 1951 года. Но на этот раз попытка устроить очередной разгром выдающегося историка провалилась — ученые были обозлены и, кроме того, устали от бесконечных проработок. Некоторые историки вступили в полемику с Кожуховым, другие попросту отмолчались, и журнал «*Вопросы истории*» с возмущением констатировал в передовой статье (№ 11, 1951), что историки так нехорошо поступили «вместо того, чтобы признать свои ошибки» (стр. 26).

Несмотря на то, что историки в 1951–52 гг. изо всех сил боролись со всеми, с кем надо было бороться, а в то время особенно с марристами, Молох продолжал требовать новых жертв.

Летом 1952 г. в «*Большевике*» появилась разгромная статья по поводу деятельности журнала «*Вопросы истории*». В этот момент уже был сверстан июльский номер журнала. Желание еще раз подтвердить привычную готовность к покаянию, признанию ошибок и ко всему прочему было столь велико, что в каждый экземпляр журнала была сделана вклейка, в восьми строках которой критика «*Большевика*» признавалась «совершенно правильной»! Редакция «*Вопросов*

истории» обещала в следующем, № 8, выступить с развернутой критикой своих ошибок. И свое обещание редколлегия выполнила. Полное покаяние было опубликовано в виде передовой статьи под заголовком «*От редакционной коллегии „Вопросов истории“*», в которой перечислялись все ошибки, отмеченные рецензентом «*Большевика*» Максимовым, и прежде всего «отставание в разработке проблем, вставших перед исторической наукой в связи с выходом в свет гениального труда И. В. Сталина «*Марксизм и вопросы языкознания*» (стр. 3). Заодно в статье были обруганы ее бывший и действующий главные редакторы А. Д. Удальцов и П. Н. Третьяков за то, что они в прошлом следовали теории Марра и не выступили с критикой своих ошибок.

Таким образом, к осени 1952 г. созрели все условия для полного «очищения» исторической науки от «чуждых взглядов», а заодно от их носителей. В это время заместителем директора Института был уже А. Л. Сидоров (С. Л. Утченко сохранил за собой заведование сектором Древней истории).

Но как ни старалась редколлегия журнала «*Вопросы истории*» вымолить снисхождение у начальства, все было тщетно: 17 октября 1952 г. Президиум Академии наук признал работу журнала неудовлетворительной.

Но здесь в работу журнала «*Вопросы истории*» вмешалась История. Умер Сталин. Новая редколлегия журнала была сформирована через несколько месяцев после его смерти. Начиная с № 6 1953 г. она была почти полностью в новом составе. Из старой редколлегии остались лишь Б. Д. Греков и Н. М. Дружинин. Главным редактором была назначена А. М. Панкратова. Ее заместителем — Э. Н. Бурджалов.

Но до тех пор события продолжали развиваться для историков трагически. Спустя 10 дней после решения

Президиума 27 октября 1952 г. было созвано расширенное заседание Ученого совета нашего Института. Доклад делал А. Л. Сидоров. А. Л. Сидоров решил устроить что называется «парад-алле», дабы возвестить начало новой эры в исторической науке. Помимо членов Ученого совета, на заседание были приглашены ведущие историки Москвы. Официально доклад Сидорова был посвящен задачам исторической науки в свете новой работы Сталина «*Экономические проблемы*» и решений XIX съезда КПСС. Но весь пафос его доклада был направлен против коллектива сотрудников Института истории.

Центральным моментом в докладе Сидорова было обвинение Института истории в том, что в нем имеет место «порочная практика примиренчества к буржуазным концепциям». В качестве примера Сидоров снова ссылался на оценку мюридизма и движения Кенесары Касымова. Среди распространителей космополитических идей были названы снова имена С. Б. Веселовского, И. И. Минца, Л. И. Зубока, Б. Е. Штейна.

Появились и новые имена — З. Ш. Раджабов, бывший наш докторант, написавший докторскую диссертацию по истории общественной мысли в Узбекистане в колониальный период, Г. И. Башарин, написавший работу по истории Якутии. Обоих ВАК лишил докторских степеней. Докладчик затем обрушился на те труды историков, в которые якобы проникли буржуазные идеи.

С легкой руки Сидорова начали громить еще не опубликованные рукописи: поминали ошибки в неопубликованных рукописях Некрича, Турока-Попова, Майского, Лисовского, много говорили об ошибках Б. Ф. Поршнева. В начале 50-х годов Б. Ф. Поршнев опубликовал серию статей о характере феодального общества, в которых выдвигал тезис о примате классовой

борьбы. По этому поводу в Институте и в печати возникала полемика.

В этой дискуссии, по-моему, схлестнулись, главным образом, не разные точки зрения на феодальный способ производства, хотя началось именно с этого, но какие-то страсти чисто личного характера. Причем обе стороны не брезговали никакими средствами, чтобы облить помоями или унизить своих оппонентов. Таково впечатление, оставшееся у меня, и время не изменило его.

Досталось Нечкиной за уже упоминавшееся выше ее письмо в редакцию «*Вопросов истории*», попало «*Вопросам истории*». Позднее в отчете отмечались несамокритичные выступления Минца, Майского, Нечкиной («не поняла своих ошибок»), досталось даже С. Л. Утченко, оказывается, даже его выступление не было достаточно самокритичным. А в передовой «*Вопросов истории*» (№ 12, 1952) обругали С. Трапезникова за то, что он в своей книге «*Борьба партии большевиков за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки*» «не показывает коллективизацию сельского хозяйства как объективно закономерный процесс» (стр. 7). Речь шла об ошибках нынешнего заведующего отделом науки ЦК КПСС...

Но кто мог тогда предвидеть, что бывший директор партийной школы в Кишиневе станет членом ЦК КПСС и возглавит отдел науки? Да, многое можно не делать или делать по-другому, если бы знать, что будет, — вздыхали потом руководители нашего Института. А пока они продолжали без устали бороться против всех и всяческих отклонений, извращений. И в этой борьбе «открытое», «честное», «принципиальное» признание собственных ошибок, настоящее прочувствованное покаяние играло немалую роль. В конце 1952 года потребовалось покаяние марристов, и «*Вопросы истории*» в передовой последнего

номера за 1952 г. призвали к покаянию археологов, в чьих работах были марристские ошибки. А кто же не грешил из археологов марризмом? Да почти все крупные ученые. Впрочем, их перечислили: П. П. Ефименко, П. И. Борисковский, Т. С. Пассек, А. П. Окладников, особенно В. И. Равдоникас (уже ранее объявленный космополитом) и М. И. Артамонов, и П. Н. Третьяков, и А. Д. Удальцов. Под сильным влиянием марристов, оказывается, были С. П. Толстов, С. И. Руденко и особенно еврей А. Н. Бернштам. Но археологи почему-то не были склонны к покаянию, наиболее упрямым оказался член-корреспондент АН СССР В. И. Равдоникас.

Интересно на примере С. П. Толстова убедиться, что в этот страшный период заката сталинской эпохи ни один ученый не мог быть гарантирован от обвинения в ошибках. Все зависело лишь от их степени. Удачливый археолог и этнограф, раскопавший древний Хорезм, честолюбивый Сергей Павлович был сделан в 1950 г. одним из 7 «апостолов» — Президиум Академии наук зачем-то учредил новые должности ученых секретарей Академии наук, а над ними был отныне главный ученый секретарь. Ученые секретари были чем-то вроде комиссаров или лиц, надзирающих от имени Президиума за деятельностью отделений Академии. Среди ученых секретарей оказались двое археологов: С. П. Толстов и громогласный С. В. Киселев. Толстову досталась неприятная миссия после «ленинградского дела» громить ученых-общественников в Ленинграде. Ему принадлежит «честь» закрытия востоковедной науки в Ленинграде. Думаю, что и ранняя смерть академика И. Ю. Крачковского явилась результатом огорчений, испытанных им в связи с закрытием в Ленинграде Института востоковедения. И все же, несмотря на столь «значительные заслуги», С. П. Толстов также подвергся критике. История с

закрытием востоковедной науки никогда не была забыта и прощена. Несколько раз С. П. Толстов выставлял свою кандидатуру на выборах в академики — он рассчитывал пройти в академики прямо, минуя член-корреспондентство. И каждый раз старики-академики голосовали дружно против его кандидатуры. Вконец отчаявшись, он решил баллотироваться в член-корреспонденты и был избран. Но дальше так и не пошел. Должность ученых секретарей была вскоре после смерти Сталина ликвидирована.

Появление «*Экономических проблем*» и грандиозная кампания по применению взглядов, высказанных в них к исторической науке, равно как и ко всем остальным наукам, были как бы предсмертными судорогами сталинского режима. Но эти судороги захватили кое-кого из историков. Проф. Б.Ф. Поршнев, который в течение длительного времени дискуссий-проработок своих произведений держался довольно стойко, после упоминания его «ошибок» в февральском номере «*Коммуниста*» за 1953 г. прислал в «*Вопросы истории*» пространное письмо-покаяние, в котором подверг себя резкой самокритике, вернее, самобичеванию («*Вопросы истории*», № 4, 1953, стр. 139–142). Можно себе представить, как он жалел об этом, едва узнав, что Сталина больше нет.

Такова была вкратце ситуация, когда и над моей головой снова начала собираться гроза.

Глава 4. Судороги сталинского режима

Зов ненависти: бой набата в океане.
Снежит... Как холодно! Мир утонул в тумане.
И жизнь, дрожа, бежит к привычным берегам
Прочь от надрывного набата в океане.

Поль Верлен

В редакции «Дипломатического словаря»; попытка самоубийства В. С. Соловьевой. — Секретарь райкома — антисемит и уголовный преступник. — Меня обвиняют в буржуазном объективизме. — Набор рукописи рассыпан. — «Спасительница отечества» Лидия Тимашук. — Арест академика И. Майского. — Когда начнут подчищать корешки... Скорбим по Сталину. — Все течет, иногда даже вспять...

Последние двадцать лет в мире много говорили и писали о массовых преступлениях, которые были совершены в Советском Союзе в период диктатуры Сталина. После появления «*Архипелага ГУЛАГ*» А. И. Солженицына вспомнили и о насилиях, совершенных в годы становления советского государства при Ленине. В наше время в Советском Союзе нет массовых репрессий, но преследования по политическим и религиозным мотивам не прекратились и по сей день. Именно эти преследования плюс разочарование в возможностях продвижения советского общества по пути гарантирования человеческих прав, демократизации всех сторон жизни советских людей и, прежде всего, свободы выражать письменно и устно свое мнение, не боясь последствий, а также открытое самодовольство силы, продемонстрированное во время ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года, вызвали движение диссидентов.

Много спорят и говорят о том, были ли насилия и преступления власти лишь нежелательным следствием революционного скачка или органическим пороком

общества, которое возникло на насилии. Оно поэтому является постоянным элементом этого общества, а трансформации подвергаются лишь формы насилия.

Ответ на этот вопрос может дать лишь тщательное беспристрастное (по возможности, конечно, ибо полностью беспристрастного суждения вообще нет в природе) исследование всех сторон жизни советской страны, ее истории.

В связи с этим мне вспомнился один эпизод из истории последних лет жизни Сталина, который, возможно, отражает, как в зеркале, особенности советского режима.

В Москве, на улице Станиславского (бывший Леонтьевский переулок) находится здание Управления по делам дипломатического корпуса. В конце 40-х и в начале 50-х годов на первом этаже этого здания в нескольких небольших комнатах размещалась редакция *«Дипломатического словаря».* Эта редакция входила в состав Государственного издательства политической литературы, но жила своей, несколько обособленной жизнью. Не было ни одного сколько-нибудь известного профессионального историка или юриста, который бы не участвовал в той или иной степени в составлении «*Дипломатического словаря*». Первое и, пожалуй, второе издание словаря могло в большой мере претендовать на научность. Познавательная часть словаря стала все более сокращаться в последующих изданиях, зато раздел персоналий начал быстро разрастаться, и постепенно «*Дипломатический словарь*» превратился в сухое, чисто формально-справочное издание.

Я писал для «*Дипломатического словаря*» и любил приходить в эту редакцию, где всегда царила дружеская, непринужденная атмосфера, что совсем не мешало, а скорее способствовало деловой обстановке.

Редакционная коллегия словаря возглавлялась сначала председателем Совинформбюро С. А. Лозовским, а затем

бывшим генеральным прокурором СССР, а в то время первым заместителем министра иностранных дел СССР А. Я. Вышинским. В ее состав среди других входили также бывший заместитель министра иностранных дел бывший посол СССР в Лондоне И. М. Майский.

Волны новой «чистки», задуманной Сталиным в грандиозном масштабе, очень быстро достигли берега «*Дипломатического словаря*». Первой жертвой пал С. А. Лозовский, арестованный в январе или в феврале 1948 года по делу Антифашистского еврейского комитета. Затем была арестована заведующая редакцией Теумян. Арест Лозовского в общем не коснулся редакционного коллектива, поскольку бразды правления принял Вышинский, и никто не осмеливался до поры до времени трогать учреждение, которое он возглавлял. Однако руководители Госполитиздата (директор Чернов, секретарь партийной организации Болдырева, главный редактор Матюшкин) вскоре после начала «антикосмополитической» кампании, являвшейся выражением антисемитизма, господствовавшего на верхах, начали проверку работы редакции, для чего была учреждена специальная комиссия.

На сотрудников редакции посыпались доносы. Первой жертвой пал востоковед А. Б. Беленький, отец которого был репрессирован в 1937 году. Я хорошо знал Александра Борисовича, он учился на историческом факультете Московского университета в одно время со мной, но был на курс старше. Я питал к нему огромное уважение, так как он, по-моему, единственный из всех студентов исторического факультета, чьи родители были арестованы, отказался признать своего отца «врагом народа». Для этого в то время требовалось изрядное мужество.

Кто-то распространил слух, что отцом Беленького будто бы был Григорий Беленький, в свое время известный

троцкист. По этому поводу с Беленьким в разное время вели беседы руководители Госполитиздата, в том числе временно исполнявший обязанности директора издательства С. М. Ковалев, вероятно, тот самый Ковалев, который спустя двадцать лет выступит со статьей в газете «*Известия*», в которой изложит теоретическое обоснование права Советского Союза на ввод войск в Чехословакию (т. н. «доктрина Брежнева»). Беседы эти в общем смысла не имели, поскольку Беленького звали Александр Борисович, а не Александр Григорьевич. Беленький заметил по этому поводу заведующему отделом кадров, что отцом Беленького мог бы быть Григорий только в одном случае, если бы он подделал документы. Дело обошлось.

1950 год сотрудники редакции пережили благополучно, Вышел в свет II том «*Дипломатического словаря*». Издание было завершено, и оценка его была высокой. Пошла речь о втором издании. А пока редакции поручили выпустить «*Политический словарь*». Между тем обстановка явно ухудшилась. В начале 1951 года был арестован В. В. Альтман, составитель словника и активный сотрудник словаря, а вслед за ним один из авторов — племянник легендарного комиссара Венгерской коммуны 1919 года, носивший имя дяди — Тибор Самуэли.

Антисемитские элементы Госполитиздата начали говорить в кулуарах, а затем открыто на собраниях о «засилье евреев» в редакции «*Политического словаря*». Тут случилось еще две беды, одна за другой. Редакция заказала одну из статей по проблемам экономического развития СССР известному экономисту А. Б. Ноткину. Вскоре Сталин подверг его резкой критике. И это было вменено в вину сотрудникам словаря.

В 1952 году был арестован один из старейших работников издательства, заместитель директора Веритэ. Хотя редакция «*Дипломатического словаря*» никакого отношения к Веритэ не

имела, секретарь партийного бюро Болдырева при поддержке известной госполитиздатовской склочницы Кудрявцевой и при содействии редактора Патроса и заместителя главного редактора Майорова и некоторых других лиц начали антисемитскую кампанию, требуя чистки кадров издательства и, в первую очередь, разгона редакции «*Политического словаря*». Были состряпаны и предъявлены гнусные обвинения: в подборе авторов по признаку еврейской национальности, в утрате бдительности, в организации пьянок, т. е. в бытовом разложении. Во всем этом не было ни грана правды. Даже в случае с «пьянками» (самое безобидное из предъявленных обвинений) речь шла о нескольких бокалах вина, выпитого по случаю окончания издания «*Дипломатического словаря*». К концу 1952 г. из редакции были уволены Залкинд, Беленький, Персиц, Кремер. Беленький был снят с работы с удручающей формулировкой: как «сын врага народа». С такой характеристикой устроиться на другую работу было просто невозможно. Беленький обошел 37 учреждений, школ и учебных заведений, где имелись вакантные места, и повсюду натолкнулся на отказ.

В конце 1952 года партбюро Госполитиздата объявило выговор Беленькому, строгий выговор заведующей редакцией В. С. Соловьевой, человеку безукоризненной честности, исключило из КПСС Кремера и Персица.

Вера Семеновна Соловьева могла избежать взыскания, если бы она всю «вину» переложила на своих сотрудников-евреев. Однако, несмотря на прозрачные намеки, которые были ей сделаны, она этот путь отвергла.

Партийные дела попали в Железнодорожный районный комитет КПСС города Москвы уже после смерти Сталина, и второй секретарь районного комитета успокоительно заверил пострадавших, что взыскания им будут понижены.

От степени взыскания в значительной мере зависела и возможность получения работы. Человеку, исключенному из коммунистической партии или получившему строгое партийное взыскание, устроиться на работу, особенно в идеологической области, было чрезвычайно трудно.

Секретарь партийного бюро Госполитиздата, залезшая по уши в это дело, по соображениям личного престижа продолжала настаивать на самых строгих выводах.

2 апреля 1953 года, через месяц после смерти Сталина, Железнодорожный райком КПСС (заседание бюро вел первый секретарь райкома Галушко) исключил из партии всех, кроме А. Беленького, которому был объявлен строгий выговор с предупреждением. Избежал он исключения благодаря заступничеству С. М. Ковалева, который при голосовании произнес несколько слов, благоприятных для Беленького.

3 апреля 1953 года Вера Семеновна Соловьева перерезала себе вены и, лишь благодаря счастливой случайности, осталась жива. На следующий день, 4 апреля, в газетах было опубликовано сообщение о реабилитации «врачей-отравителей».

Вера Семеновна признавалась потом близким друзьям, что искала смерти от отчаяния, так как повсюду в партийных органах видела лишь... фашистов.

Исключенных из партии потом еще долго мытарили в партийной комиссии Московского городского комитета партии, и только спустя много-много месяцев все взыскания были сняты, и они были восстановлены в правах членов коммунистической партии. Но всем им предстоял еще долгий путь возвращения к научной работе.

Первый секретарь Железнодорожного районного комитета партии Галушко, который вел все это дело, настаивал на изгнании из партии сотрудников «*Дипломати-*

ческого словаря» и требовал «очищения» от них рядов партии, через несколько лет оказался замешанным в крупное уголовное дело — он получал взятки от торгующих организаций, а за это покрывал и освобождал от наказания воров. Галушко был приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Дело было в 1953 году. Рассказывали, что и в лагере Галушко процветал: он устроился работать кладовщиком.

...Итак, набор моей рукописи был рассыпан, и я публично обвинен во всех смертных грехах: буржуазном объективизме, недооценке роли американского империализма в развязывании Второй мировой войны и так далее, и тому подобное. Заместитель директора Института истории Аркадий Лаврович Сидоров обвинил меня также на заседании Ученого совета в том, что я отверг все замечания рецензентов. В связи с его выступлением я подал в Ученый совет документ, в котором опровергал утверждения Сидорова.

Через несколько дней Сидоров вызвал меня и предложил мне для исправления «ошибок» отправиться учиться... в вечерний университет марксизма-ленинизма. Выслушав его, я чуть было не расхохотался: Сидоров рассматривал университет марксизма-ленинизма как меру наказания! Но, может быть, он был прав? Разве еще недавно в Китае не заставляли всяких там интеллигентов заучивать наизусть цитаты из произведений Мао? Просто Сидоров чуть-чуть предвосхитил китайскую грамоту. Разумеется, я сказал заместителю директора, что считаю его предложение абсурдным. На том и расстались.

В № 10 журнала «*Вопросы истории*» за 1952 год был опубликован в сокращенном варианте доклад Сидорова на Ученом совете, где обвинение меня в «политических ошибках» было смягчено и заменено формулой

«методологических недостатков». Для того времени это было сравнительно мягкой формулировкой. Однако появление в печати критики на неопубликованную работу — случай сам по себе из ряда вон выходящий — немедленно отразилось на публикации моих статей в периодической научной печати. В ближайшие полтора года мне не удалось опубликовать ничего. Доклад Сидорова принудил меня занять, так сказать, активную оборону.

Я знал, что против меня руководством сектора ведется кампания, и решил не медлить более. В ноябре 1952 г. я обратился с письмом к академику Анне Михайловне Панкратовой, избранной только что на XIX съезде партии членом Центрального Комитета. Этот семистраничный документ, копия которого у меня, по счастью, сохранилась, содержал анализ положения с изучением новейшей истории в нашем Институте. Касался я и более общих проблем; одной из важнейших была проблема новых кадров историков. Я писал, что после поднятия уровня заработной платы научным сотрудникам в 1947 году «...в историческую науку ринулись в последнее время люди, не имеющие никаких других интересов, кроме собственного благоустройства. Неслучайно, что большое количество людей, защитивших диссертации, также предпочитают не печатать». В связи с этим я предлагал снизить заработную плату и установить компенсацию в виде гонорара за выполненную работу вместе с установлением более строгого подхода на назначение на должность старшего научного сотрудника. Эти меры, по моему мнению, «избавили бы историческую науку от тунеядцев, бездельников и случайных в науке людей».

Позднее я понял, что мое предложение о «реформе» в оплате труда было плохой идеей. Плохой потому, что в наших условиях это означало бы расширение возможностей для произвола администрации при приеме, оценке и публикации работ, и тем самым усиление личной

зависимости каждого сотрудника от стоящего над ним администратора. Многое было бы иначе при оплате по труду и способностям, именно эта мысль лежала в основе моего предложения, а не степени конформизма и готовности, как писали известные наши сатирики И. Ильф и Е. Петров, «делать все, что потребуется впредь».

Спустя некоторое время Анна Михайловна Панкратова встретилась со мной. Сидели мы вдвоем в совершенно пустом зале заседаний на втором этаже здания общественных наук, что на Волхонке, 14, и мирно беседовали. А. М. сказала мне, что мое письмо было передано в отдел науки ЦК, проверено там и найдено соответствующим фактам... И вдруг А. М. посмотрела на меня и спросила: «Скажите, товарищ Некрич, вы югослав?» Признаюсь, такого поворота я не ожидал. Неужели ссора с Тито ударила и по мне таким необычайным стечением обстоятельств?!

Многих вводила в заблуждение моя фамилия. Дело иногда доходило до анекдота. Мой сокурсник уверял как-то моего родного отца, что он учился на одном курсе с югославом по фамилии Некрич.

Узнав, что я еврей, А. М. несколько смущенно протянула: «А мы думали, что Вас преследуют потому, что Вы югослав». Это была очень многозначительная фраза. Но в 1952 году неизвестно, что было хуже для живущего в СССР — слыть югославом или быть евреем!

Анна Михайловна была человеком душевным, совестливым и от природы глубоко порядочным. По роду занятий, по занимаемому ею видному положению ей не раз приходилось, впрочем, как и многим другим историкам, кривить душой, и она от этого очень страдала. Едва появлялась малейшая возможность помочь кому-нибудь, как А. М. Панкратова делала для этого все от нее зависящее. Знаю совершенно достоверно, что она очень тяжело

переживала историю с осуждением Бекмаханова и то унижение, которое ей пришлось пережить на Ученом совете. В последние годы своей жизни, возглавляя журнал «*Вопросы истории*», она очень много сделала для восстановления хотя бы частично исторической правды, и тем снискала ненависть сталинистов и догматиков.

Вмешательство А. М. Панкратовой в мою судьбу затормозило несколько ход событий, однако ненадолго. На меня сыпались один за другим доносы в отдел кадров Президиума Академии наук, который возглавлялся двумя довольно мрачными фигурами — Косиковым и Виноградовым. Косиков давно умер, а Виноградов сделал блестящую административную карьеру, а на ее основе и «научную», став член-корреспондентом Академии наук и директором Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН). В те тяжелые годы Виноградов был одним из главных погромщиков в Академии наук.

В конце 1952 года в своем выступлении на активе Президиума Академии наук Косиков выдвинул против меня ряд обвинений. Дирекция Института и партийное бюро, к которым я обратился за разъяснениями, сообщили мне, что информация, вернее, дезинформация, исходила не от них и что они эти обвинения не поддерживают. Доклад Косикова появился затем в журнале «*Вестник Академии наук СССР*», № 2 за 1953 год.

Последние месяцы 1952 года были, разумеется, тревожными не для меня одного, а для всей интеллигенции. Зловещие слухи об ожидаемых репрессиях ползли по Москве. И действительно, шли аресты, хотя еще и не в массовых масштабах.

Еще более мрачным оказалось начало нового, 1953 года. Было опубликовано сообщение о врачах-отравителях...

Мне пришлось столкнуться с этим делом с совершенно неожиданной стороны.

При выборах в органы власти сотрудники нашего Института вели агитационную работу на улице Маркса и Энгельса, расположенной между улицей Фрунзе и Волхонкой. Обязанность агитаторов заключалась в том, чтобы познакомить избирателей с биографией кандидатов, обеспечить поголовную явку на избирательный участок в день выборов. Агитаторы часто соревновались между собой, чьи избиратели проголосуют раньше. Институтская партийная организация была заинтересована в том, чтобы раньше других рапортовать райкому партии о завершении голосования, хотя формально голосование продолжалось до 12 часов ночи. Райком же, в свою очередь, подгонял местные учреждения, чтобы послать победную реляцию в городской комитет партии, и так повсюду, на всех уровнях старались заслужить одобрение вышестоящего лица или организации. Каждый избиратель имел свой номер в списке, и в комнате, специально отведенной для агитаторов, крестиком помечались проголосовавшие. К тем же, кто «запаздывал», т. е. не приходил на избирательный участок до 11–12 часов дня, шел агитатор и напоминал избирателям, что пора голосовать. Избиратели и сами прекрасно разбирались во всей этой механике и старались «не подводить» своего агитатора, который не мог уйти домой до тех пор, пока все его подопечные не проголосуют.

Так случилось, что среди моих «подопечных» оказалась Лидия Тимашук. Да, да, та самая Лидия Тимашук, которая послала донос о «врачах-отравителях» и прославилась своей бдительностью на всю страну. 10 января 1953 г. было опубликовано сообщение об аресте «врачей-отравителей». А 21 января, в день рождения В. И. Ленина, на первых страницах газет было опубликовано Постановление Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тимашук высшим

орденом советского государства — орденом Ленина. Это было глубоко символично: на первых страницах газет помещена фотография основателя советского государства, а чуть ниже благословление его именем провокатора советского государства!

Я не раз думал о том времени и о том духовном кризисе, в котором оказалось тогда наше общество. И это награждение в день рождения Ленина показывало, что руководители партии, видно, совсем утратили чувство меры, реальности, я уже не говорю о вкусе. До вкуса ли здесь!

Я прекрасно помню огромную многокомнатную квартиру, в которой жила Тимашук. Собственно, в этой квартире жил целый клан, поэтому, наверное, эта квартира мне и запомнилась. Все ее обитатели носили одинаковую фамилию, все, кроме Тимашук. Тимашук жила в одной комнате со своим мужем, и я по долгу агитатора бывал у них. Выглядел ее муж человеком интеллигентным, возможно, он также был врачом (Тимашук была рентгенологом). Был он уже немолод, да и сама Тимашук выглядела далеко не первой молодости. Запомнился мне рассказ ее мужа, как сразу после окончания войны жили они в Великих Луках в землянке. Обстановка в комнате у них была самая скромная. И Тимашук, и ее муж также производили впечатление людей скромных. Как можно было даже на минуту вообразить себе, что эта слегка располневшая темноволосая женщина по указанию органов государственной безопасности деятельно участвовала в одной из самых гнусных провокаций на протяжении всех лет советской власти!

В середине февраля 1953 г. были выборы в Верховный Совет СССР. Тимашук пришла голосовать на избирательный участок, который помещался в здании нашего Института на Волхонке, 14.

К этому времени уже была напечатана в «*Правде*» статья Ольги Чечеткиной «*Почта Лидии Тимашук*», в которой Тимашук была изображена чуть ли не Сусаниным в юбке. Статья носила откровенно антисемитский характер.

Увидев Тимашук, к ней бросилась Полина Наумовна Шарова, женщина простая, чуть истеричная, ткачиха в прошлом, достигшая степени доктора исторических наук. Шарова обнимала Тимашук с какой-то истовостью, благодарила ее, целовала с кликушеским надрывом.

Не только мне, но и другим присутствовавшим при этой сцене было как-то неловко...

То был тяжелый день. Должно быть, на следующий день после выборов ко мне подошел один из сотрудников Института и, оглянувшись по сторонам, тихо спросил меня: «Ты ничего не слышал о Майском?»

— А что такое, — забеспокоился я, — я его несколько дней назад видел.

— Понимаешь, — продолжал товарищ, — говорят, что Майский арестован вчера.

Майский арестован!

Я вышел из Института и бросился к телефонной будке. Набираю номер. Гудки «готово», но трубки никто не берет.

На следующий день в Институте уже официально стало известно об аресте академика И. М. Майского. Немедленно нашлись охотники, их, к моему удивлению, оказалось немало, утверждавшие, что Майский, мол, был английским шпионом. И именно это обвинение было затем официально предъявлено ему.

Я был первым в жизни Ивана Михайловича аспирантом, защитившим кандидатскую диссертацию. Наши дружеские отношения были общеизвестны, да нам и в голову не приходило скрывать их.

Однажды летом 1952 года я шел в Институт вместе с Ниной Александровной Сидоровой, которая неоднократно избиралась секретарем партийной организации Института. Медиевист по специальности, она гордилась тем, что занимается «настоящей историей», а не современностью. Отношения у нас были довольно дружескими. Нина Александровна часто призывала меня бросить занятия современной историей ради медиевистики. Даже не знаю теперь, разумно ли я поступил, не прислушавшись к ее советам. Нина Александровна, обычно довольно сдержанная, со мной бывала порою откровенной и не боялась беседовать на разные «опасные» темы. Человеком она была сложным и противоречивым, и, когда я думаю о ее безвременной и несколько загадочной смерти, то явственно ощущаю, как тяжело ей приходилось порою...

Итак, мы шли в Институт и говорили о разных разностях. Я пошучивал, Нина Александровна отвечала вяло, думая о чем-то своем. Мы уже, было, подошли к Институту, как неожиданно она взглянула на меня и спросила в упор:

— Скажите, Саша, какие у Вас отношения с Дебориным и Майским?

— Самые дружеские.

— Но ведь у вас большая разница в возрасте, что общего может быть между вами?

— Видите ли, старики очень расположены ко мне, и я им многим обязан. Но, главное, они очень много знают того, чего не знаю я. Мне с ними очень интересно. И им как будто не скучно со мной.

Мой ответ показался Сидоровой, по-видимому, легкомысленным. Она взглянула на меня очень серьезно. В глазах ее промелькнуло как бы предостережение, но мгновенно исчезло. А, может быть, мне это только показалось?

— Саша, — начала она медленно, как бы размышляя сама с собой, привлекая тем самым мое внимание к значимости того, что она мне сейчас скажет. — Саша, — повторила она, — некоторым товарищам ваша дружба с Абрамом Моисеевичем и Иваном Михайловичем кажется странной. Я сама к ним отношусь хорошо, особенно к Абраму Моисеевичу, но у него, как и у Майского, есть прошлое и..., — тут она замялась, подыскивая слова, которыми можно было бы ясно сформулировать то, что она хотела, но, может быть, не должна была мне говорить, — одним словом, — неожиданно резко закончила Нина Александровна, — когда будут подчищать корешки, смотрите, чтобы вам тоже не было бы худо. — Разговор оборвался. Мы вошли в Институт.

Это выражение «подчищать корешки» запомнилось мне, наверное, навсегда. Я даже слышу и могу воспроизвести ту интонацию, с которой оно было произнесено. Была в ней какая-то жесткость.

Последующие две недели были для меня днями тревог и волнений. Руководство Института получило указание составить списки подлежащих увольнению. Я узнал об этом от одного приятеля, члена партийного бюро. Мы условились, что я позвоню ему после заседания партбюро, на котором эти списки должны были быть санкционированы.

В этот вечер моя жена Лена (я женился вторично весной 1952 года) и я были в консерватории на концерте Мравинского. В антракте я позвонил своему приятелю. Его ответ был кратким: «Это состоялось».

— Я в списке?

— Да.

Прозвенел звонок. Антракт окончился.

Арест Майского необычайно воодушевил бывших выпускников Академии общественных наук при ЦК КПСС. Ряд сотрудников, прежде лавировавших, открыто

примкнул к этой группировке. Стало известным, что в скором времени Президиум Академии наук заслушает доклад нашей дирекции и что разгромное решение уже подготовлено.

Тем временем собралась наша партийная группа, чтобы, как полагается, «отреагировать» на арест Майского. Несмотря на то, что никто не знал, в чем именно обвиняют Майского, он был объявлен, по уже установившемуся обычаю, «врагом народа», и каждый член нашей партийной организации должен был высказаться по этому поводу, т. е. публично осудить арестованного. Не скрою, сделал это и я. Мне пришлось дважды выступить, потому что мое первое выступление не удовлетворило собрание из-за своей неопределенности. У меня не было иного выхода, если бы только я не хотел бросить вызов государству со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но к такому исходу я тогда не был готов.

До какого абсурда дошло дело на собрании, видно из того, что один из выступавших заявил, что Майский воспользовался поездкой в Ленинград, чтобы заниматься шпионажем в Кронштадте! Другой хвастался тем, что, работая в отделении истории и философии, он препятствовал командировкам Майского куда бы то ни было и лишь посылал его представительствовать на похоронах академиков.

Мели, Емеля, твоя неделя...

Все, что происходило в эти кошмарные дни, указывало, что и моя участь предрешена. Ничто, казалось, уже не могло отвратить логического конца. Но случай — великий помощник. Пока в инстанциях уточнялся вопрос «кого куда» и готовилось постановление Президиума Академии наук, которое должно было придать видимость законности всему

делу, произошло событие, которое круто изменило всю ситуацию.

5 марта 1953 года умер Сталин.

В сутолоке скорби, паники и похорон временно забыли о тех, кого хотели выкинуть из Института и передать на расправу властям, а потом уже было поздно: история пошла по другому витку.

...По давно заведенному обычаю члены партии в столь трагических обстоятельствах приходят в партийное бюро, чтобы продемонстрировать общую скорбь и единство. Пришлось прийти и мне. Мы сидели молча, несколько десятков людей, среди нас рыдающая Нина Александровна Сидорова. Вместе с ней я ходил потом к Колонному залу для последнего прощания.

...Мы спускались от Сретенки к Трубной площади, как вдруг началась страшная давка. Нас смяли, сжали, вытолкнули, куда-то понесли. Кто-то упал у самой решетки бульвара. Я схватил Нину Александровну и перекинул ее по другую сторону решетки на бульвар. Вместе с нами была Зина Белоусова, франковед. Кто-то или, может быть, уже что-то лежало страшным комком на земле.

— Это Соня?! — в ужасе закричала Нина Александровна. Она имела в виду Софью Иосифовну Якубовскую (известный историк советского общества), которая была только что рядом с нами. По счастью, это была не Якубовская. Мы решили и не пытаться больше пройти к Колонному залу и направились по бульвару, свернули на Садовое кольцо и проводили Нину Александровну до ее дома на улице Чкалова рядом с Курским вокзалом.

...Человек, который тридцать лет безраздельно властвовал над телами и душами 200-миллионного народа, уходил в небытие. Его последний путь так же, как и вся его жизнь, был устлан трупами: 500 человек погибло в те дни в давке на улицах Москвы. Пройдет 20 лет, и поэт Смирнов с восторгом

напишет в своей поэме «*Свидетельствую сам*»: «Сотни душ растоптанных сограждан траурный составили венок».

Все течет, иногда даже вспять...

...Не так-то просто застопорить машину, работающую на полную мощность. Давно готовившееся постановление Президиума Академии наук вынырнуло на свет божий спустя всего две недели после смерти вождя. И появилось в том самом виде, в котором готовилось в последние недели его жизни.

Значительную часть постановления от 20 марта 1953 года «О научной деятельности и состоянии кадров Института истории АН СССР» занимало перечисление ошибок, пороков и недостатков в деятельности Института и отдельных сотрудников. Постановление родилось не из пены морской. Оно готовилось тщательно в течение нескольких месяцев. Проект его обсуждался в присутствии многих историков, но тем не менее в окончательном варианте, подписанном президентом Академии наук А. Н. Несмеяновым, содержалось немало лживых утверждений. Наиболее разительным был абзац, посвященный Абраму Моисеевичу Деборину. Там говорилось, что А. М. Деборин привлекался к суду за антисоветскую деятельность. Но Деборин на самом деле никогда не стоял перед судом, хотя и подвергался дискриминации на протяжении долгих лет своей жизни. При обсуждении проекта постановления кто-то указал на неправильность этого утверждения, но оно осталось. В постановлении было названо несколько десятков имен, среди них имена широко известных историков. Всем им были предъявлены обвинения в методологических, теоретических и политических ошибках. В этом обвинялся и я. Постановление Президиума Академии наук требовало пересмотра личного состава Института.

За свои «заслуги» в подготовке разгрома Института выпускники Академии общественных наук были вознаграждены. Б. Н. Крылов, например, не имевший ни одного научного труда, стал заведовать сектором истории США. Добившись своего, он успокоился и дал возможность сотрудникам сектора спокойно работать, да и время быстро менялось, и он понял это. Через несколько лет он нашел для себя более подходящее место, связанное с поездками за границу, и даже одно время был советником по вопросам культуры советского посольства в США. Но в науку он разумно больше не возвращался. Ушли из Института и многие другие выпускники Академии общественных наук, но некоторые остались, особенно в отделе истории советского общества. Но теперь мало кто из них пытался учить нас уму-разуму и призывать поднять историческую науку на «еще большую высоту».

Постановление Президиума Академии наук обсуждалось на общем собрании сотрудников Института 13 апреля 1953 года, т. е. спустя 10 дней после известного коммюнике, что дело врачей-отравителей было провокацией «бывшего руководства органами государственной безопасности». Естественно поэтому, что значение Постановления в смысле непосредственной угрозы увольнения упомянутых в негативном плане сотрудников уменьшилось. Драматическим моментом во время заседания было выступление старика Деборина. Никогда до тех пор и никогда позднее я не слышал такого раскованного и резкого выступления Абрама Моисеевича. Он, казалось, преобразился. Деборин стоял на трибуне взволнованный, нет, скорее гневный, и отметал одно за другим все предъявленные ему в постановлении обвинения. «Все это ложь!» — воскликнул он с возмущением и, сойдя с трибуны, пошатываясь, прошел вдоль стены зала к выходу. Я боялся, что у него лопнет сердце

или случится удар, но, по счастью, ни того ни другого не произошло. Многие упомянутые в постановлении коллеги протестовали в Президиуме Академии, где была создана специальная комиссия по апелляциям. Ведь тоже знамение времени! В сталинские времена, еще месяц-другой назад, никакой комиссии бы не было.

...Подал протест и я. Однако мой протест был оставлен без внимания. Но это уже не имело практического значения, так как обвинения, выдвинутые против меня, были, по моему заявлению на имя заведующего отделом науки ЦК КПСС А. М. Румянцева, расследованы. В письме в ЦК я отклонял все политические обвинения, но вынужден был согласиться с тем, что в работе имеются «существенные методологические недостатки». Все-таки это было получше, чем политические ошибки... Мое обращение к Румянцеву заканчивалось такими словами: «Вот уже полтора года, как вместо того, чтобы всецело заниматься научной работой, которая является для меня делом жизни, я вынужден тратить силы, нервы и время для того, чтобы противостоять многочисленным попыткам оклеветать меня. Терпеть подобное положение далее невозможно».

В середине мая я был приглашен на беседу к инструктору отдела науки А. С. Черняеву, по профессии англоведу, преподавателю исторического факультета МГУ. Он сказал мне, что на прошлом следует поставить крест и что, по мнению руководства, «Некрич должен работать в Институте истории». Так закончился этот эпизод.

3 марта 1953 года мне исполнилось 33 года. По счастью, меня не успели распять, но я и не прочел Нагорной проповеди... Чувствовал я себя, однако, так, будто и на самом деле меня только что сняли с креста.

...Мой отец не скрывал своей радости в связи со смертью Сталина. Старый журналист-международник знал очень

много такого, что было мне, да и не только мне, неизвестно из «деятельности» вождя. В 20-е годы отец работал в Баку и в Тбилиси. По его словам, старые работники не единожды вспоминали про участие Сталина в «эксах». Отец рассказывал также и о том, что на процессе жандармов в Баку вскоре после восстановления Советской власти кто-то из обвиняемых требовал вызвать в суд в качестве свидетеля защиты Иосифа Джугашвили. Какие-то неясные страницы из жизни вождя вдруг начали появляться на свет божий.

Моя реакция была несколько иной. Я настолько привык, что Сталин присутствует везде и всюду, и всегда, что, прочитав сообщение о его болезни, был в первую минуту ошеломлен. Затем появилась недоверчивая мысль: «Должно быть, он уже умер, а коммюнике о болезни опубликовано, чтобы подготовить народ, а может быть, выгадать время, необходимое руководству партии, чтобы справиться со своей растерянностью». Я понимал, что смерть Сталина может коренным образом изменить нашу жизнь. Но кто же придет ему на смену? Об этом думал не я один, эта мысль была у миллионов людей. Мы с отцом были единодушны в том, что не может вторично стоять во главе государства, в котором большинство составляет русское население, грузин, т. е. Берия. Конечно, мы понимали, что для нас, для наших друзей, для многих знакомых и не знакомых нам людей смерть Сталина означает спасение.

Думали о преемнике, о новом вожде. Но мало кому, вероятно, приходило тогда в голову, что возможен и другой путь: без вождей, без диктатуры.

В конце 1952 и в начале 1953 г. зловещие слухи о строительстве на берегу Енисея бараков для предстоящей депортации евреев циркулировали довольно настойчиво. Называли даже имена крупных деятелей культуры и науки еврейского происхождения, которые якобы подписали

обращение к правительству с «просьбой» переселить евреев из промышленных центров в далекие восточные районы, чтобы дать им возможность «приобщиться к полезному физическому труду, к земле». Не буду называть здесь эти имена, так как этого документа я сам не видел. Но твердо знаю, что один, занимавший в то время очень высокое положение философ, Д. Чесноков, сделанный на XIX съезде членом Президиума ЦК, написал брошюру, в которой «объяснял» необходимость депортации евреев. Брошюра была отпечатана, и ожидался лишь сигнал для ее распространения.

В начале 1953 года мне позвонил академик Деборин и попросил срочно к нему зайти. Голос Абрама Моисеевича показался мне необычным, чувствовалась какая-то нервозность. И, действительно, старик был очень взволнован. Он рассказал мне, что только что закончилось закрытое партийное собрание в Президиуме Академии наук (в то время все академики, независимо от их места работы, состояли на партийном учете в Президиуме Академии наук). На этом собрании академики требовали смертного приговора для «врачей-отравителей».

— Я никогда еще не слышал ничего подобного, — сказал Абрам Моисеевич, — но больше всего меня потрясло выступление Исаака Израильевича (т. е. Минца — *А. Н.*). Это было отвратительно. Ведь никто не тянул его за язык. Он выступил по собственной инициативе, — заключил Деборин.

Но, как оказалось, Абрам Моисеевич позвал меня не для того, чтобы рассказать про партийное собрание. Ему позвонили из редакции «*Правды*» и спросили, дает ли он согласие поставить свою подпись под документом, осуждающим врачей-убийц. Что ответил Абрам Моисеевич, осталось для меня неясным, так как он как-то мялся. Я видел, что он мучается, сомневается, и у меня не хватило духу

добиваться от него правды. Но так как Абрам Моисеевич спрашивал моего совета, я сказал ему, чтобы он ни в коем случае не разрешал ставить своей подписи под документом, которого он в глаза не видел. «Когда они снова позвонят вам, — убеждал я Деборина, — попросите прислать текст». Деборин со мной согласился. Кажется, он так и поступил. Но текста ему не прислали. Но вот Сталин умер, и Абрам Моисеевич ожил.

...В Институте был траурный митинг. Очень душевно говорила Анна Михайловна Панкратова. У многих слезы катились из глаз. Казалось, мы действительно понесли невосполнимую утрату. По счастью, было достаточно фальшивых нот в выступлениях, и они действовали отрезвляюще, как бы нейтрализуя повышенную эмоциональность многих выступавших. Нестерпимой фальшью звучали, например, такие слова: «Утром моя дочь проснулась и спросила меня: "Папа, как же мы теперь будем жить без товарища Сталина? Ведь он был лучшим другом всех детей"!» По лицу выступавшего было видно, что ничего подобного его дочь не говорила и что это — заурядный демагогический прием. И то, что этому немолодому уже человеку, отцу троих детей, профессиональному партийному работнику, пришлось прибегнуть к такой дешевке, показывало, что скорбь по усопшему во многих случаях была нарочитой.

Все, с чем Россия
        в старый мир ворвалась,
Так, что, казалось, что ему пропасть,
Все было смято... И одно осталось:
Его
        неограниченная власть.
Ведь он считал,
        что к правде путь тяжелый,

А власть его
сквозь ложь
к ней приведет.
И вот он мертв.
До правды не дошел он,
А ложь кругом
трясиной нас сосет.
Его хоронят громко и поспешно
Соратники,
на гроб кося глаза,
Как будто может он
из тьмы кромешной
Вернуться,
все забрать и наказать.
Холодный траур.
Стиль речей –
высокий.
Он всех давил
и не имел друзей...
Я сам не знаю,
злым иль добрым роком
Так много лет
он был для наших дней.
И лишь народ
к нему не посторонний,
Что вместе с ним
все время трудно жил.
Народ
в нем революцию
хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
В его поступках
лжи
так много было,
А свет знамен
их так скрывал в дыму,

Что сопоставить это все
не в силах –
Все люди слепо верили ему.
Россия-мать!
Неужто бестолково
Ушла, пропала
вся твоя борьба!
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче
вся твоя судьба?
А, может, ты поймешь
сквозь муки ада,
Сквозь все свои
кровавые пути,
Что слепо верить
никому не надо,
И к правде ложь
не может привести.

Мне кажется, что в этом стихотворении Эмки Манделя (Наума Коржавина), наиболее точно отражена та противоречивость чувств и мыслей, которая была характерна в первые дни после смерти Сталина. Я не знаю ни одного поэта, прозаика или историка, который сумел бы с такой точностью, с такой достоверностью схватить этот момент эпохи, пропустить его сквозь собственное восприятие и выразить.

...Я слушал передачу по радио с Красной площади в день похорон. Когда прогремели прощальные орудийные залпы, я поднялся из-за письменного стола. Я стоял и думал о том, что сейчас, в эти минуты, уходит в прошлое старый мир, уходит безвозвратно. Мне так хотелось верить в это.

Глава 5. Годы надежд

Теперь — всмотрись в родные недра! —
Откроешь в них источник щедрый,
Залог второго бытия.
В душевную вчитайся повесть,
Поймешь: взыскательная совесть —
Светило нравственного дня.

Иоганн-Вольфганг Гете

Начало духовного раскрепощения. — Первая книга. — Возвращение И. М. Майского. — Эстонские архивы. — Трофейные документы. — XX съезд КПСС. — Правда, не только правда и не вся правда. Дело Э. Н. Бурджалова. — События в Венгрии и Польше. — В микромире историков. — В. М. Турок. Военные историки. — И не по труду, и не по способностям. — Контроль над мыслями. — Историк и читатель. — Всесоюзное совещание историков

Вся атмосфера советской жизни стремительно изменилась сразу же после смерти Сталина. Огромную роль в этом сыграло известное коммюнике Министерства внутренних дел СССР от 4 апреля 1953 года, в котором объявлялось, что обвинение против «врачей-убийц» было сфабриковано сотрудниками бывшего Министерства государственной безопасности. Это коммюнике пробило брешь во всей структуре власти, и поток чуть было не хлынул...

В июне 1953 года наша страна избавилась от опасного претендента в диктаторы Лаврентия Берия. Не исключено, однако, что он был не только наиболее искушенным в политических интригах соратником Сталина, но и единственным имевшим четкую программу на случай смерти Сталина.

О том, как произошло устранение Берии, теперь известно довольно широко (хотя и неполно) не только из устных

рассказов Хрущева, маршала Жукова, Микояна, но и из ряда письменных свидетельств.

К этому времени уже работали комиссии по реабилитации жертв сталинского террора. Но лишь после XX съезда Коммунистической партии Советского Союза в феврале 1956 года, самого важного съезда в истории КПСС и советского государства, эта реабилитация приняла достаточно широкие масштабы.

С радостью, омраченной скорбью по погибшим, смягченным чувством, что все ужасы, слава Богу, уже позади, узнавали советские граждане все новые и новые подробности о произволе, творившемся десятилетиями в нашей стране. Но вот возникла новая нелегкая проблема — проблема ответственности. И не только властей, но и каждого гражданина нашей страны. У меня не вызывало сомнений, что люди старших поколений знали о всех зверствах, ибо репрессии затронули сотни тысяч семей, и не знать об этом было просто невозможно. Не были известны подробности зверского режима лагерей на Колыме, а знали бы о них, то, наверное, промолчали бы или делали вид, что все это им в диковинку. Точно так же поступали немцы в Германии и братья-славяне поляки, жившие вблизи лагерей уничтожения, таких как Освенцим, Майданек и другие, хотя чад печей крематория доходил до них, оседая грязными хлопьями на снегу. Это одна из причин, по которой я считаю призыв к покаянию, обращенный Александром Исаевичем Солженицыным к нашему народу, совершенно уместным.

Но в 1953 г. нас официально уведомили не только о произволе, процветавшем десятилетиями; мы узнали и нечто не менее важное: наши достижения в области сельского хозяйства оказались «липой». Нам признались, что советская промышленность, выдержавшая испытания войны, нуждается в немедленной модернизации, что наша наука

во многих областях по многим параметрам отстала от мировой науки (которой, как ранее непрестанно твердили нам партийные идеологи, будто вовсе и не существует).

Академик П. Л. Капица, ученик знаменитого английского физика Резерфорда, сам оказавшийся одно время в немилости, но вскоре после смерти Сталина ставший одной из самых влиятельных фигур в советской науке, на одном из правительственных совещаний уподобил нашу промышленность доисторическому чудищу ихтиозавру — животному с маленькой головой и огромным туловищем. Под головой он подразумевал науку...

Наступило время, когда от людей вдруг потребовалось, чтобы они начали думать и думать без подсказки, самостоятельно. Это было совершенно невероятно и никак не укладывалось в рамки жизни, к которой все привыкли. Больше того, призыв думать самостоятельно противоречил духовной организации советского общества. И через некоторое время это противоречие стало совершенно очевидным. «Ризон из зе ферст степ ту тризн», — сказал Уильям Шекспир, т. е. разум — это первый шаг к государственной измене. Лучше всего об этом были осведомлены лагерники: шаг в сторону считается попыткой к побегу, огонь открывается без предупреждения. Собственно, и весь Советский Союз был огромной лагерной зоной. Огонь без предупреждения мог быть открыт против любого гражданина СССР, вдруг всерьез поверившего, что он является свободным человеком, или даже просто так, чтобы знали, чтобы не вольничали. Естественно, что едва лишь советских людей призвали думать самостоятельно, немедленно начались шатания из стороны в сторону, отклонения от ортодоксально-конформистской линии, и эти отклонения пошли по всему широкому фронту жизни

страны, но особенно были заметны в духовных областях — в науке, культуре, искусстве и литературе.

Уже в 1954 г. «*Оттепель*» Ильи Эренбурга и пьеса такого искренне преданного идеям коммунизма турецкого поэта-эмигранта Назыма Хикмета «*А был ли Иван Иванович?*» вызвали восторг и большие ожидания у интеллигенции, но пьеса была запрещена через пять спектаклей. Мне посчастливилось увидеть ее. Это была сатира на раболепствующее перед некой мистической силой — «Иваном Ивановичем», а где-то в высях парил «Иван Васильевич», за которым угадывался грозный облик Сталина — советское общество. Увы, Иван Иванович еще жил. Запрещение спектакля как раз и свидетельствовало об этом.

И все же процесс духовного раскрепощения начался. Был он очень непрост, скорее очень сложен, многообразен и противоречив. Нам начали говорить, не спеша, по частям, выверенными аптекарскими дозами крупицы правды о тяжелом положении, в котором оказались наш народ и государство в годы диктатуры Сталина. В то время он еще числился великим, его произведения продолжали печатать, и на них продолжали ссылаться авторы в своих книгах. Но уже не было прежнего энтузиазма, сдобренного изрядной долей карьеризма. Бездонная трясина страха начала как бы сжиматься, уменьшаться и будто отступать. И все же страх, хотя и отступал, но совсем не исчезал. Он гнездился где-то в глубинах подсознания, готовый снова вползти или выползти.

Как-то я увидел одну японскую игрушку — какое-то механическое, отвратительное, мохнатое, липкое и пищащее чудище, и мне показалось, что это и есть страх. И я с отвращением отбросил от себя это гнусное порождение человеческой фантазии...

Но будущее было, наконец-то, в наших собственных руках, вернее, почти в наших руках, сумеем ли мы правильно распорядиться им? Еще одно усилие, еще одно... Теперь многое зависело от нас самих. От нас зависело наше духовное освобождение, демократизация наших устоев (а их, оказывается, нельзя было демократизировать), будущее — наше собственное, наших детей и грядущих далеких поколений.

Разброд и колебания в верхах, еще вынужденных идти на некоторую либерализацию режима, мог и должен был быть использован для быстрых и необратимых решений. Но для этого нужно было не демократизировать устои, а изменить их! Однако новое руководство было новым весьма относительно — то была прежняя сталинская когорта, обрюзгшая и ошалевшая от вкуса власти. Вместе со своим вождем соратники Сталина, как они себя гордо именовали, несли ответственность за все, что случилось в эти десятилетия. Но отвечать почему-то никому не хотелось. Было проще и удобнее валить все на Сталина да на Берию. Впрочем, оба это вполне заслужили. Важнее было другое — кто же из нового руководства не боится ответственности, кто из них готов на деле порвать с прошлым, пойти на быструю демократизацию жизни государства и общества и не только «сверху», но при поддержке «снизу», благо Конституция СССР открывала для таких перемен достаточные возможности. Вопрос стоял так: сумеем ли мы жить хотя бы в условиях элементарной законности, формально зафиксированной в Конституции. Достаточно ли отменить наиболее дикие, варварские законы вроде, скажем, об уголовной ответственности членов семей «изменников родины», о запрещении браков с иностранцами, отбрасывавших нас к XVI веку? Ведь за исключением короткого периода советской истории, между окончанием гражданской войны и началом

коллективизации, т. е. всего 7–8 лет (!), народ жил в условиях чрезвычайных законов. Но это и было обычное и привычное состояние жизни в Советском Союзе. Даже введение Конституции 1936 года, с одной стороны, более демократичной, но, с другой, лишавшей рабочий класс его политических привилегий, не изменило положения. Вслед за Конституцией на народ посыпались такие репрессии, от которых мы и теперь еще не можем прийти в себя. Многое зависело от того, насколько прочно привязаны мы к конформистскому нашему прошлому, есть ли в нас желание начать жить по-другому. И, наконец, во что мы верим, остались ли у нас хоть какие-нибудь идеалы или все смыто Кровавой Рекой...

Но повседневная жизнь вынуждала людей думать не столько о преобразовании общества, а о жилищах, одежде, о работе. И мне приходилось думать о том же. В 1953–1954 годах я основательно переделал рукопись, расширил и дополнил ее новыми документами. Сама атмосфера для исследовательской работы изменилась к лучшему, и хотя цензура, чуть смягченная новыми указаниями, делала свое дело, а избавиться от самоцензуры, которая прочно окопалась внутри нашего подсознания, мы еще просто не успели, какие-то необратимые изменения в нашем подходе к пониманию сущности нашего общества и государства уже произошли, и мы знали это, хотя по привычке и на всякий случай скрывали это от самих себя.

Весной 1954 года меня пригласил к себе новый заместитель директора Института Л. С. Гапоненко, до того работавший инструктором отдела науки ЦК КПСС, и поинтересовался, когда я сдам рукопись в издательство. Рукопись была к тому времени готова. В июне того же года издательство возобновило свою работу над ней, и в марте 1955 года моя первая крупная работа «*Политика английского империализма*

в Европе» (октябрь 1938 — сентябрь 1939 г.) вышла из печати. Критика как в Советском Союзе, так и за его пределами встретила книгу доброжелательно. По сравнению с тем, что уже было написано о предистории Второй мировой войны, был сделан некоторый шаг вперед. И все же эта первая моя книга отдавала значительную дань ортодоксальному пониманию и толкованию событий. Ученый совет Института истории выдвинул монографию на премию Президиума Академии наук. Премии моя монография не получила: она была присуждена академику М. В. Нечкиной за ее блестящую работу о декабристах. Все же я испытал чувство удовлетворения. Книга была посвящена памяти моего старшего брата Владимира, погибшего на Курской дуге в августе 1943 года.

Примерно в это время со мной произошел довольно курьезный эпизод. Журнал «*Вопросы истории*» опубликовал мою статью об англо-германских колониальных противоречиях в период Второй мировой войны. В статье я упомянул об эскападе начальника генерального штаба египетской армии Эль-Мысри, который во время итальянского наступления в Африке пытался перелететь на итальянскую сторону, но неудачно. Самолет потерпел аварию... Через несколько дней после выхода этого номера журнала в свет мне позвонил необычайно взволнованный сотрудник редакции и попросил немедленно приехать в редакцию. Оказалось, что этот самый генерал Эль-Мысри является послом Египта в Москве!

Некий американский журналист, прочтя мою статью, послал в свою газету сообщение: Москва дезавуирует египетского посла. Далее шло изложение истории Эль-Мысри по моей статье. Поднялся переполох. От меня потребовали документального подтверждения эпизода. Я это сделал. Затем меня расспрашивали, знал ли я, что Эль-

Мысри является послом в Москве, а если не знал, то почему? — должен был знать! и т. д. и т. п. Кончилось дело тем, что спустя некоторое время этот нацистский приспешник все-таки покинул Москву, но его отъезд, по-моему, имел отношение не столько к моей статье, сколько к политическим пертурбациям в Египте. Если бы подобный инцидент произошел в сталинские времена, то быть бы мне в лагере, в лучшем случае выгнали бы с работы. А тут все обошлось легким переполохом. Поистине, времена изменились.

О том, что времена изменились, свидетельствовало и возвращение из заключения академика Майского. Я уже упоминал о том, что Иван Михайлович Майский, бывший советский посол в Лондоне, заместитель министра иностранных дел (до 1946 г.), академик, был арестован в конце февраля 1953 года, за две недели до смерти Сталина.

Майский (Ляховецкий) был хорошо известен на Западе. Он начал профессиональную революционную деятельность в России на рубеже двух столетий, был арестован царскими властями, жил в ссылке, затем в эмиграции в Германии и Англии. После Февральской революции 1917 года возвратился в Россию, примкнул к меньшевикам и был одним из немногих членов этой партии, принявших участие в борьбе против Советской власти, за что и был исключен ЦК партии меньшевиков из ее рядов. Он был членом правительства Комитета Учредительного собрания и занимал пост товарища министра труда. После того как правительство «учредилки» (так презрительно большевики именовали Учредительное собрание) переехало из Самары в Уфу, а в Омске адмирал Колчак объявил себя верховным правителем России, политическая карьера Майского оборвалась. Разочарованный в своих политических исканиях, он поворачивается к большевикам, пишет драматическую

поэму «*Вершины*» и посылает ее наркому просвещения А. В. Луначарскому с письмом, в котором просит его помочь ему стать на верную дорогу. Вскоре при поддержке Емельяна Ярославского, тогда редактора «*Советской Сибири*», Майский был послан на работу в Комиссию по экономическому планированию Сибири. Председателем Сибирского ревкома, в ведении которого находилась Экономическая комиссия, был весьма примечательный человек, И. Н. Смирнов, которого прозвали «сибирским Лениным».

После публичного покаяния сначала в письме в газету «*Правда*», а затем в книге «*Демократическая контрреволюция*» Майский был прощен, принят в ВКП(б) и по предложению своего доброго друга М. М. Литвинова был послан на работу в Народный комиссариат по иностранным делам.

Подобно Литвинову, Майский был сторонником политики коллективной безопасности. После увольнения Литвинова в мае 1939 года с поста наркома иностранных дел Майский все же остался послом в Англии. Во время войны против гитлеровской Германии Майский сыграл немалую роль в укреплении англо-советских отношений, организации лендлиза, борьбе за открытие Второго фронта.

Майский был одним из немногих советских дипломатов старшего поколения, избежавших репрессий 30-х годов. Одно время ему, как всем остальным советским дипломатам за границей, не было разрешено встречаться с официальными лицами той страны, в которой он был аккредитован, без сопровождения советника посольства (в случае Майского это был Кирилл Новиков). Встречи с глазу на глаз с министром иностранных дел другого государства были строжайше запрещены. Позднее, как Майский рассказывал мне, Политбюро сделало исключения для советских послов в Лондоне и Вашингтоне и разрешило им встречаться с английскими и американскими официальными

лицами без сопровождающего. Однако для других советских послов это запрещение оставалось в силе в течение ряда лет.

Многие историки, да и не только историки, высказывали удивление, каким образом могли выжить люди, чье прошлое с ортодоксальной советской точки зрения было весьма сомнительным. Объяснение, по-моему, довольно простое: Сталин всегда держал в резерве на всякий случай нескольких представителей прошлого, он сохранял некоторых бывших идейных врагов, переметнувшихся затем на его сторону. Они были наиболее преданными режиму людьми. Майский был не единственным. А. Я. Вышинский, один из активнейших меньшевиков, поднялся до весьма высокого положения и стал известен во время процессов 30-х годов как прокурор смерти. Высоко взлетел и бывший активный меньшевик публицист Д. Заславский. Были и другие. Майский был достаточно гибок, и его культурная, интеллигентная манера делала его весьма приемлемой фигурой для общения с Западом. К нему относились очень хорошо особенно в Англии. Среди его английских друзей были супруги Вебб, Бернард Шоу, Герберт Уэллс и другие.

Майский, как и Литвинов, был отозван в Москву в 1943 году и до 1946 года был заместителем министра иностранных дел. В 1946 году Майский и Литвинов были уволены из Министерства иностранных дел: Сталин, втянувшись в «холодную войну», не нуждался больше в их услугах. Но Майский был сделан действительным членом Академии наук СССР, что гарантировало ему вполне обеспеченное существование и почетное положение до конца его дней.

Интересно, что М. М. Литвинов, один из наиболее популярных людей в партии, был уволен на пенсию в 1000 рублей в месяц (по нынешнему исчислению — 100 рублей). Его пенсия была в девять раз меньше, чем

пенсия Майского. «Улыбающийся Майский», как его обычно называли в Англии, мог считать себя счастливчиком.

Литвинов умер в 1951 году, и о его смерти было объявлено в небольшой заметке в «*Известиях*», напечатанной в день похорон. Майскому же была суждена долгая жизнь, но ему еще предстояло суровое испытание. В возрасте 69 лет он был арестован и посажен в одиночку, где провел два с половиной года. Позднее он рассказывал мне, что сам просил поместить его отдельно от других заключенных, так как опасался провокаторов и не хотел, чтобы кто-нибудь прерывал течение его мыслей. А ему было над чем поразмыслить...

Даже в тюрьме Майскому повезло. Едва начались допросы, как Сталин умер. Поэтому Майский избежал допросов «с пристрастием», избиений, пыток, голода. Однако для человека, который всю свою жизнь не расставался с пером, было мучительно трудно обходиться без писчей бумаги и чернил: их выдавали только для составления прошений и заявлений.

Но такова уже сила человеческого интеллекта, что даже в тюрьме Майский нашел для себя умственное развлечение: он сочинил в уме повесть о приключениях группы советских людей за границей во время Второй мировой войны. Через три месяца после его освобождения эта повесть, названная «*Близко — далеко*», была написана, затем опубликована двумя изданиями и переведена за рубежом.

...Майский был освобожден из тюрьмы летом 1955 года, и вскоре я увидел его. Он почти не изменился, был по-прежнему любознателен, шутил. Кое-что о своем пребывании в тюрьме он рассказал мне сразу же, кое-что с течением времени и, наконец, незадолго до своей смерти летом 1975 года. Он умер в возрасте 91 года.

Многие удивлялись, да и сейчас удивляются, почему Майский пробыл так долго в тюрьме после смерти Сталина.

Признаюсь, что и я был заинтригован. Во время моих многочисленных бесед с Майским я часто возвращался к этому сюжету, Майский не любил вспоминать чего-либо из случившегося после 1943 года. Особенно он избегал разговоров о своем пребывании в тюрьме. Вероятно, это было выражением инстинкта самосохранения, но, возможно, что были и другие причины.

Из всего того, что мне рассказывал сам Иван Михайлович, и из других источников у меня есть веские причины полагать, что его длительное пребывание в тюрьме после смерти Сталина было результатом несчастливого стечения обстоятельств объективного и личного характера. Майский по своей натуре был человеком добрым. Он очень хорошо относился к своим студентам и аспирантам. За тридцать почти лет нашего близкого знакомства я не знаю случая, чтобы он причинил кому-нибудь вред. Лично ко мне он относился изумительно, и я навсегда сохранил чувство дружеской привязанности к нему.

Майский был склонен к компромиссу. И это качество, очень ценное при определенных условиях, сыграло злую шутку с ним во время пребывания в тюрьме. Неожиданно вторглось в его судьбу дело Лаврентия Берии.

Напомню читателю, что вскоре после смерти Сталина среди нового советского руководства разыгрался очередной акт борьбы за власть. Берия был в первом «триумвирате», ставшем во главе государства после смерти Сталина (Маленков, Молотов и Берия). Берия занимал ключевые позиции в области государственной безопасности.

В июле 1953 года Берия был арестован. Вскоре после его ареста Центральный Комитет партии разослал письмо во все партийные организации Советского Союза, в котором указывалось, что Берия стремился к свержению советского правительства и к установлению своей единоличной

диктатуры. Среди фактов, которые должны были подкрепить это обвинение, фигурировало его намерение освободить из заключения «английского шпиона» Майского и даже сделать его своим министром иностранных дел. В письме ЦК КПСС содержались также извлечения из показаний самого Майского. Майский якобы признал, что, проведя много лет на заграничной работе, он утратил чувство принадлежности к своей родине и уже не знал, была ли Англия или Советский Союз его отечеством. Англия казалась ему ближе, чем Советский Союз. Разумеется, что к шпионажу такое признание никакого отношения не имело...

Те, кто хорошо знали Ивана Михайловича, могли легко себе представить, что его могли принудить сказать нечто в этом роде. Он мог предполагать, что, сделав несколько шагов навстречу следствию, он тем смягчит его, тогда и следователь пойдет ему навстречу, и в конце концов будет достигнут компромисс. Майский, находившийся в одиночном заключении, не знал, что Сталина уже нет в живых, хотя, как он мне говорил, по некоторым неуловимым признакам он чувствовал, что произошло нечто важное. Видимо, Майский сделал свои признания чересчур поспешно и попал в ловушку, которую расставил ему не столько следователь, сколько обстоятельства и его собственная склонность к компромиссу.

Между тем Берия еще до того, как он лично ознакомился с обвинениями, выдвинутыми против Майского, не сомневался в том, что Майский неповинен ни в шпионаже, ни в измене, ни в чем-нибудь другом в этом роде. Согласно некоторым данным, Берия действительно хотел освободить Майского, но не успел, так как был арестован сам. Далее события развивались довольно просто: поскольку Берия хотел освободить Майского, следовательно, Майский симпатизировал Берии. Письмо Центрального Комитета по

делу Берии было составлено в спешке, и, как позднее признавался Хрущев, в то время было очень удобно валить все на Берию.

Майский был не единственным, фигурировавшим в письме в качестве «агента». Были и другие люди, также названные «агентами», но они не только не были потом арестованы, но некоторые из них остались даже членами партии.

Конечно, Берия был преступником, но вряд ли в то время был хоть один из членов Политбюро, чьи руки не были бы по локоть в крови. Это абсолютно ясно вытекает из материалов, опубликованных в советской печати в связи с XXII съездом КПСС в 1961 году.

Так как имя Майского было упомянуто в деле Берии, новое советское руководство считало неудобным освободить его немедленно, тем более что в материалах следствия содержалось его собственное «признание». Возвращение к «нормальной» судебной процедуре странным образом ударило по Майскому. Было решено предать его суду.

Но Майский не был единственным дипломатом, арестованным в то время. Зинченко, Коржа и других бывших сотрудников советского посольства в Лондоне во время войны постигла та же участь. Среди арестованных был также бывший редактор «*Совьет вор ньюс*» С. Н. Ростовский, литератор, известный также под псевдонимами Эрнст Генри и Н. Леонидов. Каждому из арестованных было предъявлено обвинение в шпионаже, а некоторым из них в соответствии с установившейся традицией — в том, что они были одновременно агентами нескольких иностранных разведок.

Арест Майского не должен вызывать удивления, учитывая его прошлое и личную неприязнь Сталина к нему. Однако тот факт, что в то же время были арестованы другие служащие лондонского посольства, указывает на особенность

этого дела и на то, что речь шла о каких-то событиях военных лет. Для такого рода предположения имеются некоторые основания. В мае 1942 года советский министр иностранных дел Молотов прибыл в Лондон для завершения переговоров и подписания англо-советского военного союза. Затем Молотов отправился в США, где он был торжественно принят президентом Рузвельтом, потом Молотов возвратился в Лондон и оттуда улетел в Москву.

Естественно, что каждый шаг Молотова, будь то в Англии или в США, тщательно наблюдался разведывательными и контрразведывательными органами СССР, и их донесения докладывались на самом «верху».

Некто, назовем его условно Ивановым или Х., имевший определенное отношение ко всему этому делу, рассказал мне, что следователь наводил обвиняемых на разговор о поездке Молотова в Англию и США. Постепенно вырисовывается такая картина: Сталин, лично знакомясь с материалами о пребывании Молотова за границей, обратил внимание на то, что Молотов часть своего пути провел в отдельном салон-вагоне. В мозгу Сталина зародилось подозрение, которое так и сохранилось до конца его дней, а именно, что Молотов не случайно ехал в салон-вагоне: это был наиболее удобный способ, чтобы договариваться с американцами за спиной Сталина.

Так доверие Сталина к Молотову пошатнулось, а к концу жизни Сталина давно овладевшая им подозрительность — эта болезнь тиранов — еще больше усилилась. Сталин приказал, чтобы все обстоятельства поездки Молотова были тщательно расследованы: результаты расследования, хотя и были благоприятны для Молотова, подозрений Сталина до конца не рассеяли.

Я спросил Майского относительно этого эпизода и получил ответ, что лично его следователь об этом не

расспрашивал; однако людей, арестованных до Майского, о деталях поездки Молотова допрашивали. Можно предположить, что согласно составленному еще до смерти Сталина сценарию процесс над Майским и сотрудниками лондонского посольства должен был стать прелюдией к более важному судебному процессу над Молотовым.

Майского судили летом 1955 года. Суд был закрытым. Майский был обвинен в измене родине и в антисоветской деятельности. Главным свидетелем обвинения выступал доктор экономических наук, профессор и полковник в отставке Григорий Абрамович Деборин, старший сын знаменитого философа и так называемого «меньшевиствующего идеалиста» Абрама Моисеевича Деборина.

Почему выбор следствия пал на Григория Деборина, Майский объяснял мне следующим образом: он, Майский, был одно время председателем совета в академическом городке Мозжинка, вблизи Звенигорода, в 70 км от Москвы. Г. А. Деборин, который постоянно жил на даче своего отца, был в этом совете заместителем Майского. Оба интересовались политическими проблемами и часто прогуливались вместе, болтая на различные политические темы. На суде Деборин свидетельствовал, что эти разговоры носили со стороны Майского антисоветский характер (для меня, например, ложь Деборина абсолютно очевидна, так как, зная Майского в течение трех десятилетий, я твердо убежден, что на такого рода высказывания он просто был органически не способен).

Майский отклонил услуги адвоката и сам защищал себя. «Во время суда, — рассказывал мне Майский, — я морально уничтожил Деборина и доказал, что он лжет»[6].

---

[6] Много лет спустя я был в Мозжинке и случайно оказался свидетелем неожиданной сцены: Майский подъехал к клубу, вышел из автомобиля и начал подниматься по ступенькам вверх. Неожиданно с другой стороны

Обвинения Майского в шпионаже и в измене отпали. Однако Майский находился под следствием два с половиной года, и с точки зрения власти было нежелательно просто признать его невиновным и освободить. Надо было оправдать его содержание под следствием столь длительное время. Поэтому после того как обвинения в государственной измене и шпионаже отпали, Майскому были предъявлены обвинения в каких-то служебных нарушениях или упущениях, сделанных им в бытность его послом в Лондоне. Он был приговорен к относительно суровому (по западным стандартам) наказанию: шесть лет тюремного заключения. Но вся процедура была продумана заранее. Майский апеллировал в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой о помилование и был прощен. Он был освобожден немедленно после суда. Но самое удивительное случилось позднее: Майский был полностью реабилитирован по гражданской линии и приговор суда был отменен. Случай совершенно уникальный в партийно-советской практике.

Майский говорил мне, что положительную роль в его деле сыграли Ворошилов и Булганин. Кстати, первого Сталин считал также английским шпионом! Однажды я спросил Ивана Михайловича (это было в 1974 году, незадолго до его 90-летия я писал юбилейную статью):

— Скажите мне, Иван Михайлович, несколько раз в Вашей жизни Вы буквально оказывались на краю гибели — во время гражданской войны, вероятно, в 1937 году и затем в 1953. Каким чудом Вам удавалось спастись?

Старик посмотрел на меня своими большими и еще очень живыми темно-карими глазами, слегка улыбнулся и сказал:

появился Деборин. Увидев Майского, он панически заметался, как заяц, попавший под свет автомобильных фар, а потом быстро сбежал по ступенькам вниз. Майский же, набычившись и не меняя направления, продолжал подыматься по лестнице.

«У меня всегда хорошо работала голова». И я подумал: «Проживи Сталин еще месяц или два, и ничто не помогло бы ни Ивану Михайловичу, ни Вячеславу Михайловичу (Молотову), даже хорошо работающая голова».

В течение десятилетий исследователи, особенно в области новейшей истории Запада и советского периода, испытывали «архивный голод». Нас, как правило, в архивы допускали с большими предосторожностями, и немногим счастливчикам удавалось опубликовать в конце концов тот или иной действительно важный документ. В 1955 году правила для пользования архивами были смягчены, железные двери архивов были кое-где приоткрыты. Кто был порасторопнее, успел проникнуть в щель. Одному нашему сотруднику удалось даже попасть в архив Министерства обороны и получить переписку военных атташе за время войны. Как мы все завидовали ему! Открылись архивы ведомств, министерств. Некоторым счастливчикам совершенно случайно удалось ознакомиться с попавшими в эти архивы важными документами компетенции Политбюро. Но это была большая удача, совсем как выигрыш автомобиля в лотерею!

Я ломал себе голову, какие архивы в Советском Союзе я мог бы привлечь для своей работы. О научной командировке за рубеж для работы в тамошних архивах мне в то время даже и мечтать не приходилось.

В 1957 году проф. Губер, глава Национального комитета советских историков, сделал робкую попытку включить меня в состав советской делегации, отправлявшейся в Лондон на конференцию английских и советских историков, но из этого ничего не вышло. Было очень важно поработать с документами Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками, с протоколами допросов, производившихся советскими следователями. Я

отправился к начальнику следственной части Прокуратуры СССР по особо важным делам Л. Р. Шейнину. Помимо конкретной цели своего визита — попытаться получить материалы процесса, — мне было еще и любопытно взглянуть на человека, который вместе с генеральным прокурором СССР Андреем Вышинским готовил пресловутые процессы над Бухариным, Зиновьевым и др. в 30-е годы. Л. Р. Шейнин был также автором популярных детективных историй, некоторые из них с успехом шли в театрах. Позднее Шейнину было поручено «расследование» обстоятельств гибели знаменитого еврейского артиста и председателя Антифашистского еврейского комитета СССР С. М. Михоэлса. Шейнин лишился своего поста и угодил в тюрьму, из которой ему, впрочем, удалось благополучно выбраться. Одна из версий гласит, что Шейнин плохо понял инструкции начальства и повел серьезное расследование, которое было совершенно нежелательным. Поэтому его и упрятали на время в тюрьму... Итак, я посетил Шейнина в его кабинете в Прокуратуре СССР на Пушкинской улице в Москве. Разговор был у нас короткий — разрешения я не получил. По счастью, в это время появились многотомные публикации документов процесса в Англии и США, которыми я и воспользовался для своей работы. Но Шейнин меня запомнил. Спустя полгода, проходя по залу Московского дома кино, я увидел Шейнина и услышал, как кто-то, указав на меня, спросил Шейнина: «Кто это?» Я услышал ответ Шейнина: «Это аспирант Майского, Некрич». Да, профессиональная память следователя была у Шейнина великолепной.

Потерпев неудачу с получением материалов Нюрнбергского процесса, я решил обследовать архивы прибалтийских республик, здраво рассудив, что, несмотря на военные действия, кое-какие материалы могли сохраниться.

Дело было еще в 1951 году, в трудное и опасное время. Мне удалось все же узнать, что архивы Латвии и Литвы вывезены в Министерство иностранных дел СССР, но эстонский архив пока еще находится в столице Эстонии Таллине. Так я впервые попал в этот удивительный город, полюбил его, обрел там замечательных друзей и потом снова и снова возвращался туда.

Мне очень повезло. Несмотря на то, что я работал с переводчиком, я натолкнулся на чрезвычайно любопытные документы о политике Англии в Прибалтике. Фактически я «открыл» этот архив для московских историков. Вслед за мной потянулись в Таллин и в Тарту историки из Москвы и Ленинграда. Вновь к эстонским архивам я вернулся в начале 60-х годов во время работы над своей докторской диссертацией.

С латвийскими и литовскими документами я ознакомился позднее в Архиве внешней политики Министерства иностранных дел в Москве. И все-таки эстонские документы были паллиативом. В моем распоряжении не было основного для моей работы архива — английского. Правда, в те годы английский государственный архив за период Второй мировой войны был закрыт для иностранных ученых, но были, конечно, другие возможности: частные архивы, материалы различных общественных организаций, обществ и пр. и, наконец, беседы с участниками событий. Но тогда можно было только мечтать о поездке в Англию для исследовательской работы. Увы, такая скромная и обыденная мечта для любого исследователя, живущего на Западе, не осуществилась. Но моя «жажда» архивов была частично удовлетворена другим способом.

В 1955 г. — дело было весной — дирекция Института истории поручила мне возглавить бригаду сотрудников

Института для разборки трофейных немецких документов, пролежавших в мешках и ящиках добрых десять лет. Было две главные причины, по которым было решено заняться, наконец, просмотром трофейных документов в широком масштабе. Первая заключалась в том, что на Западе началась систематическая публикация немецких документов правительствами США, Англии и Франции. Вторая — что в предвидении возвращения захваченных во время войны документов в Германскую демократическую республику было целесообразно микрофильмировать все документы, представляющие интерес. Такая работа проводилась во всех ведомствах, куда попали немецкие трофейные документы, и прежде всего в министерствах иностранных дел, внутренних дел, государственной безопасности. Наша бригада работала в т. н. Особом архиве Министерства внутренних дел.

...Перед нами открылись несметные сокровища... для историка, конечно. С жадностью набросились мы на документы. С каким чувством можно сравнить ощущения историка, неожиданно открывающего для себя нужный документ, когда перебираешь дрожащими пальцами страницы, сам не веря еще своей удаче? Скорее всего я сравнил бы это ощущение с чувством приобщения к сокровенным тайнам, скрытым от взоров непосвященных, где-то глубоко в недрах земли.

Среди документов особенное мое внимание привлекли, разумеется, те, которые относились к периоду Второй мировой войны. Некоторые из них были позднее использованы в моих работах, правда, без ссылок — ведь я не имел права ссылаться на них! Какая удача! В моих руках дела британского Экспедиционного корпуса во Франции в 1939–1940 годах. Документы разрозненные, но все же очень интересные. Дневник канадского капитана, попавшего в плен во время рейда на Дьепп в августе 1942 года. Спустя много

лет я расскажу об этом в статье, опубликованной одним из многих исторических журналов.

Черт побери! Так ведь это архив Германа Геринга! Конечно же, материалы имперского уполномоченного по «четырехлетке» (немецкий план развития экономики наподобие советских пятилеток). Данные о советских военнопленных, используемых на предприятиях рейха в 1942 и в 1943 годах, немецкие вложения за пределами Германии накануне Второй мировой войны и многое другое. Архив гестапо. Дела коммунистических подпольных групп в период фашистского правления. Но этим занимаются сотрудники Института марксизма-ленинизма. И вдруг неожиданная мысль: что, если все эти дела состряпаны гестапо и такие же фальшивые, как те, которые стряпались НКВД в нашей собственной стране против «заговорщиков» и «террористов»? Может быть, коммунистической деятельности в Германии в таком масштабе и не было? Ведь и гестапо нужно было «отрабатывать» свое существование... Но я быстро гашу в себе эту крамольную мысль... Наша бригада просмотрела выборочным путем 150 тысяч дел и провела сплошной просмотр 11 тысяч. Никогда в жизни, ни до, ни после, я не видел сразу такого количества документов. По собственной инициативе мы проводим также контрольный просмотр фондов, ранее обследовавшихся представителями других организаций, и выявляем значительное количество ценных исторических документов. Конечно, мы раскапываем все эти материалы потому, что в нашей бригаде работают профессиональные историки высокой квалификации: М. С. Альперович, М. Н. Машкин, И. С. Кремер, Л. В. Поздеева, Л. В. Пономарева, В. М. Турок-Попов, К. Майданник и другие. Многие их книги известны за пределами Советского Союза. В связи с работой в Особом архиве у нас возник ряд серьезных соображений практического характера, которые

были затем обобщены и изложены мною в специальном документе, направленном 24 октября 1955 года руководству Академии наук СССР. Мы хотели обратить внимание на недостойное положение, в котором находятся советские исследователи в области истории новейшего времени по сравнению с их зарубежными коллегами.

В отличие от набившего оскомину хвастовства о советских якобы победах над буржуазной исторической наукой, я писал: «...серьезное отставание советской исторической науки в области новейшей истории от буржуазной исторической науки может быть преодолено в случае, если советские историки получат возможность работать с архивными документами». Настоятельные призывы открыть архивы становились все более частыми и настойчивыми.

Вскоре после XX съезда КПСС я был включен в состав группы отдела науки ЦК КПСС для обследования состояния архивов и подготовки проекта решения ЦК. Однако разногласия в руководстве и ожесточенное сопротивление некоторых ведомств помешали нашей работе, и мы благополучно прекратили свою работу, так и не начав ее. Мы натолкнулись на прочное сопротивление Министерства иностранных дел, которое желало распоряжаться своими архивами по своим собственным правилам. Одна же из задач нашей группы состояла в том, чтобы подготовить единообразные правила для работы во всех архивах страны без исключения.

В это время началась подготовка, а затем издание многотомных публикаций документов по истории внешней политики царской России, серии документов по истории внешней политики СССР и, кроме того, возобновилась систематическая публикация государственных договоров с иностранными государствами. К этой работе были привлечены академические учреждения и их сотрудники.

Однако тот, кто работал с подлинниками этих документов, отлично знает, какую сложную и длительную процедуру проходит каждый документ до его утверждения к опубликованию. Но самое досадное заключается в том, что многие документы, особенно по истории внешней политики СССР, были опубликованы не полностью. Всякие «сомнительные» фразы и целые абзацы были исключены из документов и поставлены отточия. И это, как правило, делалось по инициативе редакторов тома, стоявших во главе исторической науки СССР...

* * *

То было время больших ожиданий. В феврале 1956 года собрался XX съезд КПСС, первый съезд после смерти Сталина. Эпоха реабилитации, или эпоха растерянности, как остроумно назвал это время Александр Зиновьев, была в полном разгаре. Секретный доклад Хрущева был поддержан подавляющим большинством членов партии. Доклад этот так и не был полностью опубликован в Советском Союзе, но вскоре был напечатан за рубежом. На собраниях коммунистов и отдельно беспартийных читали доклад и горячо обсуждали решения съезда.

Нечего и говорить, с каким воодушевлением сотни тысяч людей, а среди них мои друзья и я восприняли то, что произошло на съезде: разоблачение преступлений, творившихся при Сталине, и торжественные заверения нового руководства, что никогда больше в истории нашей страны ничего подобного не повторится. Даже нарочито наивное, но по-человечески понятное признание Хрущева, что члены Политбюро знали обо всем, но боялись выступить против Сталина, опасаясь за свою жизнь, было воспринято как должное. Однако Хрущев, с негодованием описывая преступления Сталина, совершенные по отношению к

видным деятелям партии и государства, умолчал о том, что репрессии обрушились на весь народ, а не только на партийную элиту. Позднее Хрущеву предъявляли много и других претензий, многие из них были абсолютно справедливыми, но даже то, что сказал и сделал новый глава партии, было настолько громадно для народа, который десятилетиями жил в атмосфере произвола, что далеко не все могли принять и переварить даже эту дозированную правду. Мы знаем теперь, какую борьбу пришлось выдержать Хрущеву с другими сталинскими ближними, такими как Молотов, Ворошилов и Каганович, которые кричали Хрущеву, что он не ведает, что творит... «Внизу» же настроение было такое, будто распался некий мистический круг, в котором мы родились, жили и умирали. Исчезло злое волшебство, и сам волшебник был мертв. Теперь не надо было больше говорить полуправду или полуложь. Хотя на самом деле Хрущев сказал полуложь...

Едва сдерживаемая ярость и ненависть сталинистов были лучшим доказательством того, что наша страна еще может вступить на верную историческую дорогу. Тогда казалось: значит, социализм не ошибка, значит, «великий эксперимент» удался, несмотря на все ужасы, кровь и грязь. Партия сказала народу правду, всю правду.

Всю Правду?

С этого все и началось. Правда была сказана суммарно. А люди ожидали, что гордиев узел будет не столько разрублен, сколько распутан. Но, — успокаивали мы себя, — Хрущев в секретном докладе назвал ряд преступлений, которые должны быть расследованы, например, убийство Кирова, а это приведет в свою очередь к раскрытию и осуждению других преступлений и к суду над виновными. Казалось, что все развивается в нужном направлении.

* * *

Институтское партийное собрание, посвященное итогам XX съезда КПСС, заседало в зале Института экономики Академии наук СССР на четвертом этаже здания на Волхонке, 14.

После доклада делегата XX съезда, члена ЦК партии академика А. М. Панкратовой было много выступлений. Подавляющее большинство из них сводилось к воспоминаниям. С профессиональной точки зрения, для среды историков, собравшихся здесь, эти воспоминания не были лишены интереса. Правда, вспоминали, главным образом, о том, как историков сгибали в бараний рог, заставляя их писать не только явную ложь, но и несомненную чушь в угоду «культу личности» — удобное и не совсем понятное определение эпохи диктатуры Сталина. Не обошлось и без персональных атак, например, на историка Василия Мочалова, ярого «культиста», одного из авторов официальной биографии Сталина. Разумеется, кое-кто сводил при этом и свои личные счеты.

Некоторые выступления особенно запомнились мне. Выступал старый большевик Андрей Кучкин, один из авторов «*Истории КПСС*», который во все времена был готов выполнить любое предписание партии. Но даже его проняло настолько, что он назвал Сталина «убийцей своего народа». В устах Кучкина эти слова производили сильное впечатление, гораздо большее, чем передовица какой-нибудь газеты. С ним вступил в спор другой, не столь старый, но все же большевик, заведующий сектором новейшей истории западноевропейских стран Николай Саморуков, который доказывал, что Сталина нельзя называть «убийцей», но можно и должно именовать «тираном». Вот ведь до чего дошло дело — до квалификации степени преступности

вождя народов! Но главное было, разумеется, не в этих спорах, а в той атмосфере подлинного раскрепощения, которая царила на собрании. Не будет преувеличением сказать, что то была атмосфера какой-то полухристианской готовности к покаянию, замешанной на традиционной русской склонности к всепрощению...

Но были, конечно, и выступления, подтекстом которых были призывы к сдержанности, к осторожности. Одни намекали, что Хрущеву, быть может, вообще не следовало бы говорить все, что он рассказал, другие не верили в прочность позиции самого Хрущева. Мой коллега, очень образованный историк, но отчаянный карьерист, сказал задумчиво: «Ну, теперь в течение ближайших десяти лет лучше всего ничего не печатать». И он сделал, как сказал: написал и защитил свою докторскую диссертацию по теме из истории советского общества, но напечатал ее лишь после смещения Хрущева, стал член-корреспондентом Академии наук СССР и заведующим одним из отделов Института истории Академии наук СССР. Да, с житейской точки зрения он оказался дальновидным, но как ограниченна эта точка зрения, как нравственно искалечила она этого историка, да и его ли одного. Ведь частичка так называемого нового человека, созданного за годы советской власти, — «хомо совьетикус» сидела в той или иной степени почти в каждом из нас. А «хомо совьетикус» обладал удивительной способностью перевоплощения и приспособления к любым условиям, а в глубине души был готов сделать все... что от него потребуют, лишь бы можно было сослаться, что он делает это неохотно, принуждают, мол, что поделаешь. Ни один иллюзионист не в состоянии достигнуть таких вершин в искусстве перевоплощения, оставаясь в одной и той же оболочке, каких достиг «хомо совьетикус».

Новая атмосфера благотворно отразилась на научной работе, на подходе к решению кардинальных проблем истории. В периодических профессиональных изданиях появилось много интересных и свежих материалов. Все это происходило в обстановке глухой, а вспышками и открытой борьбы между сторонниками курса Хрущева (выражение это, конечно, условное) и сталинистами.

В журнале «*Вопросы истории*» появилось несколько статей, в которых делались попытки выяснить действительную роль Сталина во время революции, более правдиво осветить некоторые ключевые проблемы советской истории. Это началось еще в 1954 году, когда А. М. Панкратова была назначена главным редактором журнала, а ее заместителем — Э. Н. Бурджалов. Он, собственно, и был «мотором» журнала.

Жизнь Бурджалова была непростой. Он был одним из видных пропагандистов Центрального Комитета партии, руководил лекторской группой ЦК. Затем он был назначен заместителем ответственного редактора газеты «*Культура и жизнь*», органа управления пропаганды и агитации ЦК КПСС, который в ту пору возглавлялся Г. Ф. Александровым. Эта газета была одно время высшей инстанцией по вопросам идеологии. От критической заметки, опубликованной в этой газете, часто зависела не только судьба того или иного произведения, но и судьба человека. Однажды, раздраженные этими непрестанными разносами, мы с одним моим другом решили высмеять безграмотные статьи, которые публиковались в этой газете. Для этой цели мы выбрали две из них: одна была статьей литературоведа-администратора Щербины о пьесе Бориса Лавренева «*За тех, кто в море*», вторая — статья некоего Нестьева, музыковеда как будто бы. Мы написали письмо в «*Правду*», в котором, приведя примеры безграмотности, рекомендовали газете «*Культура и*

жизнь» больше работать с авторами. Особенно запомнилась одна фраза в статье Щербины: «Боровской ведет себя в сфере общественной так же, как и в сфере личной жизни: он обманывает доверие двух женщин» (!). Ответа на письмо мы так и не получили, а Щербина с той поры, по-моему, стал не то академиком, не то член-корреспондентом Академии наук СССР. Мы потом шутили, что Щербину сделали академиком с нашей легкой руки.

В «*Культуре и жизни*» Бурджалов играл важную роль. Но у него, как и у всякого человека, в котором порядочность, должно быть, была заложена с детства, видно заговорила совесть и появилась потребность поделиться своими мыслями, которые, вероятно, он обдумывал до того не один год. Бурджалов выступил со статьей о Февральской революции в России, в которой доказывал, что революция возникла стихийно. Это находилось в вопиющем противоречии с ортодоксальной точкой зрения о значительном вкладе большевистской партии в подготовку революции. Затем Бурджалов на основании документов показал, что после революции Сталин и Каменев (а не один Каменев) выступали за поддержку Временного правительства. Бурджалов утверждал, что и после Апрельской конференции 1917 года Сталин продолжал придерживаться той же линии. Бурджалов привел также данные о выборах в ЦК Российской Коммунистической партии (большевиков), из которых следовало, что Зиновьев был на втором месте по количеству полученных голосов. Но самое главное заключалось в том, что Бурджалов доказал, что за немедленное восстание против Временного правительства фактически был только Ленин, но он в это время скрывался в Разливе. Тем самым разрушалась одна из главных легенд, заключавшаяся в том, что вождями Октябрьской революции 1917 года были Ленин и Сталин. Эта легенда окончательно

утвердилась после физического уничтожения всех других видных руководителей Октябрьского переворота — Зиновьева, Каменева и др. Затем был напечатан и многократно переиздавался в миллионах экземпляров *«Краткий курс»* истории ВКП(б), в котором эта фальсификация утверждалась. В своей статье Бурджалов опирался на мемуары одного из трех находившихся в 1917 году на свободе членов Русского бюро ЦК Шляпникова (остальные двое — Молотов и Залуцкий). Свои мемуары Шляпников написал по свежим следам событий, не позднее, должно быть, 1918—1919 годов.

Но дело заключалось не только в статье. Бурджалов начал очень активно выступать на публичных диспутах против фальсификации истории КПСС. В частности, он выступил на обсуждении книги Лихолата *«Победа Октябрьской революции на Украине»*. Лихолат, историк сталинистского типа, был заведующим сектором истории в ЦК КПСС и оказывал значительное влияние на положение в исторической науке. По поводу книги Лихолата было совещание в Институте марксизма-ленинизма. Его проводила заместитель заведующего архивом сектора Сталина некая Пентковская. На этом совещании все хором хвалили книгу Лихолата, кажется, за исключением лишь известного историка в области национальных отношений С. И. Якубовской. В своей книге Лихолат зачислил многих украинских коммунистов в так называемые уклонисты и тем самым как бы задним числом подтверждал справедливость репрессий, примененных к ним. Он умолчал также и о великодержавном русском шовинизме, разыгравшемся, когда Украина была на некоторое время объявлена частью России. Книга Лихолата вызвала протесты со стороны ряда уцелевших старых большевиков. На XX съезде КПСС Анастас Микоян выступил против этой книги. Лихолату пришлось покинуть свой пост в

ЦК КПСС и отправиться работать в Институт истории Украинской ССР в Киев.

Вскоре после венгерских событий журнал «*Вопросы истории*» собрал читательскую конференцию в Публичной исторической библиотеке в Москве. По инициативе А. Л. Сидорова на этом обсуждении были атакованы со сталинистских позиций руководители журнала — А. М. Панкратова и Э. Н. Бурджалов. Сталинисты пытались взять реванш. К сожалению, им помогали в этом некоторые очень способные историки. Один из них, не хочу называть его имя, позднее, поняв свою ошибку, тяжело заболел от душевного потрясения. К каким грязным методам продолжали прибегать уже после разоблачения преступлений Сталина партийные хамелеоны, как раз и показывает эта кампания. Заведующий сектором истории советского общества Института истории, упоминавшийся уже Кучкин послал в Одессу, где в свое время Панкратова была на партийной работе, одного из своих сотрудников, Ростислава Дадыкина, чтобы найти документы, подтверждающие, будто Панкратова была не большевичкой, а эсеркой. Хотя Дадыкин ничего обнаружить не мог по той простой причине, что Панкратова никогда эсеркой не была, он в награду за свою услугу был сделан заведующим сектором. Впрочем, оплата грязных услуг за государственный счет — одна из неотъемлемых сторон жизни советского общества...

После венгерских событий и в связи с выступлением (под гром аплодисментов) Бурджалова в Публичной исторической библиотеке в Москве Панкратова и Бурджалов были вызваны в отдел науки ЦК, где их упрекали в том, что они, дескать, отступили от принципов партийности. Заседание вел тогдашний заведующий отделом науки Кириллин (ныне председатель Государственного Комитета

Совета Министров СССР по науке и технике). Редколлегии были предъявлены три обвинения: передовая журнала, где будто бы бралась «под защиту» буржуазная историография; статья Бурджалова, в которой он якобы принижает роль партии и клевещет на Центральный Комитет; опубликование статьи о рабочем контроле. Панкратова призналась, что ряда опубликованных в журнале статей она не читала. Бурджалов же ни в чем себя виновным не признал и утверждал, что он выступал с подлинно партийных позиций. Секретариатом ЦК было принято решение: Бурджалова с поста заместителя редактора снять, Панкратовой указать, работника редакции Хесина, ответственного за подготовку статей к печати, уволить с работы (два года после этого Хесин был безработным, в конце концов его взяли на работу в Институт истории).

Панкратова подала затем заявление об освобождении ее от обязанностей ответственного редактора журнала. Бурджалова послали на работу в Институт истории. Но на этом дело не кончилось.

Секретарь партийного бюро Института Соболев, бывший секретарь по пропаганде Ленинградского горкома партии, известный своими сталинистскими взглядами, пригласил Бурджалова в партийное бюро и спросил его, как тот относится к решению секретариата ЦК. Бурджалов откровенно ответил, что считает решение неправильным. И здесь начался заключительный акт драмы. Соболев срочно собирает заседание партийного бюро, рассказывает о разговоре с Бурджаловым, и Бурджалова исключают из партии, что для него было равносильно смертному приговору. Однако на партийном собрании при утверждении решения партийного бюро Якубовская выступила против исключения и предложила ограничиться выговором. Выговор, несмотря на яростные протесты сталинистов, был

утвержден большинством голосов. Вскоре после этого Ученый совет Института под большим нажимом провел внеочередную переаттестацию Бурджалова: для избрания на должность старшего научного сотрудника Бурджалову не хватило двух голосов, и он был уволен.

Спустя много лет книга Э. Бурджалова о Февральской революции была опубликована. Бурджалов стал к этому времени старым, больным человеком...

Анна Михайловна Панкратова через несколько лет умерла. На ее похороны пришли Каганович и Молотов.

Арьергардный бой сталинистов, когда им удалось «скрутить» Бурджалова, не превратился в контрнаступление, даже несмотря на венгерские события. Силенок у сталинистов явно поубавилось. Самое главное заключалось в том, что нельзя было больше разжечь народную истерию и использовать ее в интересах власти. После смерти Сталина это оказалось абсолютно невозможным.

Восстание в Венгрии осенью 1956 года, вызванное ультрасталинистской политикой венгерского «маленького Сталина» Ракоши, действовавшего не только в соответствии с инструкциями, полученными из Москвы, но и в полной гармонии с догматическим мышлением этого функционера Коминтерна, серьезно сыграли на руку сталинистам. Руководство КПСС было и без того весьма встревожено событиями в Польше. И больше всего Хрущев и другие были обескуражены тем, что в октябре 1956 года на улицы Варшавы вышел рабочий класс, продемонстрировавший свою решимость дать отпор советским дивизиям, которые маршал СССР Конев был готов двинуть на мятежную Варшаву. Но то, что Хрущев не рискнул сделать в Польше, он сделал, не без ведома Тито, в Венгрии: восстание было подавлено при помощи танков и пушек. События в Польше и в Венгрии показали, что атмосфера в странах восточной и

юго-восточной Европы накалена до крайности и что народы этих стран вовсе не мечтали о такого рода социализме для себя. И все же психологическое влияние XX съезда было еще столь велико, что в нашем микромирке, в Институте истории, венгерские события свободно обсуждались в кулуарах, откровенно критиковались действия советского правительства и высказывались соображения, за которые в сталинские времена можно было бы поплатиться жизнью. Спустя некоторое время после венгерских событий эти взгляды были объявлены ревизионистскими, а еще позднее — антисоветскими. На наше отношение к движению в Венгрии оказало несомненное воздействие то, что в ходе событий пролилась кровь: венгры убивали работников государственной безопасности, особенно прославившихся зверскими пытками арестованных. Кроме того, равнодушная позиция венгерского крестьянства к городскому движению вызывала настороженность: действительно ли это движение правильно отражает настроение венгров? Это давало нужную аргументацию советской пропаганде, которая утверждала, что события в Венгрии носят контрреволюционный характер, что там убивают коммунистов. Поэтому кровавое вмешательство советских войск встретило одобрение со стороны не только партийной элиты, но и части советской интеллигенции. Другая же часть на всякий случай промолчала. Так было спокойнее и привычнее. И все же венгерские события потрясли не одного лишь меня. Люди склонны часто сосредоточиваться на конкретных вещах: так особенное возмущение вызвала не кровавая расправа, учиненная над венграми в Будапеште, а ловушка, в которую были заманены руководители венгерского восстания. Действуя при посредничестве югославов, советское командование объявило, что в случае прекращения борьбы руководителям повстанцев будет разрешено покинуть страну

на югославском автобусе. Однако когда эти условия были приняты и Пал Малетер и другие руководители явились, они были немедленно арестованы, а позднее судимы и расстреляны. В предательскую ловушку попал и глава венгерского правительства Имре Надь, увезенный в Румынию, а затем расстрелянный.

И все же, и все же советское руководство вынуждено было пойти на крайне неприятный для него шаг — согласиться на создание нового венгерского правительства, объявившего себя «революционным», во главе с людьми, сидевшими при Ракоши в тюрьмах, так сказать «репрессированными», а затем «реабилитированными».

События в Польше и Венгрии были результатом кризиса — политического, экономического и нравственного, — в котором оказалось советское государство и общество в результате диктатуры пролетариата в ее сталинском варианте. Могла ли эта диктатура быть иной?

Но дело заключалось и в другом: между XX съездом КПСС и событиями в Польше и в Венгрии прошло всего семь месяцев, и люди просто не были еще внутренне подготовлены к такого рода развитию событий, и у них не было своего определенного отношения к ним. Добавлю, что «морально-политическое единство советского народа» посеяло глубокое недоверие между людьми, подозрительность, разобщенность. Поэтому и реакция на события в Венгрии была иной.

Кроме того, война в октябре 1956 года на Ближнем Востоке позволила советскому руководству переместить центр внимания нарождающегося общественного мнения в СССР на англо-французскую интервенцию в Египте, и, связав в один узел события в Венгрии и на Ближнем Востоке, представить их как единый заговор империалистов против

СССР, социализма и национально-освободительного движения.

Сталинисты спешили воспользоваться ситуацией, чтобы отыграться. Они вынудили Хрущева не только запятнать свои руки кровью. Увы, он делал это не раз: и во время восстания в Темир-Тау, и в Тбилиси, и в Новочеркасске. Хрущев вынужден был на время отказаться от своего первоначального намерения очищения центрального партийного и государственного аппарата от сталинистов, намерения, усилившегося после того, как в июне 1956 года под напором сталинистских членов Политбюро, опиравшихся на сталинистский же аппарат, центральный и местный, он отступил от решений XX съезда партии, смягчив их известным постановлением Центрального комитета партии о культе личности от 30 июня 1956 года. После же событий в Венгрии и в Польше Хрущев начал в своих публичных выступлениях напоминать о том, что Сталин был марксистом и имел великие заслуги перед русским и международным рабочим движением. «Дай нам бог всем быть такими же марксистами, каким был товарищ Сталин», — заявил Хрущев под аплодисменты сталинистов в 1957 году.

Все эти зигзаги политики Хрущева сказывались сразу же в идеологической области, отражались на общественных науках, заставляя историков и обществоведов вновь лавировать, снова возвращаться к — как преждевременно тогда считали — уже отброшенным навсегда конформистским постулатам и заклинаниям...

Постепенно, однако, даже самая консервативная из всех наук — историческая — сбрасывала путы сталинизма. Огромную роль сыграла полуоткрытая критика «*Краткого курса*» истории КПСС, служившего после репрессий 30-х годов единственным учебником, справочником и

толкователем истории России, Советского Союза, революционного движения и вообще движения куда бы то ни было. Все же историки были теперь освобождены от обязанности пропагандировать теорию «двух вождей» Октябрьской революции 1917 года — Ленина и Сталина. (Последний, как известно, играл в революции не столь уж значительную роль.)

Наиболее передовые по своим взглядам историки были готовы по-новому подойти к таким кардинальным проблемам, как коллективизация сельского хозяйства в СССР, индустриализация, построение социализма в одной стране и др. Большие сдвиги наметились и в подходе к истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС был создан отдел по истории Великой Отечественной войны, который в течение короткого времени издал 6-томную историю войны. В этом издании многие действия Сталина во время войны были подвергнуты критике. И, несмотря на подхалимские попытки возвеличить Хрущева как военного деятеля (почему-то мне всегда казалось, что это делается сознательно для его компрометации), и даже несмотря на явные искажения и умолчания по ряду важных вопросов: советско-германский пакт 1939 года, власовцы, сотрудничество с врагом на оккупированной территории и др., это издание, вероятно, будет представлять интерес для историков и читающей публики еще долгое время.

В институтах шли жаркие дискуссии: научное мнение начало пробивать себе дорогу сквозь заслоны конъюнктурных соображений.

* * *

Поверхность Земли на две трети покрыта водными пространствами. Океаны, моря, озера, реки, речушки и

ручейки образуют Мировой Океан. Капля в море — это все же часть моря. Наш Институт истории можно было бы уподобить ручейку в бесконечном советском пространстве, а сектор новейшей истории Института, в котором я работал, может быть сравним с каплей в море. И как капля моря, отражающая цвет, вкус и запах всего моря, так и наш сектор отражал все, что происходило в широких масштабах всей страны, нашей науки — Истории и нашего института. Я говорю еще и сейчас, в эмиграции «нашего», так как половина моей физически прожитой жизни и большая часть сознательной была тесно связана с Институтом и отдана ему. Я провел в Институте 31 год с девятимесячным перерывом между окончанием аспирантуры в мае 1949 года и зачислением на работу в марте 1950 года. В 1945 году, еще в военной форме, я пришел в аспирантуру Института и покинул его навсегда 24 мая 1976 года.

...Перемены в нашем секторе вновь произошли в 1954 году, когда к нам был назначен новый заведующий — Николай Иванович Саморуков. Отношение к изучению новейшей истории западноевропейских стран он имел самое отдаленное. Работал до того в Институте марксизма-ленинизма, много лет ничего не делал, но избирался, как человек покладистый, секретарем тамошней партийной организации. Все же его бездеятельность начала в конце концов раздражать руководство Института марксизма-ленинизма. И от Саморукова решили избавиться принятым и утвержденным вышестоящими инстанциями самым деликатным способом — сплавить его в Институт истории Академии наук СССР: пусть теперь бездельничает там. В далеком прошлом, в бурные революционные годы служил Николай Саморуков матросом (как будто на «Очакове»). В 1918 году он поддержал какую-то резолюцию анархистов и поэтому, несмотря на его позднейшую абсолютно

безупречную, с точки зрения партийной, работу или неработу в разных партийных учреждениях, в том числе в Коминтерновской Ленинской школе, готовившей кадры для зарубежных коммунистических партий, Саморуков повышений по партийной линии не получал, а использовался все больше на подсобных ролях. Он был кандидатом исторических наук и его диссертация, так и не увидевшая света, была посвящена деятельности русского революционера Лопатина. Одна или, может быть, две опубликованные статьи и был весь вклад Саморукова в науку, именуемую историей. Впрочем, это говорило в его пользу. Он лишь постоянно твердил о своих обширных планах, но, по счастью для науки, так и не осуществил их, тем самым избавив ее от лишней макулатуры. Потому естественно, что люди, подобные Саморукову, находились в постоянной зависимости от начальства, которое могло в любой момент указать им на дверь по причине их действительной профессиональной непригодности.

В советское время во всех без исключения областях экономики, культуры, науки, искусства образовался довольно мощный слой профессионально непригодных людей, которые составляли и составляют одну из важнейших опор советского режима. Их поддерживают, платят им заработную плату, зная наперед, что для дела от них ничего получить нельзя, но зато можно потребовать от них все что угодно ради имитации дела. Эта порода людей принесла много несчастья нашей стране и нашему народу, они были причиной гибели многих своих товарищей. Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными людьми, они вроде и ничего из себя не представляли, но были сильны принадлежностью к партии и взаимоподдержкой бездельников.

Поначалу Николай Иванович показался человеком умеренным, по советским меркам даже порядочным. Но

сразу же стали ясными и его профессиональная некомпетентность, и склонность к ничегонеделанию. Вскоре, однако, выявилось и другое, не очень порадовавшее качество: злопамятность. Сам ли Саморуков дошел до этой мысли или она была ему подсказана «сверху» при его назначении на новую должность, но первым шагом на новом поприще была попытка произвести «чистку» сектора. Саморуков попытался сначала ошельмовать одного из самых талантливых историков и оригинальных людей, которых я когда-либо встречал в жизни, — Владимира Михайловича Турока-Попова.

Многие в Советском Союзе и далеко за его пределами хорошо знают Турока, историка Австро-Венгерской монархии, Австрии, специалиста в области международного рабочего движения и международных отношений. Изначальная фамилия Владимира Михайловича была Попов, а псевдоним «Турок» он взял для своих статей. Так к нему и прилип этот псевдоним, ставший позднее частью его фамилии Турок-Попов. В юношеские годы Турок учился в университете в Вене. Обладая незаурядными лингвистическими способностями, Турок быстро овладел не только основными европейскими языками (немецким он владел в совершенстве), но и довольно трудными языками балканских народов и даже венгерским языком. В Вене он познакомился с будущим руководителем Коммунистического Интернационала Георгием Димитровым и стал работать с ним в балканском секретариате Коминтерна. Это было в суровые 20-е годы, когда балканских коммунистов жестоко преследовали в их странах, сажали в тюрьмы и убивали. Турок не был коммунистом, и, возможно, в 30-е годы во время репрессий в Советском Союзе это спасло ему жизнь. Вернувшись на родину, Турок стал сотрудником Международного аграрного института, коминтерновского учреждения. Одно время он специализировался по

аграрному движению в странах Латинской Америки. Жизнь его была временами сложной. В 1935 году была арестована мать его жены — Софья Михайловна Антонова, работавшая в Коминтерне в секретариате Зиновьева. Ее дочь, жена Турока Кока, получила предписание покинуть Москву, и Турок отправился с ней в сибирский город, где устроился работать статистиком в местном земельном управлении. В шутку его прозвали «женой декабриста».

Турок принадлежал к людям любознательным. Он непрестанно расширял круг своих интересов и в конце концов обладал прямо-таки энциклопедическими познаниями. В отличие от многих других историков его поколения (Турок родился в 1904 году), он мало заботился о своем академическом положении и долгое время оставался младшим научным сотрудником. В таком качестве я и застал его, когда поступил в институт. Не только огромные знания Турока, но его острый ум, быстрая реакция, точная оценка происходящих событий, откровенность в научных суждениях, готовность к общению, любознательность в сочетании с беспощадной часто критикой научных работ привлекли к нему сердца многих людей. У Турока было гигантское количество друзей, полудрузей, знакомых и полузнакомых повсюду, начиная от Москвы и далеко по всей необъятной территории Советского Союза, включая Кавказ, Среднюю Азию, Западную Украину и Молдавию, Сибирь, и один лишь Бог знает, в каких потаенных уголках СССР не было его бывших студентов по Институту востоковедения, где он преподавал многие годы, или бывших аспирантов академических институтов, университетов Москвы, Ленинграда, городов центральной России. Зарубежные историки, приезжавшие в Москву, стремились попасть в дом к Туроку, повидать его, поговорить с ним. Но попасть к нему в дом было не так-то просто. Комнаты в его квартире были наглухо забиты книгами. От пола и к самому потолку

подымались стеллажи. Нечто подобное было и в комнате его жены, Коки Александровны Антоновой, индолога, специалиста по средневековой истории Индии. Пачки газет и журналов валялись прямо на полу. Груды рукописей, которые Турок обещал прочесть, лежали кучками. Авторы их содрогались, когда видели этот хаос. Диван, на котором Турок спал, был как бы островком в океане бумаг. Но больше всего меня удивляло, что в этом очевидном хаосе для Турока был какой-то смысл, ибо когда отчаявшийся аспирант, давший Туроку на прочтение свою рукопись, считал ее безвозвратно утраченной, Турок победоносно извлекал ее из груды бумаг. Турок собирал марки, но никому не показывал своей коллекции. О Туроке можно было бы писать бесконечно, он по справедливости заслуживает этого, но здесь нам придется поставить точку в надежде, что читатель получил уже некоторое представление об этом удивительном человеке.

...Ко времени прихода в сектор новейшей истории Саморукова Турок наконец-то закончил свои «*Очерки по истории Австрии*» (1918–1938), работу, которая теперь считается классической. Саморуков получил указание учинить разгром «*Очерков*» во время их обсуждения в секторе, не допустить книгу до опубликования и тем более до защиты Туроком «*Очерков*» в качестве диссертации доктора исторических наук. Не буду описывать подробностей обсуждений работы Турока. Скажу лишь, что я очень активно выступал в поддержку Турока. В конце концов мы отстояли работу Турока и его право защитить докторскую диссертацию.

Затем начались столкновения с Саморуковым по поводу кандидатских диссертаций наших аспирантов. Стремясь доказать, что до прихода его, Саморукова, в сектор все было очень плохо, Саморуков пошел по старому, испытанному «партийному» пути: одного аспиранта обвинил в

«анархосиндикализме», другого в «антисоветизме», третьего в «буржуазном объективизме». И снова мне пришлось выступать с резкой отповедью Саморукову. Отношения между нами были испорчены навсегда, но все аспиранты благополучно защитили свои диссертации: Чада, Осколков, Колкер.

Десятилетие между 1956 и 1966 годами было плодотворным для многих ученых, работников культуры и искусства. То были годы исканий, освобождения от груза прошлого, годы творческого подъема. Как быстро они миновали! Но тогда все еще было окрашено в розовую дымку ожиданий.

В эти годы я много работал, писал, печатался. После первой монографии был опубликован ряд моих книг научно-популярного жанра, которые вызвали у читателей большой интерес и благожелательное отношение критики в СССР и за рубежом: «*Война, которую назвали "странной"*» и др. В 1958 году по предложению директора Института истории В. М. Хвостова мы вместе написали брошюру «*Как возникла Вторая мировая война*», которая вышла к 20-й годовщине Второй мировой войны значительным тиражом. Хотя эта книга была посвящена возникновению Второй мировой войны, мы по-прежнему уходили от обсуждения одного из главных вопросов — о роли советско-германского пакта 1939 г. в развязывании войны. Этот вопрос был и остается наиболее чувствительным для советской историографии. И никто из советских историков, в том числе и я, не осмеливались тогда еще перейти границы дозволенного и выйти за рамки официальной трактовки пакта как сыгравшего благоприятную роль для подготовки СССР к отражению нападения Германии, последовавшего спустя два года. Но если бы мы даже и попробовали это сделать, то такая рукопись никогда бы не увидела света.

В те годы я писал также для «*Большой Советской энциклопедии*», «*Дипломатического словаря*», для журналов. Но основная моя работа после 1958 г. была в коллективе сектора по изданию 10-томной «*Всемирной истории*». Везде и каждый раз, едва лишь мне представлялась благоприятная возможность, я выступал против догматических воззрений на историю и исторические события, прочно осевших в нашем сознании. Это было очень нелегко делать именно в той области, в которой я работал, — в области истории Второй мировой войны, где позиции сталинистов были особенно прочны и непоколебимы, и где каждый из нас когда-то разделял конформистскую точку зрения. Объяснялось это рядом обстоятельств и прежде всего победой, одержанной Советским Союзом над Германией. Известный афоризм «победителей не судят» оказался не просто афоризмом, не только психологией победителей, но и их философией. Эта философия является основой идеологии, господствующей в СССР. Мало кто хотел подумать о том, какой ценой была куплена победа, а главное, почему столь дорогой ценой. Ведь во времена Сталина (в 1946 году) и довольно долго еще после его смерти цифра невосполнимых потерь Советского Союза была обозначена в 7 млн жизней. Позднее была названа другая цифра — 17 млн. И только в 1965 году, когда вышел в свет последний, 6-й том «*Истории Великой Отечественной войны*», утвердилась названная Хрущевым в 1961 году цифра — 20 млн человек, официальная цифра невосполнимых потерь Советского Союза в 1941–1945 годах. Лично у меня и эти последние данные вызывают сомнения, хотя возможно, они наиболее приближаются к действительным. Таким образом, потери СССР во время Второй мировой войны были в 12 раз больше потерь царской России во время Первой мировой войны. Что скрывалось за этой страшной цифрой человеческих жертв, почему

гитлеровцам удалось продвинуться до самой Москвы, выйти к Сталинграду, на Кавказ, держать Ленинград в осаде в течение 900 дней? Официальные объяснения, основанные на выступлениях Сталина во время войны и изложенные вскоре после окончания войны в любопытнейшем документе — исторической справке «*Фальсификаторы истории*», не дают ясного ответа на эти вопросы. А они волновали многих, и не только историков, а очень далеких от исторической науки граждан Советского Союза. Среди тех, кто искал правдивое объяснение, были профессиональные историки и прежде всего военные. В 1956 году начал выходить «*Военно-исторический журнал*», в котором наметилась и постепенно окрепла тенденция критического рассмотрения истории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Журнал был органом Министерства обороны СССР, но находился в двойном подчинении — по служебной линии был подведомствен Военно-научному управлению Генштаба, а по идеологической — Главному Политическому Управлению Советской армии. Главным редактором журнала был назначен полковник (теперь генерал) Николай Иванович Павленко. С ним мне пришлось позднее тесно сотрудничать в редакционной коллегии X тома «*Всемирной истории*». Н. И. Павленко в качестве главного редактора журнала был несомненно на своем месте: образованный, умный и гибкий, с изрядной долей хитрецы, он очень искусно вел свой корабль по фарватеру, где на каждом шагу внезапно возникали рифы и мели, грозившие кораблекрушением.

Непосредственным начальником Павленко был генерал армии Виктор Владимирович Курасов, в ту пору возглавлявший Военно-научное управление. Редакционный коллектив журнала был неоднородным, в нем «сосуществовали» и прогрессивные историки, и непоколебимые сталинисты, а также те, кто с готовностью следовал

всякому изменению политического курса. Про таких говорили «колебался вместе с линией партии».

Много полезного сделал для изучения истории Второй мировой войны полковник В.М. Кулиш, заведовавший отделом критики и библиографии, полковник Поликарпов, полковник В. И. Дашичев, подготовивший важные публикации материалов германского Генерального штаба. По многим вопросам истории Второй мировой войны (Дюнкерк, миссия Гесса, операция «Морской лев») наши оценки совпадали.

Конечно, курс журнала вполне соответствовал курсу КПСС того времени. Однако воспринимать и толковать этот курс можно было по-разному. Особенно четко выявилось это в связи с решениями XX и XXII съездов партии. Журнал провел огромную работу по реабилитации и восстановлению доброй памяти военных деятелей, павших жертвой сталинского террора в 30-е годы, и невинно оклеветанных и расстрелянных советских военачальников в годы гражданской войны, 1918–1921. Журнал также немало сделал для развенчания легенды о полководческом гении Сталина, легенды, которая и по сей день бытует в сознании старшего поколения, участвовавшего в войне.

Неожиданно для многих оказалось, что целый ряд военных историков уже долгие годы углубленно занимается пересмотром привычных представлений о гражданской войне в СССР. Другие очень серьезно и объективно исследуют проблемы истории Великой Отечественной войны. В этом легко убедиться, просмотрев комплекты «*Военно-исторического журнала*».

Я уже упоминал, что возможности для исследовательской работы в области общественных наук значительно расширились по сравнению с периодом неограниченной диктатуры Сталина. Однако это вовсе не означало, что

кто-нибудь мог позволить себе выйти за рамки, я уже не говорю идеологии марксизма, но даже за рамки требований политической конъюнктуры. (На смену сталинизму явился советский конформизм.) Контроль инструкторов отдела науки ЦК КПСС, немного ослабевший в начале нового периода, вскоре стал принимать обычные формы, а в конце 60-х и начале 70-х гг. стал не менее жестким, чем во времена сталинского режима. В библиотеках снова пошли в ход ножницы: из журналов опять стали вырезать статьи, которые были признаны цензурой антисоветскими. Разница, конечно, была, и значительная: в тюрьмы за ошибки не сажали, с работы гнали меньше, причем подыскивая при этом законное основание, а иногда даже и работу для увольняемых, проработки с приклеиванием ярлыков «буржуазных объективистов», «космополитов» и пр. перестали применяться, но по существу любое отклонение подвергалось и суровой критике, и наказанию в виде шельмования в печати, принуждения к покаянию и пр. В разных науках было, конечно, по-разному. Это зависело не в последнюю очередь от людей, которые стояли во главе тех или иных институтов, связанных с идеологией. К власти в институтах Академии наук рвалось новое поколение, не связанное с догматическими представлениями доктрины, но прекрасно понимавшее, как использовать идеологию для достижения своих частных целей. Не веря ни в Бога, ни в черта, они, эти претенденты в новые руководители, проявляли недюжинные способности по части организации никому не нужных многолетних тысячестраничных коллективных работ, которых и прочесть-то было невозможно, с целью вовлечь в редколлегии этих изданий нескольких влиятельных людей вплоть до министров, секретарей ЦК КПСС. Последние же также были не прочь стать фиктивными ответственными редакторами или

членами редколлегий изданий по истории марксистской мысли, философии, истории международных отношений и внешней политики СССР, Организации Объединенных Наций и пр. и т. д. Участие в такого рода предприятиях становилось престижным делом даже для лиц, занимавших высокое положение секретаря ЦК или заведующего отделом партийного или государственного аппарата, министра, заместителя министра, секретаря обкома и так вплоть до членов редколлегии журналов рангом поменьше, куда попадали и простые инструкторы отделов Центрального Комитета КПСС. Достаточно перелистать списки членов редакционных коллегий журналов, чтобы убедиться в этом. Не одно лишь чувство престижа или тщеславия привлекает этих людей, но даже такая, казалось бы, прозаическая деталь, как деньги, гонорары. Партийная и государственная элита продолжает получать самые высокие гонорары, которые существуют в Советском Союзе. Наивысшие гонорары платит центральный теоретический орган КПСС журнал «*Коммунист*». Заработок членов редколлегий не очень велик: он зависит от финансовой ситуации в каждом журнале, но все же лишние 50–100 рублей в месяц не помешают и инструктору ЦК КПСС.

Появились редакционные комитеты и главные редакции в составе нескольких десятков человек, которые, как правило, лишь значились на титуле изданий, но никакой реальной работы не вели. Желающих стать «свадебными генералами» оказалось предостаточно. Ах, как приятно показать своим друзьям страницу, где твое имя стоит рядом с именем такого-то или такого-то. «Ого, — скажет такой знакомый, — Иван Иванович-то почета какого удостоился!»

Так по марксовой формуле «спрос рождает предложение» желание партийных и государственных деятелей стать предметом общественного интереса рождает

в умах ловких карьеристов всевозможные проекты. Так и двигаются общественные науки в СССР все вперед и вперед к зияющим высотам, но, с другой стороны, это же обеспечивает работу многим десяткам научных сотрудников. При угрозе сокращения штатов института всегда можно козырнуть именем такого-то, который непосредственно (!) принимает участие в трудах института. Но козырять тоже нужно осторожно, умеючи! Для авторов такого рода предприятий открывают закрытые обычно для исследователей важные архивные фонды, в редких случаях допускают даже до работы в «тайное тайных» — Политархиве ЦК КПСС.

Кадры историков в 50-е годы были более неоднородными, чем сейчас, особенно в области изучения новейшей истории (т. е. после революции 1917 года). Значительную прослойку составляли здесь люди, которые попали в науку не по призванию, а по причине каприза судьбы и крушения чиновничьей карьеры: освобождения от работы в партийном и государственном аппарате за неспособностью, за другие проступки, иногда за пьянство. Таких людей их отделы кадров часто «пристраивали» в гуманитарные институты, считая, по-видимому, что историей и философией может заниматься каждый. Кроме того, в академических институтах была относительно высокая заработная плата (доктор наук, старший научный сотрудник — 350–400 рублей в месяц; кандидат наук, старший научный сотрудник — 250–300 рублей; младший научный сотрудник, кандидат наук — 175–200 рублей). В академические гуманитарные институты шел поток отставных офицеров, бывших дипломатических работников, бывших сотрудников государственной безопасности. Как правило, все они немедленно получали звание исполняющих обязанности старших научных работников (на полное звание они не тянули, так как у них не

было или было очень мало опубликованных работ), и это автоматически означало заработную плату в 300 рублей. Им планировалась работа на 3–5 лет и, таким образом, они некоторое время спокойно существовали. Были среди них единицы, которые оставались в науке, увлекались исследовательской работой, становились в конце концов профессиональными историками. Большинство же сначала обеспечивали свою жизнь на несколько лет вперед, а затем либо находили для себя более выгодную работу, где не требовалось исследовательской жилки, вроде преподавания во всевозможных партийных школах, либо уходили в конце концов на административную работу.

Теперь для этих людей в связи с расширением рамок исследовательской работы наступил опасный момент. Разрыв между их скудными возможностями и возможностями профессиональных историков становился все шире, контраст между качеством работы тех и других все разительнее, и примириться с этим им было крайне опасно. Поэтому инстинкт самосохранения, борьба за существование толкали их на путь интриг, склок, подсиживаний. Вот почему все ближайшие после смерти Сталина годы в среде гуманитариев продолжали процветать подозрительность, наушничество, политические обвинения, шантаж, запугивание — все те приемы, которые позволяли этим людям на протяжении десятков лет не только поддерживать свое паразитическое существование за счет общества, но и руководить им.

Была придумана даже «теория» соединения партийного опыта со знанием, т. е. опытный, но бездарный партработник в роли научного сотрудника следит за «чистотой» марксистско-ленинской теории в работе своих товарищей, простых научных сотрудников, но сам никаких исследований практически не ведет. Так и проходил водораздел между

теми, кто делал научную работу, и теми, кто подвергал эти работы «партийной критике». Но вот настало время, когда от всех потребовали выдавать работы, что называется в шахтерском деле «на-гора». Для этой категории научных сотрудников стало теперь единственной возможностью участие в коллективных трудах, которые растягивались на многие годы. Но и здесь неожиданно возникли барьеры. Несмотря на необходимость постоянно угождать своему начальству, руководство институтами все же было заинтересовано в том, чтобы работы, выпускаемые под грифом института, были качественными. Но для этого нужны были способные работники. Поэтому директора институтов, как правило, старались не включать бывших партработников в коллективные работы, такие, например, как «*Всемирная история*», многотомная «*История СССР*», «*История исторической науки в СССР*», предпочитая закрывать глаза на безделье определенной части сотрудников института, так сказать, безделье «по праву», но не рисковать ответственными работами. Открыто выступить против бездельников, попросту уволить их директора институтов боялись, зная, сколь сплоченна и мстительна партийная мафия. Я еще в начале 50-х годов в связи с делом о плагиате Слободянюка ухитрился вызвать смертельную ненависть этих людей, которая сопровождала потом меня долгие годы.

Директор Института истории Академии наук СССР А. Л. Сидоров лишился своего поста за то, что на закрытом партийном собрании Института подверг критике за бездеятельность ряд бывших выпускников Академии общественных наук при ЦК КПСС, в том числе некую Яковлеву. А ведь А. Л. Сидоров и сам был человеком влиятельным, вхожим в Центральный Комитет партии и имевшим перед партией большие заслуги в «великие дни» борьбы с космополитами.

Следующий директор Института истории В. М. Хвостов был человеком более осмотрительным. Он смотрел сквозь пальцы на «заслуженных бездельников», но извлекал из этого своеобразную выгоду, получая от них постоянную информацию о том, что происходит в секторах, кто что сказал да как выступил.

Один из методов самозащиты бездельников заключался в нападении на тех сотрудников, кто помимо своих плановых работ, т. е. выполнения своих обязательств перед Институтом, находил время, чтобы писать статьи и книги, получая за это, естественно, дополнительное вознаграждение от издательств и редакций журналов. Обвиняли таких сотрудников в корыстолюбии, ссылаясь на свой личный пример: мы, дескать, еле-еле плановые работы тянем, а тут ухитряются писать внеплановые работы! На этой почве возникали склоки, столкновения, скандалы; способных научных сотрудников заставляли писать объяснения, каким образом они получили гонорар и т. п.

Мне не раз и не два приходилось выступать против такой постановки вопроса о плановых и внеплановых работах. Я говорил, что этот вопрос искусственно возбуждается людьми, которые еле-еле справляются со своими научными планами и чья научная продукция (плановая или неплановая) ничтожна по количеству и крайне низкая по качеству. Поэтому каждую работу, опубликованную другими, они встречают в штыки, так как рассматривают ее как очередную угрозу своему паразитическому существованию на ниве науки. Поход против внеплановых работ в том виде, в котором он осуществлялся, был походом против костяка научных сотрудников, против тех, кто пришел в науку не случайно, а по призванию и для которых исследовательская работа являлась делом всей их жизни. Оставалось фактом, что именно эти люди, делавшие львиную долю работы в Институте истории, писали также и внеплановые работы.

Борьбу за собственное бездельное существование партийная элита прикрывала демагогическими рассуждениями о коммунистическом отношении к труду. В пример ставились, например, врачи города Ростова-на-Дону, которые в 1960 году обратились с призывом ко всем врачам страны использовать часть своего внеслужебного времени для врачебной работы бесплатно, на «общественных началах». Поначалу этот «почин» был поддержан общественными организациями, а потом постепенно, но довольно скоро, пыл угас. В чем было дело? Врачи в Советском Союзе были и остаются одной из самых низкооплачиваемых категорий. Для того чтобы хоть как-нибудь прокормить свою семью и самих себя, они вынуждены (и сейчас, в 1979 году также) брать дополнительную работу. Когда их заставили ту же дополнительную работу делать бесплатно, то они, естественно, оказывались в отчаянном материальном положении.

Аргументация противников «неплановых» работ фактически сводилась к отрицанию различия между способными и малоспособными работниками. Внеплановая работа и вознаграждение, которое получает за нее научный сотрудник, есть не что иное, как оплата его квалификации, способностей и дополнительного труда. Собственно партийная элита выступала против принципа социализма «от каждого по его способностям, каждому по его труду» за свой собственный принцип «и не по труду, и не по способностям».

Мы отстояли тогда право на внеплановые работы. Однако в последние годы этот аспект приобрел совершенно иной характер — характер ущемления прав, гарантированных Конституцией СССР.

Обеспокоенная тем, что в печати появляются книги и статьи сотрудников Института, отклоняющиеся от

ортодоксальной линии, дирекция нашего Института истории еще во времена Хвостова (очевидно, в 1966 году) издала приказ, обязывающий научных сотрудников не только ставить в известность дирекцию о внеплановых работах, но и получать разрешение на их опубликование. Нетрудно понять, что такое требование было ничем иным, как попыткой установить своеобразный «контроль над мыслями». Некоторые научные сотрудники в своих печатных работах, особенно в статьях в литературных журналах, находили отдушину, чтобы высказывать соображения и идеи, противоречащие официальной конформистской линии, и тем самым вызывали «смущение в умах» читателей и коллег. Таковы были статьи Е. Плимака в «*Новом мире*» относительно якобинской диктатуры. Такова была серия статей Г. Лисичкина об экономике советского сельского хозяйства, не говоря уже о зловредной книжке А. Некрича *«1941, 22 июня»*. Требование к сотрудникам Института просить у дирекции разрешение на опубликование работ, выполненных во внеслужебное время, фактически было очередной попыткой усилить своего рода «крепостную зависимость» научного сотрудника от власти. С точки зрения юридической этот приказ находился в вопиющем противоречии с Конституцией СССР, провозглашающей для граждан СССР основные демократические свободы, и с Трудовым законодательством СССР, которое не дает никаких прав администрации учреждения контролировать нерабочее время сотрудника.

Сотрудники громко роптали... в коридорах, но никто не осмеливался выступить против этого приказа открыто.

Вскоре после смерти Сталина началась удивительная метаморфоза в отношении читателей к произведениям историков. Люди хотели знать правду о недавнем прошлом своей страны, да и о давнем тоже. Они обращались к книгам

историков, но не находили ответа на свои вопросы. Почти на всех без исключения работах историков стояла невытравимая печать сталинского режима. Тысячи и тысячи экземпляров книг в области гуманитарных наук скопились в магазинах, на книжных складах. Никто не хотел их покупать. Тогда издательства начали уничтожать книги, рвать их, отправлять на бумажные фабрики для вторичного производства. Это происходило в то самое время, когда в Советском Союзе ощущался не только книжный «голод», но и бумажный. Не хватало бумаги. Потребность в книгах была такая, что люди простаивали по нескольку дней в очередях, чтобы оформить подписку на собрание сочинений Л. Толстого, Чехова, Бальзака, Шекспира, Хемингуэя. Бумаги явно не хватало, но в то же время Издательства политической литературы продолжали печатать миллионными тиражами литературу по марксистскому просвещению, при чтении которой люди засыпали или впадали в состояние уныния. Читатель жаждал удобочитаемых, ясных книг по истории своей страны. Время от времени созывались совещания с одним-единственным вопросом: как добиться того, чтобы читатель принимал, покупал книги историков. Создавались серии научно-популярной литературы, однако качество работ оставалось по-прежнему низким. Одним из эпизодов этих перипетий, диалога между авторами и читателями была дискуссия в «*Литературной газете*», опубликовавшей 4 февраля 1961 года статью В. М. Турока «*Историк и читатель*». Целью статьи было привлечь внимание общественности к положению в исторической науке и, в частности, к засорению ее паразитирующими элементами, которые ее компрометировали и мешали ее развитию. Однако реализовать такую идею статьи было фактически невозможно. Обычно под проблемными статьями ставились подписи академика или группы академиков, предварительно статья одобрялась

«вышестоящими инстанциями». Анализ же состояния исторической науки, исходящий от частного лица, беспартийного историка, каковым был В. М. Турок, не имел никаких шансов на опубликование. Не оставалось ничего другого, как избрать темой статьи безобидный, казалось, тезис о роли стиля в историческом сочинении, хотя, разумеется, не этот тезис был стержнем статьи.

Основная мысль В. М. Турока была сформулирована таким образом: «Только проверка временем и типографским станком, а не ученым званием и титулом может оповестить о рождении нового ученого... Нужно давать дорогу кадрам, которые способны воспринимать и развивать новые методы и новые мысли в своей работе и заменять тех, кто не в состоянии делать что-либо ценное». В качестве примера случайных людей в науке Турок назвал ряд сотрудников Института истории. Один из них начал свою карьеру в конце 30-х годов в органах партийного контроля, во время войны был сотрудником контрразведки СМЕРШ, а затем попал на дипломатическую работу. Ему пришлось покинуть это поприще из-за пьяного дебоша, учиненного им в бытность генеральным консулом в одной приморской дружественной стране. Тогда он уже далеко не в юном возрасте поступил в аспирантуру Института истории, с трудом защитил кандидатскую диссертацию и все же был оставлен в штате Института. Злые языки говорили, что он был оставлен, так как громогласно заявил как-то, что за заработную плату младшего научного сотрудника готов учинить разгром любой работы любого сотрудника. Дирекции Института откровенность Л. понравилась: такие люди всегда нужны. Так Л. стал сотрудником академического института. Но он был, конечно, не единственным представителем мощной когорты бездельников, сплоченно выступавшей в Институте истории в те годы...

Западному читателю трудно понять реакцию, вызванную опубликованием статьи Турока, ибо в западных странах публикация критических статей связана со свободой печати и является делом обыденным, рутинным. В Советском же Союзе это подобно взрыву бомбы.

И действительно, «бомба», которую взорвал беспартийный историк Турок, вызвала переполох и сумятицу в Институте. Директор Института В. М. Хвостов, воспринимавший любую критику Института как личный выпад против него самого, немедленно отправился к главному редактору «*Литературной газеты*» В. И. Косолапову и заявил ему, что опубликование статьи является ошибкой редакции, так как автор статьи никакой не историк (!), числится на очень скверном счету и известен своими анти (какими-то) взглядами. Главный редактор был несколько смущен этой историей, чуть-чуть напуган и обещал разобраться. Прежде всего он вызвал сотрудника редакции, ответственного за опубликование статьи, и учинил ему разнос. Но на счастье этого сотрудника, а также на счастье Турока, как раз в это время вышел в свет очередной номер журнала «*Новая и новейшая история*», в котором был помещен рекламный анонс на будущий год для сведения подписчиков журнала. В анонсе были названы известные историки, чьи статьи будут напечатаны в будущем году. Среди них были имена В. М. Турока и директора института В. М. Хвостова... По иронии судьбы, а также вследствие порядка букв в русском алфавите, оба имени следовали один за другим: сначала Турок, а затем уже Хвостов. Главный редактор газеты Косолапов успокоился, сотрудники редакции ликовали и добились согласия устроить общественное обсуждение статьи. В. М. Хвостов «двинул» на обсуждение мощный отряд, среди них историки крупного калибра — А. З. Манфред и Л. В. Черепнин. На другой стороне «баррикады», как любят

говорить у меня на родине, оказались, как это ни покажется странным, известные физики с мировым именем В. Л. Гинзбург и В. Гольданский. Физики, оказывается, также нуждались в хороших книгах по истории. Это было знамением времени. На дискуссию пришло много народа. Накал страстей был довольно высоким. Подавляющее большинство выступавших поддержало основную идею Турока. Другие полемизировали с ним. В очень резком агрессивном духе выступали представители «бездельников». В дискуссии даже принял участие муж одной дамы, затронутой в статье. Председательствующий на дискуссии член редколлегии В. Болховитинов (позднее ответственный редактор журнала «*Наука и жизнь*») был в некоторой растерянности.

Но на этом дискуссия не окончилась. Газета начала публиковать отклики на статью, и эта публикация растянулась более чем на полгода. Наиболее интересная статья была написана профессором А. З. Манфредом. Очень хороший стилист, Манфред ловко воспользовался псевдоглавной мыслью Турока о стиле в историческом исследовании, чтобы подчеркнуть, что недостатки советской исторической науки относятся в наибольшей мере к форме литературного изложения. Так бумеранг полетел назад...

Как это обычно случается после дискуссии в Советском Союзе, обиженная сторона засыпала вышестоящие инстанции — Президиум Академии наук СССР и Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза — жалобами. Дело дошло до секретаря ЦК по идеологическим вопросам М. А. Суслова. Но здесь «обиженные» просчитались. Суслов разрешил опубликовать как итог дискуссии письма читателей, но предложил попутно разъяснить в позитивном плане, кто такие лица, затронутые в статье... На том дело и окончилось глубокой

осенью 1961 года в момент подготовки XXII съезда КПСС. Этим, должно быть, и объясняется неожиданно либеральная позиция Суслова. Ведь XXII съезд нанес сильнейший удар по сталинистам, приняв решение о выносе тела Сталина из Мавзолея на Красной площади в Москве.

Директор Института истории академик В. М. Хвостов, самый влиятельный и самый сильный человек в исторической науке за тридцать послевоенных лет, не мог простить Туроку его выступления в «*Литературной газете*». Вскоре Турок был вынужден покинуть Институт истории и перейти на работу в Институт славяноведения и балканистики.

Для своего времени статья Турока и полемика, вызванная ею, имела немаловажное значение, так как неудовлетворительное положение в исторической науке оказалось в фокусе внимания общественности, статья была как бы прелюдией Всесоюзного совещания историков, собравшегося в 1962 году.

Созыв Всесоюзного совещания историков (18–21 декабря 1962 г.) был логическим следствием решений XX и XXII съездов КПСС по ликвидации вредных последствий диктаторского режима так называемого периода культа личности Сталина. Оно было созвано по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР и носило таким образом совершенно официальный характер. Все основные доклады, сделанные на совещании, были, разумеется, предварительно согласованы в высших партийных органах и одобрены ими.

После XXII съезда партии консервативные элементы в партии, сталинисты, хотя и ушли на некоторое время в тень, однако оружия не сложили, исподволь готовясь к реваншу. От участников XXII съезда я знаю совершенно достоверно, что в кулуарах съезда, особенно после принятия решения о выносе останков Сталина из Мавзолея, ряд крупных

работников партийного аппарата почти открыто высказывали осуждение решений съезда и фактически начали сколачивать оппозицию. К сожалению, Н. С. Хрущев не обладал достаточной проницательностью, чтобы разгадать эти маневры, и достаточными силами, чтобы завершить дело, начатое на XX съезде партии. Постепенно он все больше оказывался в состоянии изоляции, ибо те мероприятия в области государственного строительства, которые он предлагал, фактически наталкивались на саботаж тех, кто должен был осуществлять их реализацию на местах. Создается впечатление, что его сознательно подталкивали на непопулярные и несбалансированные действия, подрывая тем самым его авторитет и ту популярность, которую он завоевал среди широких кругов народа в первые годы послесталинской эры. Ко времени созыва Всесоюзного совещания историков внутренняя борьба в партии была в полном разгаре. Вот почему это совещание, которое могло бы открыть для историков новую эру, фактически осталось нереализованным.

И все же, несмотря на то, что об этом совещании очень скоро после его завершения начали стыдливо умалчивать, оно сыграло положительную роль. Впервые за несколько десятилетий на этом совещании было определено положение в исторической и в других общественных науках, сложившееся в годы неограниченной диктатуры Сталина.

Уже тот факт, что основной доклад был сделан секретарем ЦК КПСС, руководителем Международного отдела Б. Н. Пономаревым, а совещание открыл президент Академии наук СССР М. В. Келдыш, поднимало значение этого форума историков СССР.

Совещание было весьма представительным. Огромный актовый зал Московского государственного университета на Ленинских горах едва мог вместить всех участников пленарных заседаний. Решительная антикультовская

направленность совещания была с самого начала подчеркнута М. В. Келдышем. В частности, он заявил: «Смелые революционные меры, осуществленные нашей партией за последние годы во всех областях политической, экономической и культурной жизни страны, исключительно благотворно сказались и на развитии советской исторической науки. В результате преодоления вредных последствий культа личности Сталина наши историки получили все возможности для успешной работы». Эти слова отражали не столько реальное положение дел, сколько возможность создания такого положения.

В обобщающем докладе Пономарева все акценты были расставлены довольно точно. Докладчик проанализировал состояние исторической науки за три десятилетия и, как полагается, прежде всего отметил значительные достижения, особенно в накоплении колоссального фактического материала и создания на этой основе ряда «стройных концепций» по истории формаций, народных движений, общественно-политической мысли и пр. Большое внимание было уделено в докладе Б. Н. Пономарева, а также в ряде других докладов анализу ошибок в исторических оценках в период диктаторского режима. Прежде всего им был точно определен рубеж — 1931 год — письмо Сталина в редакцию «*Пролетарской революции*». Сталин, по мнению Б. Н. Пономарева, подчинил историческую науку своим собственным, зачастую неправильным взглядам на исторический процесс и задачам возвеличивания своей собственной личности. «Если суммировать отрицательные последствия культа личности для исторической науки, — говорилось в докладе, — то их можно свести к трем главным моментам: во-первых, умаление роли Ленина, роли масс и партии в истории нашей страны и искажавшее истину превознесения роли Сталина; во-вторых, распространение

не-марксистского подхода к изучению исторического процесса, субъективизм и произвол в оценке исторических событий и деятелей; это, наконец, в-третьих, обстановка администрирования, недобросовестной критики в научных коллективах, приклеивание различных ярлыков» (стр. 19). Если суммировать вред, нанесенный исторической науке в период сталинской диктатуры, то, согласно докладу Б. Н. Пономарева, Е. М. Жукова, В. М. Хвостова и другим докладам и выступлениям, он сводился к следующему:

Вульгарное противопоставление партийности исторической науки ее объективности, в то время как партийность есть высшая форма объективности.

Догматизм и начетничество.

Произвольная оценка событий, фактов, лиц, связанная с нарушением законности, и репрессирование многих деятелей партии и государства, что автоматически приводило к извращению их роли в борьбе за революцию и социализм.

Упрощенчество в освещении исторического процесса, насильственная подгонка его под угодные Сталину схемы... В результате — вопиющие нарушения исторической правды.

Волюнтаризм в освещении послеоктябрьского периода. Фетишизация директив и выступлений Сталина, выдача декларативного за реально существующее.

Лживая теория «двух вождей» революции.

Лживая версия о решающей якобы роли Сталина во время гражданской войны. Объявление врагами народа видных соратников Ленина. Фальсификация деятельности местных органов партии и власти.

Замалчивание ленинской критики ошибок Сталина.

Замалчивание грубых ошибок Сталина, Молотова и Кагановича при проведении коллективизации.

Вопреки очевидным фактам и несмотря на совершенные Сталиным крупнейшие ошибки накануне и в ходе Великой Отечественной войны, ему приписывалась решающая роль в победе советского народа.

Идеология культа личности подрывала марксистско-ленинский принцип историзма.

Искажение истории прошлого (Иван Грозный) ради возвеличения Сталина. Гальванизация теории «толпы и героев».

Насаждение в научных коллективах шельмования честных ученых, изгнание неугодных, физическое устранение части из них (Лукин, Пионтковский).

Научная ценность источников, архивных материалов была взята под сомнение. Архивные фонды, как правило, стали использоваться лишь для иллюстрации общеизвестных положений. Терялось уважение к факту, без чего история как наука просто немыслима. Новые кадры историков партии и историков советского общества мало обучались приемам научного пользования источниками. Источниковедение не разрабатывалось.

Достижения советской исторической науки конца 20-х и начала 30-х годов по истории партии и советского общества были перечеркнуты. Многие полезные работы (Ярославского, Невского, Бубнова, Попова и др.) были изъяты.

Широко распространились грубо апологетические «труды» (фальсификации) Берии.

Историкам прививалось убеждение, будто все принципиальные оценки исторического процесса либо уже даны, либо могут быть даны только Сталиным. Простым же смертным не следовало претендовать на «высокую» теорию. В результате — цитатничество и пр.

«Культ личности, — заявил Б. Н. Пономарев, — подобно кандалам, висел на ногах советской исторической науки, но она все же продолжала идти вперед».

Легко себе представить походку человека, идущего вперед с колодками на ногах! Академик Е. М. Жуков, повторив сравнение культа Сталина с кандалами на ногах, пошел еще дальше Б. Н. Пономарева, заявив, что критика и отказ от ошибочных положений периода культа личности еще не означает «полной ликвидации всех вредных последствий культа личности в исторической науке». Жуков обратил внимание на психологическую травму, нанесенную кадрам систематическим внушением, будто теоретически полноценные труды может писать лишь один Сталин, и все свежие идеи и глубокие мысли могут исходить только от него. Все остальные могут лишь «в лучшем случае комментировать Сталина, не умничая и не мудрствуя лукаво». Вывод, который делал Жуков, был неопровержим: «...на протяжении почти 20 лет — период формирования сознания целого поколения наших людей — самостоятельная творческая мысль в области теории у «простых смертных» бралась под сомнение. Людей отучали самостоятельно мыслить, по существу назойливо внедрялась идея их теоретической неполноценности.

Именно отсюда проистекала пагубная для науки «робость мысли».

Все правильно сказал академик Жуков, за исключением пустяка: это продолжалось не «почти 20 лет», а почти 40 лет. Но это не было лишь простой арифметической ошибкой, а сознательной передержкой. Получалось так: за какую часть исторического знания ни возьмись, повсюду фальсификация, ложь, в лучшем случае передержки или натяжки.

Начальник Главного политического управления Советской армии генерал армии А. А. Епишев решительно обвинял Сталина в истреблении военных кадров и в грубых ошибках накануне и в первый период Великой Отечественной войны, которые, как говорил Епишев, «дорого

обошлись советскому народу». Пройдет совсем немного времени и тот же Епишев подаст официальное заявление, в котором попросит считать это его выступление, сделанное в «период перекоса», как бы не существовавшим.

Доклады и выступления высокопоставленных ораторов были поддержаны другими историками, среди них были академик И. И. Минц, директор Института истории АН Украинской ССР Касименко, академик М. В. Нечкина. В частности, она сказала, напоминая об атмосфере жизни в недавнем прошлом: «Товарищ не мог говорить с товарищем, нельзя было поделиться своими мыслями, сомнениями даже с близкими друзьями и не потому, что ваш друг станет завтра предателем, а щадя этим самым друга, боясь поставить его в трудное положение при обсуждении какого-нибудь спорного вопроса». М. В. Нечкина нашла соответствующую формулу, чтобы напомнить присутствующим, что жизнь при Сталине была наполнена страхом, предательством, отравлена взаимным недоверием и отчужденностью, разобщенностью людей.

Хотя большинство выступавших так или иначе, искренно или скрепя сердце поддерживали стремления ликвидировать последствия «культа личности», но в ряде выступлений проскальзывало и недовольство курсом XX–XXII съездов. Директор Института археологии акад. Б. А. Рыбаков, известный своими ультраконсервативными взглядами, убежденный антисемит и российский шовинист, начал свою речь с весьма двусмысленной фразы, в которой прозвучало косвенное осуждение антисталинского курса. «Последнее время, — заявил Б. А. Рыбаков, — нам иногда начинало казаться, что волны житейского моря слишком сильно треплют наш корабль, обрывая снасти и угрожая самому ходу нашей науки». Противоречивость того, что происходило на Всесоюзном совещании историков, была наглядно

продемонстрирована тем, что все ключевые доклады были сделаны историками, которые десятилетиями прославляли Сталина, занимались откровенной фальсификацией истории, некоторые из них, к тому же, были в первых рядах в «великие дни» борьбы с космополитами.

Не вызывало особого сомнения, что эти же люди могут повернуть в любую сторону и будут утверждать завтра прямо противоположное тому, что они говорят на совещании сегодня.

Симптомы начавшегося отлива в сторону сталинизма, хотя на поверхности продолжало казаться, что борьба с культом личности еще только разгорается, проявились и на этом совещании. П. Н. Поспелов, отвечая на вопрос о Бурджалове, подтвердил решение ЦК от 9 марта 1957 года, в котором осуждалась статья Бурджалова, опубликованная в журнале «*Вопросы истории*». Это Постановление ЦК было принято в момент очередного качания в сторону сталинизма, последовавшего вслед за венгерскими событиями. Сохранение этого решения в силе показывало, что ЦК не склонен пересматривать ни одного из своих решений, принятых после 1956 г., хотя некоторые из них шли в разрез с антикультовскими решениями XX и XXII съездов партии.

Едва совещание историков закончилось, как началась упорная борьба вокруг того, издавать или не издавать материалы совещания, а если издавать, то полностью или в сокращенном, отредактированном варианте. В конце концов было решено всего, что там говорилось, не печатать, а опубликовать сокращенную версию стенограммы, из которой были выброшены многочисленные примеры фальсификации истории, процветавшей в годы неограниченного правления Сталина. Любопытно отметить, что так как началом непосредственного вмешательства Сталина в дела общественных наук было решено считать письмо Сталина в журнал «*Пролетарская революция*» (1931),

оказывалось, что идеологическая подготовка репрессий началась, уже даже по официальному признанию, за три года до убийства Кирова, за четыре года до ареста Зиновьева и Каменева и за шесть лет до показательных процессов в Москве.

На самом же деле фальсификация истории в СССР началась с того самого момента, когда в советской исторической науке утвердилась одна-единственная точка зрения на исторический процесс. Там, где существует одна точка зрения, признаваемая единственно правильной, там фальсификация неизбежна, она сопровождает исторические исследования независимо от того, каким эпохам или каким событиям эти исследования посвящены.

Только спустя год, в декабре 1963 года, после колебаний и борьбы материалы Всесоюзного совещания историков были сданы в производство, а сама книга увидела свет в значительной степени благодаря настойчивости редакторов издательства «Наука» В. И. Зуева и А. И. Юхта. Эта книга, опубликованная тиражом в 5 тысяч экземпляров (довольно незначительным по масштабам советских изданий и по ее значимости), была мгновенно раскуплена и уже давным-давно стала библиографической редкостью.

* * *

В эти годы возвратились в Институт истории его старейшие сотрудники — франковед и историк социалистической мысли Виктор Моисеевич Далин и историк СССР Сергей Митрофанович Дубровский. Они были арестованы в годы террора 30-х годов, провели в лагерях около 20 лет, чудом уцелели. Но сколько историков не вернулось!

Но были и печальные события.

8 марта 1963 года умер Абрам Моисеевич Деборин. В последние годы жизни положение его несколько улучшилось. Но об этом следует рассказать более подробно.

В 1956 году после XX съезда КПСС Деборин подал заявление в ЦК КПСС с просьбой пересмотреть постановление ЦК от 1931 года о так называемом «меньшевиствующем идеализме». Политбюро поручило разобраться в этом деле А. И. Микояну.

Я прекрасно помню все эти дни волнений перед тем, как Абрам Моисеевич должен был поехать на встречу с Микояном в Кремль. Он очень волновался — ведь речь шла о всей его жизни ученого. Деборин жил в доме Академии наук по Ленинскому проспекту, д. 13. Ехать в Кремль нужно было минуя Октябрьскую площадь и затем по улице Димитрова. Когда машина проезжала площадь, она внезапно испортилась. До назначенного времени оставалось буквально 7–8 минут, но тут на помощь пришла милиция, и Абрам Моисеевич попал на свидание к Микояну вовремя.

Вернулся он чрезвычайно возбужденный, но довольный. Он рассказал, что Микоян принял его по-дружески и все расспрашивал, что такое «меньшевиствующий идеализм». «Я, — смеялся Деборин, — сказал Анастасу Ивановичу, что вот уже 25 лет стараюсь понять, что это такое, да так и не понял». Микоян качал головой, смеялся и обещал, что поддержит просьбу Деборина о снятии с него этого нелепого обвинения. Деборин был окрылен. Но дело повернулось далеко не так, как того ожидали. Когда Микоян предложил отменить постановление ЦК о «меньшевиствующем идеализме», резко против выступил в то время еще влиятельный партийный идеолог, занимавший посты секретаря ЦК КПСС и одновременно директора Института марксизма-ленинизма П. Н. Поспелов. На заседании секретариата ЦК Поспелов воспротивился политической

реабилитации Деборина, отмене решения ЦК от 1931 года, утверждая, что это повело бы к размыванию идеологического фундамента партии. При этом Поспелов опирался на довольно влиятельную когорту сталинских обществоведов, поднявшихся на разгроме Деборина и его «школки». Среди них были Павел Юдин и Марк Митин, оба академики, оба члены ЦК КПСС, пользовавшиеся репутацией партийных интеллектуалов. К тому же оба они в разное время имели касательство к изданию главного теоретического органа международного коммунистического движения, издаваемого сначала в Белграде, а затем в Праге *(«Проблемы мира и социализма»)*. Юдин был послом СССР в Белграде и в Пекине. После своего возвращения из Пекина Юдин устроил у себя на даче в академическом городке Мозжинка (70 км от Москвы) своеобразный китайский музей, где на видном месте был выставлен портрет Мао... Юдин умер несколько лет тому назад. Марк Митин продолжает процветать и по сей день, несмотря на тяжелые обвинения, выдвинутые против него семьями расстрелянных философов. Вдова академика Луппола обвинила его, что он не только способствовал уничтожению ее мужа, но после ареста Луппола поставил свою подпись под написанной для «*Большой Советской Энциклопедии*» статьей Луппола, добавив в текст статьи одну лишь фразу, а именно что Луппол является разоблаченным врагом народа!

...Все же кое-что для Деборина было сделано. В частности, был отменен запрет на издание произведений Деборина.

Я помогал Абраму Моисеевичу составить план печатания его собрания сочинений в нескольких томах. В конце концов напечатано было лишь всего три книги. В 1961 году был напечатан сборник его статей разных периодов «*Философия и политика*». В 1958 году вышел первый том его «*Социально-политических учений нового и новейшего времени*», а уже после

его смерти, в 1967 году, был опубликован второй его том. Мне пришлось быть во главе комиссии по посмертному изданию трудов Деборина и принимать активное участие в подготовке к печати второго тома. Когда запрет с печатания произведений Деборина был, наконец, снят, ему было уже очень много лет, и работать стало труднее. К тому же шло время, и появились новые веяния в мировой философской науке, за которыми ему было угнаться нелегко. Жизнь его как философа, ученого была безжалостно разрушена в годы его интеллектуального расцвета. Как человек Деборин был мягким и отзывчивым, и это привлекало к нему сердца людей. Последние годы жизни он интересовался движением ритмов и, как он мне однажды доверительно сказал, находился на пороге важнейшего физико-философского открытия: всеобщего закона ритмов.

Деборин умер 8 марта 1963 года. За день до смерти я был у него. Он лежал на спине, полузакрыв усталые глаза. Когда я вошел, нечто вроде приветливой улыбки пробежало по его губам и замерло. Я спросил его о самочувствии, он кивнул головой, мол, ничего, сносно. Он закрыл глаза и, казалось, забылся в полусне...

...Траурная церемония происходила в конференц-зале здания Академии наук на Волхонке, 14. Мы были друзьями и я был привязан к старику. Смерть его очень опечалила меня. Я с тоской думал о том, как придут на похороны те, кто в течение десятилетий травили его, портили ему жизнь, наглухо закрывая перед ним двери науки, которой он отдал все свои помыслы, — философии. Да, они действительно появились. Философы-убийцы и мародеры, академики Юдин, Митин и другие. Они все пришли на похороны своего учителя, которого они не только предали, но и поносили в течение десятилетий. И я понял внезапно, что я должен выступить на этих похоронах и бросить в лицо этим людям, что их преступления не забыты. Одна дама из отделения

исторических наук пыталась предостеречь меня: «Александр Моисеевич, не делайте этого. Вы наживаете очень опасных врагов. Они никогда не простят Вам Вашего выступления». Начался небольшой переполох. Ко мне подошел заместитель академика-секретаря отделения исторических наук Виктор Иванович Шунков и сказал дружелюбно: «Давайте выступим вместе, но не здесь, а на Новодевичьем кладбище». Я отказался, несмотря на все уговоры. Не дать мне слова было бы по обстоятельствам того времени невозможно. Дело происходило в начале 1963 года, когда антисталинские настроения в среде ученых были еще очень сильны.

...Мои слова падали в звонкую тишину. Да, бывает такая тишина, когда кажется, что звенит воздух. Я говорил афористическим языком об Учителе, который любил своих учеников и никогда их не оставлял. Говорил я и о том, как некоторые из его учеников бросили его. И еще я говорил о труде и о муке ученого, которого отстранили от его любимого дела.

Окончив речь, я бросил взгляд на Юдина. Он стоял побагровевший и, указывая на меня, спрашивал близстоящего: «Кто это?». Мое выступление произвело на присутствующих, видимо, сильное впечатление. Многие подходили ко мне, благодарили или просто крепко пожимали руку...

Абрама Моисеевича Деборина похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Через четыре года после его смерти, благодаря нашим общим усилиям, вышел из печати второй том его сочинения «*Социально-политические учения нового и новейшего времени*». Эта книга стоит у меня на полке, в моем кабинете в Бельмонте, где я сейчас живу. И на книге надпись вдовы Деборина — Ирины: «На добрую и, надеюсь, долгую память об авторе».

* * *

Мне приходилось не раз в своей жизни читать рукописи, не предназначенные к опубликованию. Это были главным образом стихи, эпиграммы, перепечатки статей (реже книг), изданных за рубежом. Было это задолго до появления самиздата, еще в 40-х годах. Как ни странно, традиция «подметных писем» и русской вольной прессы была продолжена никем иным, как Телеграфным Агентством Советского Союза (ТАСС), который выпускал специальные бюллетени информации, предназначенные лишь для узкого круга официальных читателей. Эти бюллетени содержали переводы статей и книг явно антисоветского содержания. С созданием издательства «Прогресс» появились целые серии переводных книг и статей. Они также предназначались для узкого круга лиц. Хотя на каждом экземпляре стоял соответствующий номер, но читали эти книги не только те, кому они были непосредственно посланы. Неведомыми путями с ними знакомились люди, далекие от советского конформизма. Правда, их было ничтожно мало, но полученная таким образом информация все же получала некоторое распространение в пересказах, в виде выписок из книг и т. п. Люди, побывавшие за границей, особенно те, кто ездил с дипломатическим паспортом, иногда привозили книги, за которые могли бы получить многолетнее тюремное заключение, а не только разрушить свою карьеру. После войны много книг было привезено из побежденной Германии. В частных руках оказалась не только чисто нацистская литература, вроде *«Майн Кампф», «Миф XX-го столетия»* и пр., но изрядное количество книг, написанных русскими эмигрантами и изданных в Берлине в 20-е годы. Издания, которые были в Советском Союзе категорически запрещены к ввозу, книги, иллюстративные издания

привозились после войны из Польши, Чехословакии и, несмотря на все препоны, распространялись в Советском Союзе. Так появились книги Орвелла «*1984*» и «*Скотский хутор»*, которые вскоре были переведены любителями на русский язык и начали ходить в списках. Позднее, благодаря деятельности зарубежных религиозных организаций, в Советский Союз начали завозится «*Библия*» и «*Евангелие*», также иностранные туристы, студенты, коммерсанты, которые не боялись привозить из-за рубежа книги, в которых рассказывалась правда об обществе и государстве, в котором мы жили.

Очень скоро после смерти Сталина и начала «эпохи позднего реабилитанса», как в шутку назвали этот период истории Советского Союза, появились рукописи тех, кто побывал на Колыме и в сталинских застенках. Наверное, я был одним из первых, в чьи руки попали «*Колымские рассказы*» В. Шаламова и «*Крутой маршрут*» Евгении Семеновны Гинзбург. Эти повести производили ошеломляющее впечатление. Ужас, негодование и стыд — так можно коротко определить чувства, поднимавшиеся в душе во время чтения этих рукописей. Вскоре я познакомился с Е. С. Гинзбург и был одним из первых слушателей глав из второй части «*Крутого маршрута*». Читала она сама. У нее была потрясающая память и удивительная манера чтения, простая и захватывающая. Я знаю людей, для которых знакомство с «*Крутым маршрутом*» было полным переворотом в их мироощущении, разрывом с прошлой жизнью и началом новой, полной борьбы и тревог. Для других таким поворотным пунктом была встреча с произведениями А. И. Солженицына.

В 1962 году появился «*Один день Ивана Денисовича*», и задолго до того как я лично познакомился с автором этой книги, я был знаком с легендами об этом человеке.

«Новый мир» открыл А. И. Солженицыну дорогу к советскому читателю, и то, что редактор *«Нового мира»* А. Т. Твардовский сделал не только для самого Солженицына, но для всей думающей и читающей России, можно считать подлинно делом исторического значения в том мире имитаций и подделок, в котором мы жили.

Все, кого я сейчас назвал, были людьми абсолютно разными, но их всех можно объединить по принципу их отношения к нравственному началу. В историческом плане они выполнили ту миссию, которую оказалась неспособной выполнить КПСС после XX съезда, — пойти по дороге восстановления исторической правды.

К ним я бы причислил также бесстрашного генерала Петра Григорьевича Григоренко, который в 1962 году выступил с открытым предостережением на районной партийной конференции в Москве против опасности возвращения к сталинистской диктатуре.

Да, то были годы надежд, надежд на нравственное возрождение нашего общества. Как быстро они миновали!

Глава 6. Заграница!

Я ехал по холмам Богемии,
Вкушая движенье и цвет,
И был я намного блаженнее
В неведенье будущих бед.

Давид Самойлов

Заграница. — Поездка в Англию. — Серов и Пеньковский. — Случай в Копенгагене. — В Польше у Стасика. — Неприятные известия. — Несостоявшаяся командировка. — Попытка поехать в Венгрию. — Запрет на выезд. — Убийство в Харькове

Заграница! Сколько в этом слове привлекательного, какая таинственность исходит от него, какие опасности таятся в нем, сколько радости, огорчений, страхов и… интриг!

Долгие годы советские люди и не мечтали даже поехать за границу. До войны лишь немногие одиночки выезжали туда в служебные командировки, на международные конгрессы и пр. О том, что существует туризм, советские граждане, должно быть, просто не подозревали. После войны, когда «окно в Европу» было тщательно замазано, и в голову не приходило думать о зарубежных поездках. Более того, даже те, кого посылали в служебные командировки, отправлялся туда с величайшей неохотой, ибо хорошо понимали, что по возвращении они могут быть обвинены Бог знает в чем, — о том свидетельствовали известные судебные процессы 30-х годов.

Во второй половине 50-х годов ситуация изменилась довольно радикально. Сначала в СССР появились иностранные туристы в относительно большом количестве, а затем и советских граждан начали «пускать» за границу. Многие работали в странах народной демократии — им разрешали брать с собой семьи. Затем в социалистические страны начали выезжать туристские группы, потом

появились туристские группы для поездок в капиталистические страны. Такие поездки были связаны с какими-то мероприятиями международного плана, например, с советскими выставками за рубежом, со спортивными соревнованиями и т. п.

В 1961 г. открылась выставка достижений СССР в Англии. То была пора потепления в советско-английских отношениях. Было решено отправить в Англию значительное число советских туристов. Так случилось, что однажды мне позвонили из Союза обществ дружбы и предложили включиться в одну из туристских групп для поездки в Англию. Я не очень-то верил, что из поездки что-нибудь получится. Дело в том, что однажды я был включен в состав советской делегации историков на англо-советскую конференцию, но вычеркнут какой-то инстанцией. Председатель Национального комитета советских историков Александр Андреевич Губер, с которым я долгое время работал в Секторе Всемирной истории и вообще был дружен, сказал мне доверительно и несколько смущенно: «Видите ли, Саша, когда идет речь о людях вашей категории, то дело это сложное» (словом «категория» он деликатно заменил слово «национальность»). В другой раз Институт ходатайствовал о моей командировке в Румынию, и опять я был где-то вычеркнут. Поэтому я без особой надежды на поездку заполнил анкеты и уехал в Таллин работать в архиве. К моему удивлению, недели через две я получил письмо, в котором мне сообщали, что я должен в начале июля быть в Москве в связи с предстоящей поездкой в Англию.

...В нашей группе было пятеро мужчин и восемнадцать женщин! Большинство женщин были преподавательницами английского языка и врачами. С нами ехали также жена и дочь бывшего председателя КГБ И. А. Серова (в 1961 г. он был заместителем начальника Генерального штаба). Серов

принял активное участие в том, чтобы мы своевременно получили паспорта. В последний момент выяснилось, что самолет, на котором мы должны были лететь, не может взять всех из-за нехватки мест. Было предложено, чтобы 5 человек из нашей группы полетели другим рейсом на рассвете в 4 часа утра. Специальный самолет почти пустой летел в Лондон, чтобы забрать оттуда гастролировавшую в Англии труппу балета Большого театра. Серовы и я, и еще две дамы согласились лететь этим рейсом. По моей просьбе Серов прислал свою служебную машину ко мне домой, а затем я заехал за нашими дамами и таким образом проблема поездки в аэропорт, расположенный в 35 милях от Москвы, была решена. Своих женщин Серов привез в Шереметьево сам.

Когда мы выходили на взлетную полосу, чтобы погрузиться в ТУ-104, вместе с нами вышел молодой человек лет 30–35 в сером твидовом пиджаке с портфелем в руках. Он дружески поздоровался с Серовым. В самолете Варвара Ивановна Серова познакомила нас, представив молодого человека как журналиста. Он как-то невнятно назвал свою фамилию, я уловил только окончание — ...овский. Кроме нас, в самолете было двое или трое англичан. У одного из них в лацкане пиджака торчал значок Московского кинофестиваля. Когда мы прилетели в Лондон, он этот значок почему-то снял и спрятал в карман. Другому англичанину, пожилому и рыхлому человеку, было во время полета плохо, и он, беспомощно улыбаясь, то и дело спешил в хвост самолета. Журналист рассказывал дамам о том, что можно купить в Лондоне, например, качели для дачи, еще что-то, затем он вынул бумажник, извлек оттуда пачку английских купюр и продемонстрировал их дамам...

Прошло несколько лет, и однажды, открыв газету, я прочитал сообщение прокуратуры о суде над Пеньковским,

обвинявшимся в измене. Внизу была его фотография. Его лицо показалось мне знакомым. Я начал читать обвинительное заключение и натолкнулся на фразу: «...18 июля 1961 г. Пеньковский прилетел в Лондон...» Боже мой, так ведь и я в этот день прилетел в Лондон! И тут я вспомнил «журналиста» и невнятно произнесенную фамилию «...овский». Ну, конечно же, это был Пеньковский!

Три часа мы провели в лондонском аэропорту в ожидании нашей группы. Я бродил по этому огромному зданию и с большим интересом наблюдал за человеческим муравейником в этом огромном международном аэровокзале. Ведь первый раз в жизни я разом увидел столько людей со всего света. Время пролетело для меня совершенно незаметно...

В Лондоне мы провели шесть дней, побывав всюду, где могли. «Сверх программы» я отправился как-то на рассвете на Ковент-гарденский оптовый рынок. Больше всего поразили меня цветы из Франции — каждый цветок был упакован в отдельной картонной коробке. В свободное время я предпочитал бродить по улицам этого прекрасного города. Вечером мне удалось однажды сбегать в кино, посмотреть «*Сладкую жизнь*». Нет смысла писать здесь о достопримечательностях Лондона, которые входят в обязательную программу для туристов, — об этом и так хорошо известно. Для меня все было интересным, но, прежде всего, сами лондонцы. Я увидел приветливых, чисто, но непретенциозно одетых людей в начищенных до блеска башмаках. Они охотно отвечали на вопросы (как пройти туда-то и туда-то), были деликатны и обходительны, их не интересовали наши дела, и вряд ли они стали бы рассказывать о своих. В них не было и тени чопорности или надменности, о которых нам столько твердили на протяжении нашей жизни. Конечно, после войны многое изменилось. Я был доволен тем, что

увидел Лондон и англичан почти такими, какими я себе их представлял. Я чувствовал себя в этом огромном городе легко и свободно. Лондон мне показался истинным городом «для жизни».

...Я условился встретиться с профессором Эндрю Ротштейном в своей гостинице «Стивен Корт». Он пришел довольно точно. Мы поговорили о положении Англии во время войны, и я был поражен тем, как глубоко сидит в нем конформизм и догматизм, а ведь он был очень образованным человеком. У меня просто пропала охота обсуждать с ним проблемы войны. Я пошел проводить его до моста Ватерлоо. По дороге мы зашли в книжный магазин консервативной партии, где я надеялся приобрести партийные материалы военного времени, но выяснилось, что они давным-давно сожжены за ненадобностью. Я сел в метро, чтобы вернуться в гостиницу, которая находилась неподалеку от ст. Паддингтон. Но не зная своеобразия Лондонского метро, где на световом табло указывается, в какую сторону направляется поезд, поехал в другом направлении. В вагоне я спросил о чем-то сидевшего напротив меня пожилого человека. Он ответил, и в свою очередь спросил меня: «Вы поляк?» — «Нет, я русский», — ответил я. Старик улыбнулся какой-то грустной улыбкой и сказал: «Мой сын был в вашем Мурманске. Он был летчиком и погиб». Мне стало немного не по себе, как будто я виноват в том, что остался жив, и сказал тихо: «Я был под Сталинградом». Тогда совершенно неожиданно старик поднялся и произнес торжественным голосом: «Ноу степ бэк!» («Ни шагу назад» — лозунг оборонявших Сталинград солдат), мы обменялись крепким рукопожатием и оба, очень растроганные, сели на свои места. Сидевшие вокруг нас пассажиры дружески улыбались.

Поезд между тем вышел из-под земли и бежал вдоль каких-то зеленых насаждений. В вагоне почти никого не

осталось. Я наконец-то сообразил, что еду не туда, взглянул на часы, увидел, что через 10 минут начнется обед, вообразил переполох, который подымится из-за моего отсутствия, и мороз пробежал у меня по коже. На первой же остановке я вышел, подошел к дежурному — здоровенному малому с добродушной физиономией, объяснил ему свои затруднения. Он рассмеялся и обрадовано сказал: «О, вы русский, я люблю русских. Га-га-рин!» (Я был в Англии спустя два месяца после первого полета в космос, и имя Юрия Гагарина было на устах у всех англичан), затем он подарил мне схему лондонского метро, объяснил, где сделать пересадку, посадил в поезд и помахал мне своей массивной рукой. Конечно, я опоздал на обед, конечно, был неприятный разговор, но все быстро испарилось — ведь я вернулся, а не попросил политического убежища!

...Вместе с Риммой Нарышкиной, юристом, мы были в Центральном уголовном суде «Олд Бейли», где с интересом следили за разбирательством малоинтересного дела — обвинения в краже на пляже. Поскольку не было прямых улик, обвиняемый был приговорен к условному наказанию. Когда, возвратившись в гостиницу, в холле я рассказывал о процессе своим товарищам, сидевший рядом незнакомый молодой человек с бородкой вдруг вмешался в разговор и на довольно хорошем русском языке спросил меня: «Ну и какого вы мнения об английском суде?» Я хотел ответить, но тут вмешался руководитель нашей группы Виктор Сергеевич и сказал нервозно: «Нам некогда, мы спешим обедать» — и потянул меня за рукав. «Ах, вы спешите...,» — насмешливо протянул незнакомец. Я ужасно обозлился на Виктора Сергеевича и ответил: «Да, нам некогда, но все же я скажу вам о своем впечатлении». И я объяснил ему, почему у меня осталось благоприятное впечатление и от суда, и от самой процедуры.

...Мы побывали в Кембридже, а затем в Стратфорде-на-Эвоне. Потом была Шотландия — Глазго, Эдинбург и родина Бернса. Глазго произвел на меня впечатление довольно мрачного города, и даже дома-новостройки, выстроенные местным муниципалитетом для рабочих, не очень порадовали меня. От Глазго отдавало бедностью. И хотя нас там прекрасно принимали, мы были даже в варьете, где швейцаром оказался выходец из России, я не мог отделаться от этого, может быть, неверного впечатления. В Глазго мы жили в старинной гостинице, деревянной, где скрипели рамы и половицы. Я спал на огромной и очень высокой кровати, должно быть, XVII века. Горничная, которой я сразу же по приезде подарил какой-то сувенир, показала мне как пользоваться электрокамином, не бросая в него шиллинги, а когда я промок до костей, попав под дождь, забрала мой костюм и привела его в порядок, категорически отказавшись от вознаграждения.

...По дороге в Эдинбург мы договорились между собой по инициативе нашего гида Нины не задавать бесконечных вопросов о Марии Стюарт, не выказывать свою «образованность» в этом вопросе, так как эта тема уже набила оскомину (незадолго до нашей поездки в Англию на русском языке вышел перевод книги Стефана Цвейга о шотландской королеве, и все эту книгу прочли). Но едва мы вошли в опочивальню Марии, как «конвенция» была безбожно нарушена, и все наперебой высказывали все, что они узнали о королеве Марии и Риччи из книги.

В Эдинбургском замке нам показали сокровища шотландского короля Брюса, которые долго хранились в тайнике. Они были обнаружены благодаря Вальтеру Скотту, нашедшему в библиотеке замка указание о том, где их искать...

Огромное впечатление на меня произвел музей — мемориал погибшим солдатам-шотландцам во время Первой и Второй мировой войны. Барельефы, сделанные с большим вкусом, книги в переплетах из красного сафьяна, в которых записаны имена погибших шотландцев, простота скорби — все это создает атмосферу какой-то возвышенной чистоты.

...Я перелистывал одну из книг, как наш гид Нина вдруг спросила меня: «Скажите, есть ли в России антисемитизм? Дело в том, что у нас в компартии идет по этому поводу дискуссия». Я ответил уклончиво, нечто вроде, что, дескать, на себе я антисемитизма не ощущал, пробормотал что-то вроде «Нынче иные времена...». Мне было стыдно, и я не знал, как быть. Рассказал об этом разговоре одному из коллег, которому доверял. Тот вздохнул: «Зачем вы так, надо сказать правду». Позднее в тот же день я разыскал Нину где-то у телевизора и сказал ей, как обстоит дело на самом деле. Она улыбнулась и ответила: «Я это знаю». С души словно камень свалился.

...На приеме в обществе англо-советской связи ко мне подошел молодой преподаватель Айк Ашер. Завязался разговор о проблемах рабочего движения в Европе. Потом началась переписка, обмен пластинками и книгами. Дважды Ашер приезжал в Москву. Мы встретились с ним снова после того, как я навсегда покинул Советский Союз в 1976 году.

Прощальный обед на вокзале Виктории. Затем Тилбери. И вот мы на борту нашего теплохода «Михаил Калинин». Нам предстоит почти пятисуточный переход до Ленинграда. Я блаженствую — ведь у меня отдельная каюта первого класса. Досталась она мне случайно: каюта предназначалась жене секретаря Центрального Комитета партии Куусинена Амираговой, но она почему-то не поехала, и так как при

уплате денег все остальные заколебались, то каюта досталась мне.

Все наши очень довольны, так как у нас интуристовские боны, которые идут на корабле наряду с валютой. Поэтому мы ходим в бары и пр. Дамы набросились на датский шоколад с орехами (7 коп. плитка). Потом приходит пассажирский помощник капитана и просит объяснить дамам, что они скупили чуть ли не месячную норму шоколада! Мужчины проводят беседу с дамами, вразумляют их. Эх, бедность, бедность наша! Все от нее...

Римма также едет в первом классе. Поэтому мы обедаем в другое время (кроме двух супружеских пар и Серовых, все едут во втором классе). Виктор Сергеевич и Саша — инженер из Мосгорсовнархоза, если не врет, часто приходят ко мне. В. С. доволен — все благополучно, и он может поиграть в салоне в шахматы. Я иду на корму и играю в шайбу (нечто среднее между хоккеем и игрой в классы). Уславливаюсь с партнерами (один из них индус, другой английский студент) — если я выиграю, кричу «Да здравствует Великобритания!», если — они, то кричат «Да здравствует СССР!» Выигрываю я. Партнеры свято выполняют условия. Потом по приглашению французов играю за них. Мадам Мерседес, высокая брюнетка, восхищенно восклицает при моей игре: «Ах, месье, какой удар!» Золотой крестик на ее груди колышется. Тьфу, наваждение, изыди, сатана!...

...Обедаем вчетвером: Римма, я и очень милая английская пара — туристы, которые едут в Ленинград, в Москву — Фанни и Майкл Лайнс. Оба химики. Майкл работает у «Филипса». Подружились; теперь мы ожидаем друг друга перед едой. Встречаемся, главным образом, за трапезой. Майкл страдает морской болезнью и частенько полеживает.

Однажды ранним утром я поднялся на палубу. Кругом было ясно и светло. Мы шли неподалеку от датского берега.

Неожиданно услышал голос Фанни: «Смотрите, белый замок с зеленой крышей — это Эльсинор!» Хоть издали взглянуть, какая удача, что я не проспал!

Наш теплоход останавливается на несколько часов в Стокгольме, Копенгагене и Хельсинки.

Стокгольм очень красив, очень богат, очень буржуазен. «Когда я смотрю на этот благополучный город, во мне просыпается пират, — говорю я Майклу и Фанни, — так и хочется спрыгнуть на берег со шпагой в руках и потрошить перины и подушки». Мы хохочем.

В Копенгагене каналы, удивительно красивая набережная и приморский парк.

Здесь произошел такой инцидент. Нас погрузили в один туристский автобус вместе с группой горьковчан, также возвращавшихся из Англии. Руководительница их группы — довольно неприятная на вид особа из «Интуриста». Горьковчане жалуются нам, что она держит их, что называется, «в черном теле», т. е. не разрешает никуда от нее удаляться...

...Посмотрев памятник матери-прародительницы Дании, которая на колеснице (в нее впряжены сыновья, превращенные ею в быков) объезжает с инспекторским осмотром страну, мы пешком отправляемся в приморский парк взглянуть на знаменитую Русалку. Автобус отправляется туда же пустой. Теперь пора на теплоход, до отплытия остается менее полчаса. Мы грузимся в автобус, и тут обнаруживается, что одна из наших дам пропала — была это уже немолодая преподавательница английского языка. Начинаем вспоминать, где мы ее видели в последний раз. Выясняется, что у памятника матери-прародительницы Дании. Виктор Сергеевич посылает другую преподавательницу английского языка — Элю на поиски. Потом он начинает нервничать и отправляется на поиски сам. Я его

понимаю: случись что-нибудь, и у него будут очень большие неприятности по линии КГБ.

Едва Виктор Сергеевич удалился, как руководительница горьковской группы через переводчика-датчанина отдает приказ водителю ехать на теплоход. «А как же наши товарищи?» — спрашиваю я. — Мы не обязаны их ждать. Пусть добираются сами, — раздраженно отвечает дама из Интуриста.

— Но если они придут сюда и нас не найдут, то они растеряются и опоздают на теплоход. Без двух групп — нас 40 человек — теплоход не уйдет, а троих ждать не станет, — пытаюсь я аргументами от разума убедить даму. Все остальные туристы молчат. И это начинает меня раздражать.

— Едем, — твердо говорит руководительница горьковской группы.

— Я остаюсь, — также твердо говорю я, — и буду ожидать наших товарищей. С этими словами я поднимаюсь и иду к выходу. Все остальные упорно молчат. Некоторые смотрят в окно, будто их не касается.

— Как Ваша фамилия?! — почти кричит мадам из Интуриста.

Я называю себя и выхожу. Вместе со мной в знак солидарности покидает автобус и старик-переводчик. Он вне себя от возмущения, но сдерживается и лишь говорит: «Как это неколлегиально (т. е. не по-товарищески). Первый раз в жизни вижу такое. Но не волнуйтесь, я остался с вами, чтобы показать кратчайший путь к причалу». Автобус уходит — ни один из товарищей не последовал моему примеру. И это повергает меня в глубокую скорбь. Кажется, в течение нескольких минут я передумываю всю свою жизнь. Через несколько минут появляются, оживленно болтая, все трое. Подходят. «А где все остальные?» — удивленно спрашивает Виктор Сергеевич. — По дороге расскажу, — отвечаю я, —

теперь побежали, осталось до отплытия семь минут». Под водительством датчанина мы быстро шагаем. И вдруг за поворотом видим, стоит у причала наш красавец, пятитысячетонный «Михаил Калинин». Дружески прощаемся со стариком-датчанином. Подымаемся на борт. Все в порядке.

После обеда Виктор Сергеевич и Саша приходят ко мне в каюту, чтобы обсудить происшествие. Как ни странно, но Саша не разделяет нашего с Виктором возмущения. Я вне себя от ярости, так как выяснилось к тому же, что дама из Интуриста уже семь раз была в Копенгагене и прекрасно знала, что от места, где мы стояли, до причала рукой подать, а на автобусе всего две минуты пути. Виктор Сергеевич сыплет проклятьями на могучем русском языке. Саша замолкает. Я кричу: «Где же солидарность советских людей за границей, о которой нам твердили на инструктажах перед отъездом!» Саша с интересом смотрит на меня... Ночью я долго не могу заснуть и думаю о солидарности людей и о молчании. Мне хотелось бы знать, почему все молчали — боялись, что их больше не пустят за границу? «Грустно жить на этом свете, господа».

...В Москве Лайнсы ждут меня у гостиницы. Я одалживаю «Волгу» у соседа и вместе с Риммой заезжаю за ними. Мы едем по Успенскому шоссе, там гуляем, затем ужинаем у меня. Пьем за вечную дружбу... Из Англии получаю потом открытку с благодарностью.

...Спустя 10 лет под Новый 1971 год посылаю Лайнсам поздравительную открытку. Ответ получаю еще спустя... год, под Новый 1972 г. Оказывается, моя открытка пропутешествовала целый год, так как Лайнсы сменили место жительства, построили новый дом. На фотокарточке действительно новый дом, а на его фоне сидят на лужайке Фанни и Майкл.

Осенью 1964 года я отправился в составе туристской группы сотрудников нашего института в девятидневную поездку по Финляндии. Это была чудесная, веселая прогулка, о которой я и сейчас вспоминаю с удовольствием. Это был мой второй выезд за рубеж. В третий и в последний раз я поехал спустя два года осенью 1966 года в Польшу.

А дело было так.

...Зимой 1946 года я сидел и занимался у окна нашего полуподвала на ул. Горького, 26. Вдруг какая-то тень закрыла дневной свет: неизвестный стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу и, очевидно, тщетно пытался разглядеть, есть ли кто в доме. Я выскочил на улицу и обмер: Боже мой, Стасик! Затащил его в квартиру. Родители обнимали его, мама рыдала...

Стасик Людкевич учился в одном классе с моим братом — они были очень близки. После окончания школы в 1935 г. оба собирались на исторический факультет. Стасик попал, брат провалился на экзамене. На следующий год брат поступил на географический факультет. Стасик был единственным сыном в семье польских революционеров, эмигрировавших в СССР. Его отец был ответственным секретарем Международного объединения революционных писателей. Жили они в писательском доме в Большом Афанесьевском переулке.

Я был влюблен в Стасика и подражал ему даже в манере ходить и чуть было не стал из-за этого горбатым: Стасик сильно сутулился. В те годы мой брат и Стасик относились ко мне, как к младшему, покровительственно. Я очень завидовал их, как мне казалось, очень важным делам. В нашей школе была создана интернациональная секция, и ее возглавлял мой старший брат, а Стасик ему помогал. До сих пор у меня сохранился бланк с надписью на русском и немецком языках: «Интернациональная секция 25-ой образцовой школы Свердловского района гор. Москвы». Я тоже включился в

работу этой секции: в пионерском отряде создал звено МОПР (Международная организация помощи революционерам), собирал деньги в помощь жертвам капитала, ходил на разные собрания, где выступали бывшие узники империализма и даже присутствовал на одном из заседаний Всемирного конгресса МОПР'а в Колонном зале Дома Союзов. В ту пору — мне было 12–14 лет — я готовился стать профессиональным революционером, чтобы делать мировую революцию. Когда мне было 14 лет, я написал письмо своему двоюродному брату Вольфу Лихтеру, латвийскому коммунисту, отбывавшему заключение в Рижской крепости. В письме я извещал его, что «недалек тот час, когда мировой пролетариат свергнет иго буржуазии» и освободит его из крепости. Позднее моя тетя, мать Воли, рассказывала, что мое письмо чуть было не стоило ее сыну еще нескольких лет тюрьмы. В 1936 году Воля по приказу партии уехал в Испанию на помощь испанской революции. Он погиб в битве при Гвадалахаре в феврале 1937 года...

...Вернемся, однако, к истории Стасика.

Пришел 1937 год. Отец Стасика, как и многие другие польские революционеры, находившиеся в эмиграции в СССР, был арестован, обвинен в шпионаже и расстрелян. Вскоре был арестован и Стасик, тогда студент истфака МГУ. Мать была выслана. Стасик провел в лагере 8 лет и был освобожден лишь благодаря настоянию ЦК ПОРП вместе с другими польскими товарищами. Он женился на дочери прораба Лиде и теперь вместе с ней, с маленьким ребенком — Владеком — и матерью возвращался в Польшу... Все это Стасик рассказал нам тем морозным зимним днем. Я вспомнил, как мой брат Вова после ареста Стасика ездил вместе с его первой женой Леной в лагерь, но свидания Лене не дали.

Шли годы. Стасик стал важной персоной: редактором центральной молодежной газеты, потом заведующим отделом в «*Право люду*» и, наконец, директором польского телевидения. Стасик несколько раз приезжал в Москву. Но вот наступил 1956 год. Стасик был среди тех, кто выступил за большую демократизацию. Но в 1957 г. был дан повсеместно сигнал «отбой». Стасик получил строгий выговор с предупреждением по партийной линии за «предоставление трибуны ревизионистам», лишился своих постов и стал секретарем редакции вечерней варшавской газеты. Немаловажную роль в его судьбе сыграло и то обстоятельство, что брат его матери, видный партийный работник, также попал в опалу. В начале 60-х годов мы начали со Стасиком регулярную переписку. В 1966 году Стасик прислал мне приглашение, и в сентябре того же года я отправился в Варшаву. 17 дней я провел в Варшаве. Затем вместе со Стасиком поехал в Краков и Закопане. Оттуда Стасик возвратился на работу в Варшаву, а я один отправился в Гданьск.

...Это была чудесная поездка во многих отношениях. Благодаря дружескому расположению ко мне директора польского института марксизма-ленинизма Тадеуша Данишевского, с которым я познакомился как-то в Москве, я и Стасик получили возможность останавливаться в партийных гостиницах. Практически это давало большую экономию: мы платили за комнату 10–20 злотых в день вместо 150–200 злотых в обыкновенной гостинице. Кроме того, в Варшаве я получил возможность ходить на самые труднодоступные спектакли вроде «*Наместника*», «*Танго*» и др. Благодаря помощи Данишевского, мне удалось поработать в польских архивах и в Институте международных отношений, откуда я привез фотокопии и

микрофильмы уникальных документов для своей работы (той самой, которая так и не увидела света).

Данишевский был человеком умным и добрым. События 1968 года не пощадили его. Он был освобожден от работы, переведен на пенсию и вскоре умер.

...В Варшаве я жил у Стасика: мне была уступлена комната его сына Владека — а сам Владек жил у своего приятеля. В доме все трудились: Стасик в редакции, Лида в Институте (она инженер-электроник по профессии), дочь Стасика Инка держала экзамен на филологический факультет Варшавского университета. Мать Стасика, уже немолодая, но все еще очень красивая женщина, жила отдельно вместе со своей теткой. Работала Людвига Станиславовна в «Орбисе», нечто вроде нашего Интуриста. В доме была замечательная собака — гончая, которая по утрам требовательно будила всех, ожидая с нетерпением, когда пойдут за газетой, — ей принадлежала привилегия нести газеты от киоска до дома.

...Не буду описывать здесь польские достопримечательности, как я не делал этого при рассказе о поездке в Англию. Лишь несколько эпизодов.

В Варшаве я нанес визит в издательство «Книга и знание», которое в это время издавало мою книгу «*1941, 22 июня*». По просьбе издательства я написал предисловие к польскому изданию, с которым книга и вышла.

...Мы со Стасиком были в Освенциме. Это так ужасно, что не хочется писать об этом. Две вещи поразили меня: во-первых, обыденность преступлений, происходивших там. Убийства и пытки были в Освенциме рутинным, обыкновенным делом. Они составляли смысл и содержание всего, что творилось там. И немудрено, что эта фабрика смерти создала в конце концов и свой собственный цех ширпотреба, где изготовлялись предметы обихода из человеческой кожи. Во-вторых, я понял, что гитлеровцы не

могли бы творить здесь свои злодеяния, если бы им не помогала в этом какая-то, пусть даже самая ничтожная, часть коренного населения. Потом мне рассказывали, что во время немецкой оккупации возникла даже специальная профессия т. н. шмальцовщиков (от слова «шмалец» — жир). Шмальцовщики выискивали прячущихся евреев и требовали от них выкупа за недоносительство, т. е. «жали масло» из своих жертв. Несчастные либо откупались, либо попадали в гестапо.

...В Гданьске я жил в гостинице управления по пропаганде горкома ПОРГГа. Представитель горкома предложил мне присоединиться к советской партийной делегации, которая там гостила, чтобы я имел возможность видеть достопримечательности. У делегации был микроавтобус, в котором было как раз одно свободное место. Возглавлял делегацию первый секретарь Гродненского обкома партии Владимир Федорович Мицкевич. Кроме него (он был вместе с женой), с нами были еще три супружеские пары. Ко мне все отнеслись очень тепло. С Владимиром Федоровичем мы говорили и о моей книге, и о событиях, которым она была посвящена...

...Однажды в Гданьске я отправился в музей живописи, но никак не мог найти дорогу, крутился, возвращался назад. Наконец я решил спросить дорогу у первого встреченного. Им оказалась женщина неопределенных лет в модном пальто из тисненной кожи.

...Мы бродили по музею, она не говорила по-русски, поэтому объяснялись на немецком. Мы говорили о религии (Беата — верующая католичка), и я вспомнил о замечательной скульптуре в одном из варшавских соборов, — патера в мученическом терновом венце — в память 5 тысяч польских католических священников, замученных гитлеровцами.

Поездку в Польшу я буду всегда вспоминать с неизменно теплым чувством. Здесь я познакомился и подружился (надеюсь, на всю жизнь) с Мишей Геллером, другом моих московских друзей. Миша был когда-то, как и я, студентом исторического факультета Московского университета. Жизнь его была непростой. В конце концов судьба закинула его с женой Женей в Польшу. В ту пору он был редактором Польского агентства печати. Миша, сам страстный книжник, повел меня в букинистический магазин «Атенеум», где при его финансовой поддержке мы приобрели для меня много книжек. Среди них был Орвелл «*1984*», книга, запрещенная в СССР. Мне удалось благополучно привезти ее в Москву.

...Теперь Геллеры живут в Париже. Миша — профессор Сорбонны. Он написал замечательную книгу» *Концентрационный мир и советская литература*» и много интересных статей о творчестве А. И. Солженицына, А. Зиновьева, М. Алданова и других писателей и публицистов.

Сейчас мы пишем вместе историю Советского Союза. Надеюсь, мы ее напишем...

...Когда я в первых числах октября покидал Варшаву, ничто, казалось, не предвещало, что мы видимся со Стасиком, может быть, в последний раз.

...В купе поезда нас было трое: молодой человек из Минска, который гостил у родных, японка, возвращавшаяся из Парижа с международного конгресса эсперантистов и проведшая затем несколько дней в Польше по приглашению тамошней секции эсперантистов, и я. В Бресте в наше купе пришли советские пограничники и таможенники. Я помог японке заполнить декларацию. Трижды в течение ночи приходили проверять документы и вещи у этой совершенно растерявшейся японской женщины. Глубокой ночью появился еще один пограничник, снова разбудил ее и увел на заставу. В это время наш поезд перегнали на другой путь.

Потом библиотекарша мне рассказывала, как мерзла на платформе в течение двух часов. А дело было пустяковое: видно, пограничникам показалось подозрительным, почему японская гражданка возвращается домой через территорию СССР. А ей просто было интересно проехать через нашу страну, сделать остановку в Москве, этой библиотекарше из Токио.

...Весной 1967 года я обратился с просьбой о выдаче мне приглашения для Инки. Долго мне не отвечали, а затем сообщили, что в моей просьбе мне отказано — в это время я уже был исключен из партии.

Мы продолжали поддерживать связь со Стасиком. Новые беды обрушились на эту семью. Вслед за студенческими волнениями в марте 1968 года в Польше началась разнузданная антисемитская кампания: лиц еврейского происхождения увольняли с работы, лишали средств к существованию.

После войны в Польше уцелело и возвратилось из других стран всего 30 тысяч евреев. Подсчет приблизительный, так как после массового истребления евреев гитлеровцами в польском паспорте была исключена графа «национальность» и значилось лишь «гражданство». Это была мудрая мера против антисемитизма. Теперь же в Польше началось нечто, напоминавшее нравы гитлеровцев: выяснялось происхождение не только родителей, их национальность, но и национальная принадлежность более отдаленных поколений. И это происходило в конце 60-х годов в социалистической Польше, в стране, где за 25 лет до того гитлеровцы уничтожили 6 млн евреев.

Антисемитская кампания коснулась и Стасика: он был предупрежден об увольнении с работы. Его мать ушла на пенсию. Инка участвовала в студенческих волнениях, была, как и все другие студенты, исключена и при повторном

приеме не была принята. Семью Стасика, как и семьи других евреев, вынуждали покинуть свою подлинную родину — Польшу. В конце концов, лишенный средств к существованию, он, один из первых строителей новой социалистической Польши, вынужден был эмигрировать. Сначала Стасик, Лидка и Людвига Станиславовна жили в Иерусалиме. У Лиды была работа по профессии. У Стасика постоянной работы не было, ибо для него, талантливого журналиста, не было возможности получить работу по душе. Инка живет у дальней родственницы в Брюсселе, где учится в университете на отделении славистики. Владеку удалось вместе со своей польской женой получить визу в Швецию, где они работают и учатся в Политехническом институте, у них родилась дочь, и, будем надеяться, что внуки Стасика будут избавлены от мук расовых преследований и дискриминации...

Стасик переселился поближе к сыну, в Швецию. Недавно он разыскал меня. В 1969 году был опубликован в Москве 81 выпуск *«Литературного наследства»,* посвященный МОРП'у. В нем помещены воспоминания Стасика о своем отце, Клеменсе Людкевиче...

Сотрудники нашего Института начали ездить за границу с научной целью с конца 50-х годов. Постепенно от участия в научных конференциях перешли к многомесячным командировкам для исследовательской работы. Немало сотрудников сектора истории США и Канады, американистов, работало в архивах и библиотеках Соединенных Штатов, некоторые побывали там по два, по три раза. Выезжали итальянисты в Италию, франковеды во Францию, кто-то из латино-американистов побывал в Мексике и на Кубе. В социалистические страны Европы ездили постоянно, причем одни и те же лица и по многу раз. Тот, кто один раз проходил все инстанции, включая

высшую — выездную комиссию ЦК КПСС, и ничем себя в дальнейшем не скомпрометировал, мог рассчитывать на повторение поездки. Оказаться же неугодным было очень легко — не с тем поговорил, не так поговорил, зашел в ресторан, вызвал подозрение, что ухаживаешь за женщинами, просто повздорил с кем-нибудь из начальства и т. д. и т. п. И все же, если проанализировать состав сотрудников, которые ездили за рубеж, можно заметить некую закономерность в том, кто и через какие промежутки ездит, и тогда станет ясным, что ездят в научные командировки и на длительные сроки вовсе не самые лучшие, не наиболее способные историки, но либо согласно занимаемому служебному положению, либо связанные с учреждениями, которые к исторической науке, да и к науке вообще имеют очень отдаленное отношение.

Я проработал в Институте истории и в Институте всеобщей истории свыше 30 лет и за это время ни разу не был послан в научную командировку за рубеж. Трижды я выезжал за границу, дважды как турист — в Англию и в Финляндию — и один раз по частному приглашению — в Польшу. И только в последний раз, в Польше, мне удалось поработать немного с архивными материалами по своей теме. Я также ни разу не участвовал в международных конференциях, даже если они происходили в Москве. До 1965 года это происходило потому, что докладчиками на конференции посылались, как правило, лица, занимающие определенные посты, или близкие к ним люди. После 1965 года меня не посылали на конференции, так как полагали, что я пользуюсь за рубежом слишком большой известностью как опальный историк!

Трижды меня начинали оформлять для заграничной командировки: в конце 50-х годов в Румынию, в 1964 году — в Кению и в 1964–67 гг. — в Англию. Так я никуда и не поехал.

Правда, я все время шел вперед. Первый раз мои документы дошли до иностранного отдела Президиума Академии наук, во второй раз я был вызван для беседы в ЦК, в третий раз иностранный отдел Президиума АН СССР послал на меня запрос для получения въездной визы в Англию (так во всяком случае мне говорили в иностранном отделе). После же моего исключения из КПСС в июне 1967 года был наложен запрет не только на мои любые выезды за рубеж, но даже на присутствие в качестве гостя на международных семинарах и конференциях, происходивших в Москве, на встречи с иностранными коллегами и т. д.

Остановлюсь немного подробнее на судьбе моей командировки в Англию. Разговоры о ней шли начиная с 1962 года. В середине 1964 года, приступая к последней по счету монографии из цикла «*Внешняя политика Англии накануне и во время Второй мировой войны*», я обратился с письмом к директору Института Хвостову с просьбой предоставить мне командировку. Затем, как я уже выше писал, мои отношения с Хвостовым обострились, и когда я спросил его как-то о командировке в Англию и напомнил о данном им обещании, он мне резко ответил: «Обещания, которые были даны раньше, потеряли теперь свою ценность». Тогда я шутливо заметил: «Знаете, Владимир Михайлович, Ваш ответ очень мне напоминает модную сейчас формулу: была возможность — обещал». Он усмехнулся, через некоторое время он позвонил все же в иностранный отдел, и дело как будто бы сдвинулось с мертвой точки. Я начал заполнять анкеты, беседовать с сотрудниками иностранного отдела. Спустя еще год в Институте было составлено «научное обоснование командировки», подписано и отправлено в Президиум Академии наук СССР. Была составлена и утверждена также моя программа работы в Англии. Среди пунктов этой программы, не имеющих прямого отношения к моей исследовательской работе, были такие:

«4. В случае предложений со стороны английских ученых в отношении развития более тесного сотрудничества сообщить, что эти предложения по возвращении в Москву будут переданы в дирекцию Института истории АН СССР.

5. В случае, если придется вести беседы, касающиеся общеполитических проблем, разъяснять политику советского правительства, основываясь на решениях XXIII съезда партии, пленумов ЦК КПСС и на материалах, опубликованных в советской печати.

6. Строго соблюдать правила поведения советских граждан за рубежом».

Эти три пункта постоянно фигурировали во всех без исключения программах научных зарубежных командировок. Каждый советский гражданин, выезжающий в опасный мир капитализма, обязан быть пропагандистом и проводником политики коммунистической партии и советского государства.

Итак, мое «выездное дело» перекочевывало со стола на стол, а сама командировка переносилась с квартала на квартал с 1965 года на 1966, а затем на вторую половину 1967 года. И вот, наконец, когда я уже заполнил анкеты для получения въездной английской визы, сотрудник, который готовил мое дело, соболезнующе сообщил мне, что мое выездное дело утеряно, и все надо начинать сначала! Здесь терпение мое лопнуло, и, придя домой, я немедленно написал и отправил письма протеста начальнику иностранного отдела Президиума АН СССР и моему директору В. М. Хвостову.

Письма подействовали. В иностранном отделе поняли, что они «перегнули», через три дня тот же сотрудник сообщил мне как ни в чем ни бывало, что мое дело нашлось.

Но скоро начались мои партийные неурядицы, и в начале июня 1967 года мое дело благополучно возвратилось туда, откуда оно было выслано, — в Институт истории.

Человек уж так устроен, что живет надеждами. Вероятно, если бы не было такой воображаемой возможности, то человечество давным-давно выродилось бы в племя прагматиков, и интеллектуальная, духовная жизнь стала бы невозможной. Итак, согласимся, что люди всегда на что-то надеются, мечтают, тем и живы на свете.

Несмотря на то, что мне перевалило за 50, надежды меня еще не покинули, и я никак не могу смириться с тем образом жизни, который кто-то из начальства начертал для меня. Так и случилось, что через пять лет после моего исключения из партии в 1972 году я решил немного встряхнуться, выехать на несколько недель в Венгрию, откуда мне прислали приглашение.

Мои московские друзья отговаривали меня от этой затеи, опасаясь не без основания, что мне не разрешат этой поездки, и меня постигнет лишь новое разочарование. Однако тайная надежда, что, может быть, время смягчило и изменило отношение ко мне, подталкивала меня к действиям. На худой конец, рассуждал я, буду точно знать свое реальное положение.

Как известно, для того чтобы в Советском Союзе подать бумаги на выезд, необходимо получить рекомендацию (характеристику) того учреждения, в котором работаешь. Я еще помнил блестящие характеристики, которые мне выдавал Институт до моего исключения из партии. Сначала я обратился в свой сектор. Составили проект характеристики. Дело пошло как будто неплохо: не только профсоюзная организация, но и заместитель секретаря партийной организации подписал характеристику. Не хватало лишь третьей подписи — директора Института всеобщей истории академика Е. М. Жукова. Когда перед ним положили характеристику, то он пришел в необычайный гнев и заявил,

что это чрезвычайное происшествие (ЧП) и что он моей характеристики ни в коем случае не подпишет.

Тогда я отправился на Центральный телеграф, что на улице Горького, и отправил телеграмму в Будапешт, в которой сообщал, что не могу выехать из-за отказа Института выдать мне характеристику.

Это был открытый вызов всем неписанным на сей счет законам. Ведь обычно полагается самому найти приличный предлог для отказа от приглашения. Такими предлогами бывают: болезнь, занятость, семейные обстоятельства, но ни в коем случае нельзя называть истинную причину — отказ в характеристике.

Этот эпизод заставил меня еще раз серьезно подумать о положении, в котором я нахожусь. Я думаю, что те, кто не разрешил мне поездку в Венгрию, на такую мою реакцию и рассчитывали. Но думали-то они, что мои размышления приведут меня к капитуляции. В этом я убедился три года спустя.

Примитивность психологии этих людей меня всегда ошарашивала. Позднее я пришел к заключению, что это одна из особенных черт «хомо совьетикус», находящегося у власти: уверенность, что осознание безнадежности сопротивления рано или поздно заставит человека капитулировать. И все же мне это казалось слишком примитивным, чтобы я до конца мог в это поверить. Но на самом деле так оно и есть.

Я не случайно упомянул в начале этой главы об интригах, связанных с поездками за рубеж. В моем Институте дело доходило до ссор между претендентами на одну и ту же заграничную командировку. Да что там ссоры — до прямых доносов в Иностранный отдел Президиума Академии наук, в ЦК КПСС и, должно быть, также и в КГБ. Компрометация

конкурента, сведение личных счетов на почве борьбы за поездку за границу стали обыденным явлением.

Заграничная командировка — это и приманка, и дубинка одновременно: будешь вести себя хорошо, слушаться начальства, выполнять любые его задания, наградой тебе будет поездка за границу, не будешь слушаться — не поедешь за границу. И народ тянется, прилагает всяческие усилия, интригует, лишь бы получить командировку или даже туристическую путевку, чтобы хотя бы две недели провести... в капиталистическом аду!

Последнее время появились случаи и похуже.

Один из них произошел в городе Харькове, крупном индустриальном и культурном центре Украины. В одной из квартир многоэтажного дома, расположенного на Красношкольной набережной, жили две семьи инженеров Белинского и Муратова, оба — члены коммунистической партии. 36-летний Белинский, кандидат технических наук, исполнял обязанности директора Всесоюзного научного института ВНИИЧЕРМЕТ. До выдвижения на эту должность он был начальником отдела и секретарем партийной организации своего института. В том же институте в должности заведующего лабораторией работал 47-летний Муратов. И Белинский, и Муратов были людьми семейными, обладавшими по всем статьям безукоризненной репутацией.

Оба научных работника должны были ехать на международную выставку в Соединенные Штаты для демонстрации сконструированного институтом прибора для очистки окружающей среды. Но, как это часто бывает в советской практике, перед самым отъездом выяснилось, что поедет кто-то из них один, а на место другого будет послан представитель министерства. Муратов, узнав об этом и желая устранить конкурента на поездку в Америку, подал заявление на Белинского, обвиняя его в том, что он скрывает

свое еврейское происхождение. В условиях государственного антисемитизма, процветающего в Советском Союзе, а на Украине в особенности, это обвинение было серьезным.

Белинский, возмущенный не столько предательством Муратова, сколько его утверждением, будто отец Белинского был евреем, в то время как он был русским, решил посчитаться с соперником. Бывшие друзья встретились для выяснения отношений на квартире Белинского. В возникшей между ними драке более молодой и сильный и к тому же вооруженный ножом Белинский убил Муратова, ликвидировав таким образом не только соперника на поездку в США, но и отомстив «за поруганную честь русского человека». Затем Белинский расчленил в ванне труп Муратова, но так как один справиться не мог, то вызвал срочной телеграммой жену из Киева. Вдвоем они и завершили эту «работу». Части тела Муратова они вывезли и закопали в разных местах в городе. Затем Белинский отправился в институт, который он возглавлял, чтобы провести очередное совещание с сотрудниками. Подчиненные были несколько удивлены явными следами драки на лице и шее шефа. Кроме того, Белинский в спешке не успел уничтожить все следы убийства... Он был арестован и приговорен к расстрелу.

Дело Белинского является, по-видимому, новым качественным скачком в истории международных научных связей...

Глава 7. «1941, 22 июня»

Что-то вылепится
Из глины.
Что-то вытешется
Из камня,
Что-то выпишется
Из сердца.
Будь как будет!
Не торопись!..

Давид Самойлов

Рукопись о начале войны. — Свидетельство маршала Ф. И. Голикова. — Возражения КГБ. — Загадка «Красной Капеллы». — «1941, 22 июня» выходит в свет. — Реакция общественного мнения. — Дискуссия в Институте марксизма-ленинизма. — Возможно ли улучшить марксизм? — Дело Олега Пузырева. — В партийном комитете Института истории

В конце войны, еще находясь в действующей армии, я часто мечтал о том, как вернусь в Москву и возобновлю занятия историей.

Война оставила на мне, как и на всех тех, кто был вольным или невольным участником ее, неизгладимый отпечаток. Многие годы должны были пройти, чтобы телесные и душевные раны, нанесенные войной, были залечены. Когда же эти годы проходили, то бывшие юноши к своему изумлению оказывались уже зрелыми людьми, а то и стариками. Все можно было попытаться изменить, переделать, лишь со временем ничего нельзя было поделать.

Во время войны мне пришлось многое увидеть и еще больше понять. Я надеюсь когда-нибудь написать о войне отдельную книгу. Скажу здесь поэтому только одно: книга о начале войны в июне 1941 г. была мною задумана в те дни, когда я в теплушке возвращался из Восточной Пруссии в

Москву. Но осуществить свое намерение мне удалось лишь значительно позже. Должно было пройти почти двадцать лет занятий историей, чтобы я созрел для такой книги. После 1956 года я исподволь начал собирать материалы для будущей книги. У меня было много других планов и замыслов, и очередь для «*1941…*» подошла не скоро. Сбор материалов был закончен в 1963 году, а в следующем году я провел ряд интервью с участниками событий и написал текст книги. Весной 1964 года издательство «Наука» согласилось опубликовать книгу в научно-популярной серии.

Книга «*1941, 22 июня*» была мною написана «на одном дыхании», т. е. легко и свободно, без оглядки на возможные последствия, при минимуме привычной самоцензуры. С того момента как я начал писать, я попытался отбросить всякие иные соображения, но писать лишь то, что само просилось на бумагу. Я решил сделать книгу компактной, чтобы любому человеку, независимо от его рода занятий, было легко прочесть ее.

В октябре 1964 г. Хрущев был уволен в отставку.

Общая обстановка в стране и особенно в идеологической области начала меняться после октябрьского пленума ЦК 1964 г. довольно быстро. Хотя в то время еще не было явного отлива в сторону неосталинизма, но возникла как бы обратная реакция на антисталинский курс прежнего руководства. В идеологической области этот отлив был особенно заметен. Я очень быстро почувствовал это на себе.

Журнал «*Международная жизнь*», в котором я довольно активно сотрудничал во второй половине 50-х и в начале 60-х годов, обратился ко мне с предложением написать статью к 20-летней годовщине победы над гитлеровской Германией. Я охотно принял это предложение, написал статью. Вначале статья как будто понравилась. Но затем начались предложения по ее «улучшению», которые в

основном сводились к тому, чтобы смягчить ее антисталинскую заостренность. То было веяние времени. Это было в то самое время, когда мне приходилось выдерживать сильный напор со стороны зав. сектором Всемирной истории А. Ф. Миллера, одного из сотрудников сектора М. Полтавского, которые стремились удалить из X тома «*Всемирной истории*», которым я руководил, элементы критики Сталина и других руководителей в связи с неподготовленностью к войне с гитлеровской Германией. Мне удалось отбить эти атаки. Теперь же предстояло воевать еще и за мою книгу «*1941, 22 июня*», находившуюся в издательстве «Наука». И там предъявлялись претензии такого же рода. Отсюда следовал логический вывод, что установки по проблемам истории Великой Отечественной войны пересматриваются в ЦК, и дело идет, по-видимому, к отступлению от линии XX съезда партии. Занятый во «*Всемирной истории*» и своей собственной книжкой и опасаясь, что назревающий конфликт с «*Международной жизнью*» может рикошетом ударить по моей книге, я решил ни на какие компромиссы с журналом не идти, но и борьбы за опубликование своей статьи не вести. Поэтому я отправил в журнал следующее письмо:

В Редколлегию журнала «*Международная жизнь*»

Направляю Вам верстку статьи «*Великий подвиг*». Я подписал ее в печать при условии, что будет восстановлен текст, касающийся ошибок Сталина и руководства Наркомата обороны перед нападением Германии. В связи с этим мною написан новый текст для 4-й полосы, который будет подклеен к верстке.

Без этой вставки согласиться на опубликование статьи не могу. Не вижу никаких оснований для исключения вопроса о культе личности из статьи. Тяжелые потери, которые мы понесли во время войны с фашистскими захватчиками, и особенно в ее начальный период, в немалой степени являются результатом грубых просчетов

и ошибок Сталина. Это самое мягкое, что можно сказать по этому поводу. Умолчание об этих серьезных ошибках, осужденных решениями XX и XXII съездов партии, а также постановлением ЦК КПСС от 30 июня 1956 г., искажает смысл событий и представляет собою фальсификацию истории.

Убедительно прошу Вас принять исправления, предложенные мною.

В случае иного решения (на любом из этапов подготовки статьи к публикации) прошу мою статью не печатать.

9 мая 1965 г. (А. М. Некрич)

Категоричность моего письма была также связана с опасениями, что редколлегия сделает самовольные исправления и поставит меня перед свершившимся фактом. Такие вещи случались не раз в практике советской печати. Иди потом, объясняй, что ты здесь не при чем!

Статья напечатана не была.

Как раз в этот момент решалась судьба моей книги. Осложнения начались после отставки Хрущева. Уже первая страница рукописи «*1941, 22 июня*» вызвала некоторую нервозность у моего редактора Е. Володиной. Была там такая разбивка:

«Привычный мир с его обычными радостями и печалями неожиданно распался. Война ворвалась и закружила в своем водовороте миллионы человеческих жизней. Гитлеровская Германия вероломно и внезапно напала на Советский Союз.

ВНЕЗАПНО!

ВНЕЗАПНО?

ВНЕЗАПНО?!»

Таким образом, на первой же странице выражалось сомнение в правдивости официальной советской интерпретации о внезапности нападения Германии на

Советский Союз. Это сомнение было абсолютно ясным, и вслед за тем у читателя неизбежно должен был возникнуть вопрос: что же случилось? А затем и другой вопрос: кто же отвечает за то, что нападение было внезапным, а, может быть, оно и не было внезапным?

Эта разбивка просуществовала до первой корректуры, а затем по настоянию редактора я убрал слово «внезапно», и последняя фраза разбивки стала такой: «Гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз».

Так началось «очищение» рукописи от текста, который мог показаться цензуре сомнительным.

Моя рукопись последовательно прошла пять цензур: обычную цензуру Главлита, военную цензуру для проверки, не просочилась ли секретная информация, специальную военную цензуру Главного разведывательного управления, цензуру Комитета государственной безопасности, Министерства иностранных дел и, наконец, часть книги согласовывалась с отделом науки ЦК КПСС. Казалось бы, что после такого «обкатывания» в книге не должно было ничего остаться. На самом же деле книга была написана, как выше уже говорилось, на едином дыхании и поэтому она могла быть искалечена, но идеи, заложенные в ней, вытравить до конца было невозможно. Это все равно как если бы вы попали в катастрофу, и хирург отрезал бы у вас ногу или ноги, или руки, но голову на всякий случай сохранил бы! Так и с книгой, которую пронизывает единая мысль, — ее можно редактировать, ампутировать отдельные ее части, но пока ее не зарубили окончательно, она существует.

Читателю, должно быть, будет любопытно знать, что же сделала цензура с текстом моей книги.

Цензура Главлита была начальной и заключительной. Свои суждения она основывала, главным образом, на мнении других цензур. По указанию Главлита рукопись и корректура

были посланы на просмотр в Министерство обороны, Комитет государственной безопасности и в Министерство иностранных дел.

Специальная цензура Главного разведывательного управления вычеркнула несколько очень важных страниц из моего интервью с бывшим начальником ГРУ маршалом Ф. И. Голиковым. Но об этом стоит рассказать подробнее...

Лифт поднимает меня на 3-й этаж. Довольно длинный коридор, налево и направо двери с дощечками. На дощечках вдруг вспыхивают знакомые имена — Маршал Советского Союза... Маршал Советского Союза... Генерал армии... Значит, это и есть «райский уголок»? Так в шутку называют военные между собой инспекторский отдел Министерства обороны СССР, где заслуженные воины, получив должности инспекторов Советской Армии, более или менее спокойно доживают свой век. Живут, как в раю... Отсюда и название — «райский уголок».

А вот и кабинет, который мне нужен. На двери дощечка: Маршал Советского Союза Голиков Ф. И. Стучу в дверь. «Входите, входите», — раздается голос и вслед за тем обладатель голоса идет мне навстречу. Он небольшого роста, с полированной головой, серовато-голубоватыми глазами, маршальский мундир, многорядные колодки орденов. Это и есть Филипп Иванович Голиков. Он приглашает меня сесть, и мы усаживаемся около широкого письменного стола. За другим столом, поменьше, сидит подполковник, адъютант маршала. Пошелестев немного бумагами, он затем удаляется.

Я излагаю маршалу цель своего визита. Рассказываю о задуманной мною книге «*1941, 22 июня*», книге, в которой я попытаюсь объективно рассказать о событиях, непосредственно предшествовавших нападению гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

— Вы, Филипп Иванович, — говорю я, — можете помочь мне прояснить ряд вопросов. По роду своих занятий (изучение истории Второй мировой войны) я столкнулся с некоторыми неясностями в истории Отечественной войны, особенно ее начала. Мне нужно прояснить их и как заместителю ответственного редактора X тома «*Всемирной истории*», посвященного истории Второй мировой войны, и как автору научно-популярной книги, подготовляемой к печати издательством «Наука».

Задолго до того как я получил согласие маршала Голикова на беседу, я познакомился с его биографией. Она, поистине, уникальна. Кажется, это единственный человек, который поочередно занимал все высшие административные должности в Министерстве обороны Советского Союза: начальник Главного управления кадров, начальник Главного разведывательного управления, начальник Главного политического управления. Во время войны — Главный координатор разведывательных служб, заместитель командующего и командующий фронтом. Много раз Ф. И. Голиков избирался депутатом Верховного Совета РСФСР и СССР, был членом Центрального Комитета КПСС. Маршал Голиков выполнял во время войны и военно-дипломатические поручения. Так, он был начальником военной миссии в Великобритании. Он написал несколько книг и статей — воспоминаний о гражданской и Великой Отечественной войне.

Я смотрю на Филиппа Ивановича и думаю: «Вот он приходит к Сталину…». Но пора начинать беседу.

С июля 1940 года маршал был начальником Главного разведывательного управления. Значит, именно он должен быть в курсе всех предупреждений о готовящемся нападении Германии на Советский Союз.

Я спрашиваю его: «За рубежом много говорят о предупреждениях, которые получал Советский Союз по различным каналам о готовящемся нападении. Создается впечатление, будто первое предупреждение относится к марту 1941 года. Я имею в виду сообщение заместителя государственного секретаря США Сэмнера Уэллеса советскому послу Константину Уманскому. Так ли это?»

Филипп Иванович отвечает твердо и уверенно: «Нет, это не так. Первые предупреждения поступили по линии советской военной разведки гораздо раньше марта 1941 года. Разведывательное управление проводило огромную работу по добыванию и анализу сведений по различным каналам о намерениях гитлеровской Германии, особенно и в первую очередь против Советского государства. Наряду с добыванием и анализом обширных агентурных данных, РУ тщательно изучало международную информацию, зарубежную прессу, отклики общественного мнения, немецкую и других стран военно-политическую и военно-техническую литературу и т. п. Советская военная разведка располагала надежными и проверенными источниками получения секретной информации в целом ряде стран, в том числе и в самой Германии. Поэтому американское сообщение не было, и уж во всяком случае не могло быть новостью для политического и военного руководства страны, начиная с И. В. Сталина».

(Ах, вот как! Это ведь очень важное заявление. Выходит, что сведения были, но тогда в чем же дело?) И я торопливо задаю маршалу следующий вопрос:

— Как относился Сталин к сведениям разведки?

И снова маршал отвечает спокойно:

— Мой ответ, более или менее обстоятельный, может быть дан лишь за советскую военную разведку. (Филипп Иванович — человек осмотрительный. С какой стати будет он

вмешиваться в дела разведки КГБ, Коминтерна, других источников информации? И все же он подчеркивает, что отношение к сведениям любой разведки было у вождя народов, видимо, одинаковое. Однако послушаем Голикова:)

— Как на эффективности, так и на конечных результатах работы советской военной разведки (видимо, и разведки других видов), несмотря на всю серьезность и своевременность представляемых данных, очень отрицательно сказывались:

- убежденность Сталина в том, что все утверждения и данные о подготовке руководящими силами гитлеровской Германии нападения на СССР и о приближающихся сроках этого нападения являются выражением и результатом широко задуманной и активно осуществляемой политической и военной дезинформации со стороны английских империалистов в лице Черчилля и английской разведки с тем, чтобы в их собственных целях столкнуть СССР и Германию в большой войне;
- настороженное отношение ко всем разведывательным данным с принятием из них, видимо, лишь того, что могло в той или иной мере подкрепить неправильные оценки Сталиным международной обстановки и военно-политической ситуации, но с отрицанием всего, что не соответствовало его концепции, особенно в отношении реальности германской военной угрозы и возрастания близости вторжения германской армии.

Видно, маршал подготовился к беседе неплохо. Его формулировки точны и предельно лаконичны. После встречи с ним мне пришлось много раз возвращаться мысленно к этой беседе. Я думаю о советской агентурной разведке — оРесслере, Маневиче, Радо и Зорге. Неужели все их труды пошли прахом? Мысль об этом казалась мне вначале столь дикой, что я даже поежился.

Но, оказывается, Филипп Иванович еще не закончил ответа на этот вопрос. Третьей причиной он считает «произвол периода культа личности Сталина, огульное недоверие и массовое истребление кадров партии, государства, вооруженных сил, в том числе и кадров военной разведки». Маршал утверждает, что в числе репрессированных или уничтоженных оказались «ценнейшие работники военной разведки как из числа руководящих лиц Центра, так и из числа заграничных работников. Кроме того, многие агентурные работники были очернены, оклеветаны, во вред делу отсечены от разведывательной работы и изгнаны из разведывательных органов».

Голиков подчеркивает, что работа военных разведчиков чрезвычайно осложнялась подозрительностью самого Сталина и его окружения. Однако маршал не уточняет, кого он имеет в виду персонально. Мгновенно я взвешиваю: уточнять или нет. Пожалуй, не стоит, нужно выслушать до конца.

— Это отношение, — продолжает Филипп Иванович, — особенно ощущали на себе те, кто возвращался на Родину из-за рубежа, тем более с агентурной работы. К ним относились с подозрением, очевидно, за ними следили (очевидно! Филипп Иванович, Филипп Иванович, и как Вам не ай-я-яй! Но эти слова я произношу про себя)..., а нередко необоснованно арестовывали. Хороших разведчиков нередко старались очернить еще и за рубежом. Эти условия весьма затрудняли работу советской военной разведки.

Филипп Иванович вздыхает и выжидательно смотрит на меня.

Вопрос. В ряде зарубежных книг сообщается о таком случае: руководство ГРУ доложило Сталину полученное сообщение, в котором была указана точная дата предполагаемого германского нападения на Советский Союз.

Прочитав это донесение, Сталин будто бы наложил резолюцию, которая примерно звучала так: «Это провокация и дезинформация. Виновного найти и наказать».

Ответ. Такой конкретный случай мне неизвестен. К тому же поставленный Вами вопрос, на мой взгляд, не представляет принципиального интереса. Суть дела — в общем отношении Сталина к донесениям советской военной разведки, а об этом уже сказано выше.

Вопрос о намечавшейся дате нападения гитлеровской Германии на Советский Союз представляет существенный интерес еще вот с какой точки зрения.

Как выяснилось после войны, становившиеся известными нам и докладывавшиеся высшим инстанциям даты вторжения Гитлер был вынужден неоднократно менять. Он откладывал их трижды вплоть до 22 июня.

Это весьма «усиливало» позиции Сталина против донесений разведки и стимулировало его уверенность в собственной правоте. Мало того, говорилось, что разведка дезинформирует и тем «льет воду» на мельницу Черчилля.

Надо самокритично признать, что эти переносы сроков нападения Германии на СССР, большая уверенность Сталина в своей точке зрения, сила его исключительного влияния оказывали воздействие на нас, вносили колебания, заставляя иногда принимать за английские происки совершенно правильные данные и сведения.

...Пройдет несколько месяцев и некто, возвращая мне корректуру моей книги *«1941, 22 июня»*, скажет, покрутив головой, с усмешкой: «Хитрит Филипп Иванович.., хитрит. Ведь он же сам, представляя разведывательную сводку Сталину 30 марта 1941 года, после важнейших сведений о предстоящем нападении Германии, написал: "Не исключено, что все эти сведения являются дезинформацией и

провокацией со стороны английской разведки". Вот ведь как обстояло дело».

Так вот что означали слова Голикова о воздействии Сталина на руководителей разведки! Попросту они, как и другие высшие чиновники Советского государства, подлаживались под умозрение и настроение Сталина и представляли ему дело таким образом, каким тот желал его видеть.

Выходит, что они жертвовали государственными интересами в угоду Сталину и ради сохранения своего высокого служебного положения... Эта мысль долго не давала мне, да и сейчас не дает покоя. И я вижу горы трупов, их миллионы — солдаты, погибшие в Великую Отечественную войну, и слышу голос Голикова: «Надо самокритично признать…» и голос некоего лица: «Хитрит Филипп Иванович...»

И другая мысль: ну, а как же сейчас, то же самое? Ведь система-то не изменилась, и, следовательно, возможны повторения. Информация просеивается, она проходит сквозь многочисленные фильтры, а потом докладывается самому высокому лицу в государстве, тому, чей голос будет решающим.

Венгрия — 1956! Куба — 1962! Как было там?! Судя по последствиям, что-то неладно было с информацией, или вернее, как и кем она докладывалась. А, может быть, и то и другое?!

Все эти мысли и сейчас будоражат меня.

...Но тогда был конец сентября 1964 года. И я сидел в кабинете маршала Голикова. Это было всего за 20 дней до свержения Хрущева.

Вопрос. Можно ли сказать, что Сталин попросту игнорировал те данные разведки, которые не укладывались в схему военно-политического положения, составленную им?

Ответ. Да, с моей точки зрения, дело обстояло так. Сталин считал, как я уже говорил, что Англия старается спровоцировать войну между Германией и Советским Союзом, а сама хочет использовать ее (войну) в своих собственных целях. Считая себя весьма искусным и хитрым политиком, Сталин полагал, что благодаря этим своим качествам, ему удалось расстроить английские планы в августе 1939 года и тем избежать войны с Германией. Действительно, соглашение Советского правительства с Германией в августе 1939 года было в наших интересах, и оно расстроило антисоветские планы правительств Англии, Франции и США. Однако Сталин продолжал и позднее — в 1940 и в 1941 гг. смотреть на международную обстановку теми же глазами. Он явно недооценивал Германию Гитлера как главного и решающего в то время противника СССР, переоценив при этом значение достигнутого с нею соглашения 1939 года.

Перед Великой Отечественной войной, — продолжал маршал, — когда английское правительство возглавил Черчилль, хитрый и многоопытный политик, старый враг Советской власти, Сталин, не разобравшись в новой обстановке, ко всем предупреждениям о готовящемся нападении гитлеровской Германии относился только как к английской провокации. Полагая, что Черчилль старается перехитрить его, Сталина, Сталин старался перехитрить Черчилля. А кончилось дело тем, что Сталин перехитрил сам себя во вред советскому народу, государству и коммунистической партии Советского Союза.

Вопрос. Создается впечатление, что к началу мая 1941 года в настроении Сталина наметились некоторые изменения. Об этом свидетельствует, в частности, его речь на выпуске слушателей военных академий 5 мая 1941 года, которую, очевидно, Вы сами слышали (Ф. И. Голиков

подтверждает это). Мне кажется также, что значительное влияние на умонастроение Сталина оказал полет Гесса в Англию. Каково Ваше мнение?

Ответ. Возможно, что после этого события Сталин начал относиться к сведениям разведки более внимательно, но это не изменило существа его позиции. Достаточно вспомнить содержание заявления ТАСС за неделю до вторжения гитлеровской Германии в Советский Союз и тот вред, который это исходившее от Сталина заявление принесло советскому народу.

...Я задаю маршалу еще ряд уточняющих вопросов. Голиков отмечает, что планы стратегического развертывания вооруженных сил гитлеровской Германии были предоставлены им политическому и военному руководству Советского Союза не позднее, чем в марте 1941 года... Следовательно, чуть ли не за 3 месяца до нападения?! Пытаюсь снова и снова уточнить этот важнейший вопрос и спрашиваю:

— Какова была реакция Сталина на первые сообщения о готовящемся нападении?

Ответ. Отрицательная, не верил.

Вопрос. К какому времени у Вас, как у начальника ГРУ, исчезли всякие сомнения в том, что немцы собираются напасть?

Ответ. Видимо, еще до конца 1940 года...

Я возвращаюсь домой и беспокойно и вроде бы бесцельно брожу по квартире. Эта проклятая мысль не дает мне покоя — если Голиков говорит правду, что у него еще до конца 1940 года не было сомнений, что Германия нападет, то как же он смел не настаивать на этом, не кричать, не вопить, не стучаться во все двери?! И внезапно другая, охлаждающая мысль: ну и что же было бы? Куда жаловаться, на что уповать? Тоталитарная система безжалостна и губительна

даже к самой себе. Подобно Урану, она пожирает своих сыновей, лучших из них, и губит прекрасные мысли, душит благородные порывы, глушит инициативу. И Сталин, и Голиков, и Х., и У. — все они рабы этой ужасной системы: они не могут существовать без нее, а она — без них, ибо они внутри нее. И все мы частицы этой системы и обслуживаем ее каждый на своем месте, кому что положено. Кто играет роль Сталина в микромасштабе, кто — Голикова. Только солдаты на поле брани не играют, они сражаются и побеждают или их побеждают, и тогда они умирают или бредут в плен, чтобы погибнуть либо там, в концлагерях, либо возвратившись домой, где-нибудь на Колыме.

...Но все же я пересиливаю себя и иду к письменному столу. Мне нужно поскорее составить запись беседы, отправить ее Филиппу Ивановичу на просмотр, а затем набраться терпения и ждать. И я жду, жду до 12 марта 1965 года, когда Голиков подписывает при мне интервью, а адъютант скрепляет печатью. Теперь этот документ принадлежит истории. Он уже не Голикова и не мой и будет жить своей собственной жизнью.

И жизнь этого документа начинается с того, что специальная цензура почти полностью выбрасывает его из моей книги «*1941, 22 июня*», которая все же выходит из печати в сентябре 1965 года, пройдя пять цензур. Но от документа Голикова остаются «рожки да ножки». Но теперь, спустя 11 лет, он снова оживает, он увидит свет, я знаю.

...Затем рукопись была послана в КГБ. По счастью, отзыв КГБ сохранился у меня, и я могу быть предельно точным в описании замечаний Комитета. Также сохранилось и мое письмо в издательство в связи с замечаниями КГБ. В отзыве КГБ указывалось (цитирую):

«По нашему мнению, автор не смог дать правильного анализа некоторых важнейших событий этого периода, так как в ряде случаев рассматривает и оценивает их с субъективных позиций».

Общая аргументация КГБ была крайне слабой, и поэтому Комитет пошел по проторенной, привычной дорожке обвинения автора в том, что он игнорирует советские источники, но широко использует буржуазные. В рецензии написано: «Излагая внешнюю и внутреннюю политику нашего государства в период после смерти В. И. Ленина, автор не сделал ни одной ссылки на решения соответствующих съездов КПСС и на постановления советского правительства, но зато заполнил многие страницы высказываниями Гитлера, Муссолини, Хорти, Антонеску, Риббентропа, Гесса, Мацуоки, бывшего немецкого посла в Москве Шуленбурга и других, а также (читатель, внимание! — *А. Н.*) выдержками из книг советских авторов, изданных в основном в период, когда субъективистский подход к оценке истории советского народа кое у кого стал превращаться в моду».

Таким образом, первым делом рецензент КГБ стремился зачеркнуть все, что было сделано советской исторической наукой, литературой, мемуаристикой за десятилетний послесталинский период. По счастью, из истории ничего выкинуть нельзя. КГБ отвергало сведения, сообщенные автору маршалом Голиковым и другими, поскольку «эти впечатления субъективны и не могут служить основанием для научных выводов». Да, КГБ было бы право, если интервью служили бы единственным источником информации для автора, но на самом деле (и об этом КГБ умалчивает) интервью были лишь одним из источников.

Для меня и для читателя большой интерес представляют конкретные замечания КГБ.

И здесь мне пришлось столкнуться с чрезвычайно любопытной историей, с которой я хочу познакомить читателя.

...Во время Второй мировой войны в Германии существовала советская разведывательная организация, тесно связанная с немецким движением сопротивления. Деятельность этой организации, известной под названием «Красная Капелла», была описана во многих книгах. Ее руководитель Шульце-Бойзен и большинство участников группы были в конце концов схвачены гестапо и казнены. К тому времени, когда моя рукопись попала на цензуру КГБ, деятельность «Красной Капеллы» весьма высоко оценивалась в советских официальных изданиях. Добавлю, что за последние десять лет «Красная Капелла» стала как бы хрестоматийным образцом подпольной подрывной деятельности против гитлеровского режима. За месяц до того, как моя рукопись попала в КГБ, в мае 1965 года журнал «*Новое время*» опубликовал интервью с уцелевшей участницей «Красной Капеллы» Гретой Кунгоф. В Германской демократической республике участники «Красной Капеллы» были причислены к сонму национальных героев немецкого народа. И вдруг совершенно неожиданно я читаю в рецензии КГБ следующее:

«На стр. 123–127 автор говорит о том, что антифашистская организация, известная под названием «Красная Капелла», передала в Москву ряд важных сведений, раскрывавших замыслы гитлеровской Германии. **Так как** в **деятельности этой организации имеется много неясного и сомнительного, вряд ли целесообразно упоминать о ней и тем более ссылаться как на источник получения важной информации»** (выделено мною — *А. Н.*).

Прочтя эти строки, я был поражен и заинтригован. Если КГБ имеет такое мнение о деятельности «Красной Капеллы»,

то почему же «Красную Капеллу» прославляют во всех советских и восточногерманских публикациях, посвященных движению Сопротивления и деятельности советской шпионской сети в Европе во время войны? И другой вопрос: что же было на самом деле?

Позднее мне стала известна одна из версий истории «Красной Капеллы». Не могу ручаться за ее достоверность, но требование КГБ снять всякое упоминание об этой организации очень смутило меня, и до сих пор я не рискую дать окончательный ответ на те вопросы, которые возникают. Утверждают (и мне говорили, что именно на этом и было основано замечание рецензента КГБ), будто «Красная Капелла» располагала радиопередатчиками малой мощности. Их мощности было достаточно, чтобы зашифрованные сведения Шульце-Бойзена и других, рисковавших жизнью, чтобы их добыть, достигли... специальной немецкой службы перехватов, расположенной в Восточной Пруссии, но мощности раций было явно недостаточно, чтобы эти сведения были приняты московским Центром. Если эта версия соответствует действительности, то перед нами одна из величайших трагедий подпольной организации, действовавшей во время Второй мировой войны.

Что же произошло в действительности? Этот вопрос еще ждет своего ответа.

...КГБ потребовал устранения из текста книги сообщения о том, что «аналитическая группа Главного управления погранвойск на основании донесений с границы составила накануне войны схему движения вражеской агентуры...» и что сравнение этой схемы с другими данными должно было неизбежно привести к вскрытию основных направлений предполагаемых ударов немецкой армии. В заключение в рецензии КГБ было написано: «Учитывая изложенное,

считаем, что книгу А. М. Некрича «*1941, 22 июня*» в теперешней редакции издавать нецелесообразно».

В другое время такого рода отзыв Комитета государственной безопасности означал бы смертный приговор книге. Но времена очень изменились после смерти Сталина. Внутренняя эволюция, проделанная за 12 лет, была огромной. КГБ утратил в значительной мере свое влияние, которым госбезопасность обладала в былые годы. Мнение Комитета стало необязательным для издательств. Его можно было в данном случае оспаривать. Это было всего лишь одно из мнений. Но не исключено, что это было временным явлением.

Прочтя отзыв КГБ, я решил немедленно парировать его. В письме в издательство «Наука» от 5 июля 1965 года я подробно разобрал все конкретные замечания КГБ, показал несостоятельность их, противоречие отзыва КГБ мнениям других компетентных рецензентов.

Примерно в это же время я был вызван в Главное разведывательное управление Советской армии, где мне был сделан ряд конкретных замечаний. Я с облегчением вздохнул: замечания были несущественными. Каково же было мое изумление, когда в корректуре, возвращенной из ГРУ, целые страницы моего интервью с маршалом Голиковым были перечеркнуты красным карандашом. Но делать было нечего. Надо было соглашаться с замечаниями немедленно и по возможности ускорить выход книги. Я чувствовал, особенно после торжественного празднования 20-ой годовщины со времен окончания войны, что ситуация меняется к худшему, хотя прежние установки еще не были официально изменены. К тому же мой опыт со статьей в «*Международной жизни*» подсказывал, что начался бег за временем, и это состязание может быть мною легко проиграно.

Поэтому через несколько дней я отправил в издательство «Наука» новое письмо, в котором сообщал, что мною внесены

исправления и дополнения в связи с замечаниями Военной цензуры и Комитета государственной безопасности.

Наступил решающий момент. Захочет ли КГБ еще раз просмотреть рукопись или удовлетвориться сообщением Издательства, что замечания приняты и рукопись исправлена? Звонок по телефону в Комитет — мне повезло. Комитет не требует рукопись на вторичный просмотр (иными словами, не желает брать на себя ответственность), а удовлетворяется сообщением издательства. Возвращается корректура и из Министерства иностранных дел. Кое-что придется снять, я соглашаюсь безоговорочно — время не ждет! Последний подстраховочный звонок в отдел науки ЦК КПСС, и рукопись отправляется в Главлит на последнюю визу. Наконец рукопись подписана. Я уезжаю в Крым и там ожидаю появления книги. Пока шла работа над рукописью в издательстве, неожиданно возникло новое, чисто техническое затруднение: все типографии издательства «Наука» загружены, рукопись может быть напечатана лишь к концу года. Меня прошибает холодный пот. А если произойдут какие-либо политические изменения — что тогда? Вывод напрашивается сам собой. Я договариваюсь с производственным отделом, что попытаюсь найти типографию. И я знаю, где ее искать. Мой фронтовой, очень близкий друг Арон Айнбиндер — директор типографии, принадлежащей Комитету трудовых резервов, но я знаю, что типография работает на хозрасчете и берет заказы со стороны. Арон соглашается взять мою рукопись, и это в конечном счете спасает книгу. Из Крыма бомбардирую Арона телефонными звонками: «Когда? Когда? Скорее! Скорее!..» Я не могу и не хочу объяснять ему всей сложности ситуации. Время подпирает.

И вот, наконец, книга выходит. Я получаю прямо из типографии первые 50 экземпляров и раздариваю их, потом покупаю еще и еще, пока это возможно и книга не поступила еще на склады книготорговых организаций.

...Наконец в октябре 1965 года книга появляется на прилавках. В течение трех дней 50 тысяч экземпляров раскупают. Первоначально хотели напечатать 80 тысяч, но затем издательство решило на всякий случай тираж сократить. Письма, телефонные звонки из Москвы, Ленинграда, Киева, из дальней провинции, из-за Полярного круга: слезно просят прислать книгу, достать невозможно. И я покупаю и шлю каким-то неведомым, но крайне симпатичным мне людям. Я раздаю, рассылаю 600 экземпляров, и сам остаюсь всего лишь с 15-ю и начинаю прятать их по разным сокровенным местам квартиры, чтобы приятели ненароком не захватили ее. Первая реакция на книгу просто восторженная. Меня поздравляют. В коридорах Института ко мне подходят знакомые и незнакомые люди, жмут руку, просят сделать надпись на книге. Иностранные агентства передают сообщения о книге за границу. В Польше, Чехословакии, Венгрии начинают книгу переводить. Югославская «*Борба*» печатает в нескольких номерах извлечения из книги. «*1941, 22 июня*» получает путевку в жизнь и начинает свою собственную, отдельную от автора жизнь. А жизнь самого автора начинает понемногу осложняться... Книгу хвалят, но ни один профессиональный журнал не желает печатать на нее рецензию. Откликается только «*Новый мир*». Главный редактор А. Т. Твардовский прочел книгу, и она ему очень понравилась. В январском номере журнала за 1966 год появляется большая рецензия Г. Б. Федорова. Совершенно неожиданно в газете «*Комсомолец Таджикистана*» где-то там в Душанбе появляется на развернутую полосу статья А. Вахрамеева «*Правде в глаза*». И на этом все кончается. Газеты и журналы Советского Союза дружно замалчивают книгу. И все же книга пробивает себе дорогу. Меня приглашают выступить с докладом в Военной академии. Вот что сообщала газета «*Фрунзевец*», орган Военной академии им. М. В. Фрунзе, в номере от 22 января 1966 года:

«Очередное заседание кружков отделения ВНО при кафедре истории войн и военного искусства было посвящено обсуждению книги доктора исторических наук тов. А. Некрича «*1941, 22 июня*» и вылилось в оживленное обсуждение вопросов подготовки и развязывания фашистской Германией войны против Советского Союза.

На занятии выступил автор книги. Он рассказал присутствующим о планировании гитлеровцами агрессии против СССР и о подготовке нашей страны к отпору врагу.

Своими мыслями по обсуждаемым вопросам поделились слушатели... Все выступления носили дискуссионный характер. Занятие вызвало большой интерес у членов Военно-научного общества и, несомненно, принесло им пользу».

Мое выступление в академии им. М. В. Фрунзе вызвало большой переполох в Главном политическом управлении Советской армии, руководство которого, особенно заместитель начальника генерал-полковник М. Калашник, встретили появление моей книги откровенно враждебно. Но была и другая реакция военных. Мой друг с давних времен Алеша Радус-Зенькович, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, председатель научного комитета по танкам Министерства обороны СССР, говорит мне:

— Знаешь, твоя книга принесла мне большую пользу. Я вновь продумал свои дела по службе, планы и решил кое-что изменить.

Я, конечно, не спрашиваю Алешу о подробностях. Это не принято, и меня это не касается, но я чувствую удовлетворение — есть и практическая польза от моей книги для военных. Вообще когда разговариваешь с военными один на один, без свидетелей и опасений, что могут подслушать, некоторые из них ругают нынешние порядки, особенно показуху, сообщают сами разные подробности о подготовке к войне в 1941 году, клянут некомпетентность начальства.

Эх, Алеша, Алеша. Два года тому назад умер он внезапно от разрыва сердца: привстал на стуле, охнул и свалился. Последнее время он был в отставке и работал заместителем директора одного военного института.

...Вскоре после моего исключения из партии Алеша перестал со мной встречаться, отвечать на телефонные звонки. Я понял, что ему хотелось бы прервать наши отношения... Я не слышал о нем ничего несколько лет, а потом узнал, что он умер. Оказывается, вскоре после моего исключения из партии его вызвали к начальству и предупредили, чтобы он перестал со мной встречаться. Говорят, он очень переживал это, но, разумеется, подчинился...

Между тем готовится широкая атака на мою книгу. Однажды ко мне в руки случайно попадает документ, из которого я узнаю, что Комитет по делам печати Совета министров СССР запросил ряд организаций и лиц их мнение о книге *«1941, 22 июни»*. Отзывы, полученные Комитетом, были положительными. Но это Комитет не устраивало: ему нужны были отрицательные отзывы. Запрашивают мнение и Отдела истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

«2 января 66

В КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Главному редактору общественно-политической
литературы тов. МАХОВУ А. С.

По Вашей просьбе книга А. М. Некрича *«1941, 22 июня»* (издательство «Наука», М., 1965) была обсуждена коллективом научных сотрудников 1-го тома труда *«История Великой Отечественной войны Советского Союза»* (руководитель — доктор

экономических наук профессор Г. А. Деборин). Ниже обобщаются основные замечания, сделанные товарищами...»

...В закрытом отзыве давалась в целом положительная оценка книги.

«...В заключение сообщаю, что, учитывая значительный интерес к книге А. М. Некрича, мы договорились с автором о ее обсуждении в Отделе истории Великой Отечественной войны, которое предполагаем провести в феврале с. г.

п. п. Заведующий Отделом

(Е. Болтин).»

В декабре 1965 года начальник этого отдела генерал-майор Болтин, с которым мы сотрудничали по изданию X тома «*Всемирной истории*», повстречав меня в Институте истории, спрашивает:

— Александр Моисеевич, мы хотим у себя в отделе обсудить Вашу книгу. Вы ничего не имеете против?

Разумеется, я соглашаюсь. Обсуждение назначается на 16 февраля 1966 года.

О резонансе, который получила книга, свидетельствует приглашение, полученное мною из секции общественных наук Президиума Академии наук СССР, выступить у них с докладом в связи с 25-летием нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. В этом докладе я повторил основные тезисы своей книги и подчеркнул, что тяжелое положение, в котором оказалась наша страна в результате немецкого вторжения, было в немалой степени вызвано неограниченной диктатурой Сталина.

Я сказал: «Главные причины такого тяжелого положения, которое создалось накануне войны, коренные причины заключались в том, что все решения принимались одним человеком. Справедливо будет сказать, что власть неограниченная ведет и к неограниченным ошибкам».

Каждый правитель СССР, и не только один Сталин, стремится к неограниченной власти: таким стал в конце концов Хрущев незадолго до своего свержения, таким возможно хотел бы стать Брежнев. Дело заключается, очевидно, не только в личности, а главным образом, в строе, который постоянно рождает больших и маленьких Сталиных.

* * *

16 февраля 1966 года в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС состоялось обсуждение моей книги. Уже с января до меня начали доходить слухи, что на обсуждении готовится разгром моей книги: сталинистски настроенные историки при поддержке Главного политического управления Советской армии, Комитет по делам печати Совета министров, Отдел науки и Отдел пропаганды ЦК КПСС готовят широкую кампанию на уничтожение моей книги. Естественно, что я был обеспокоен этим. Мне казалось, что объективное обсуждение книги может быть осуществлено только если придет как можно больше людей. Самое важное, повторял я себе и своим друзьям, своим коллегам в Институте, — это гласность. Подлости творятся в тишине, в темноте или при полупогашенном освещении. Открытость, яркий свет, даже просто свет, если не убивает подлость, интриги и прочую мерзость, то во всяком случае парализует их или, на худой конец, ослабляет.

Поэтому я просил всех распространять по возможности шире сведения о предстоящем обсуждении книги и приглашал всех желающих принять в нем участие, либо просто присутствовать на нем. Затем я позвонил в Институт марксизма-ленинизма и добился согласия на присутствие тех моих коллег по Институту истории, кто пожелал бы прийти.

...Дискуссия началась в небольшом зале, но желающих присутствовать было столько, что пришлось перенести заседание в конференц-зал. Пришло человек 200–250. Это была большая и представительная аудитория. Помимо сотрудников Института марксизма-ленинизма, Института истории, пришли сотрудники других академических институтов, большая группа военных, старые большевики, несколько участников демократического движения, в том числе Илья Габай и Леня Петровский, просто любопытствующие.

Председательствующий, начальник Отдела истории Великой Отечественной войны Советского Союза, генерал-майор Е. А. Болтин уже во вступительном слове заявил: «Откровенно говоря, мы не предполагали, что обсуждение примет такой широкий общественный характер. О намеченном обсуждении стало известно в Институте истории и в других научных учреждениях Москвы. Мы, разумеется, никому не препятствовали придти к нам». Болтин сразу же заявил, что у организаторов собрания не было намерения организовать «разгром» книги. Это было важное заявление, которое открывало путь к свободной дискуссии. Вместе с тем вынужденность этого заявления была очевидна и свидетельствовала о том, что такого рода намерения были отнюдь не чужды некоторым участникам собрания. Но определенная настроенность аудитории заставила их изменить тактику, отступить. Основной доклад был сделан профессором Г. А. Дебориным. Критический огонь Деборин сосредоточил против третьей главы книги. Особенное раздражение вызвало название главы «Предупреждения, которыми пренебрегли». Действительно, такого рода заголовок был, мягко говоря, необычным. Уже в самом заголовке прямо говорилось о том, что советское руководство пренебрегло сведениями, которые оно своевременно

получило о предстоящем нападении Германии. Деборин попытался переложить ответственность на Главное разведывательное управление Генерального штаба и персонально на его начальника маршала Голикова, на неправильную оценку военно-экономического потенциала Германии, которая была дана Институтом мировой экономики и мировой политики. Призыв Деборина идти глубже в критике культа личности Сталина практически сводился к тому, чтобы отвести критику от руководства, переложив ответственность на второстепенных лиц.

Обычная официальная советская интерпретация германо-советского пакта от 23 августа 1939 года заключалась в том, что этот пакт был очень ловким маневром в тех конкретных исторических условиях. Я же в книге *«1941, 22 июня»* впервые в советской литературе обратил внимание на то, что договор был прежде всего выгоден гитлеровской Германии. Деборин заметил по этому поводу: «Причина, почему Германия предложила СССР договор о ненападении, изложена так, что падает тень на последующее заключение этого договора Советским Союзом».

Такого рода заявление в советских условиях могло прозвучать как тяжелое политическое обвинение по самому острому и болезненному для советского руководства вопросу.

Критика Дебориным моей трактовки уничтожения Сталиным выдающихся военных деятелей — Тухачевского, Якира и других — в 1937 году вызвала взрыв негодования в зале.

Обратимся к стенограмме:

Деборин. Автор утверждает, что «тем, кто давал распоряжение об их аресте и суде над ними, должно было быть известно, что обвинения беспочвенны, а документы сфабрикованы». В такой редакции содержится обвинение в *нарочитом* осуждении безвинных, адресованное судебной

коллегии. А в ее составе были самые чистые люди, известные своей твердостью и неподкупностью. Они были введены в заблуждение.

(Голос с места: Коллегия руководилась уже готовым приговором.)

Деборин. ...Реплика, которая была здесь дана, неправильна. Нельзя считать, будто участники суда...

(С места: Они знали, знали!!!)

Деборин. ...будто они знали, что обвинение беспочвенно, а документы сфабрикованы.

(С места: Кто давал распоряжение?)

Деборин. ...Я говорю об этом потому, что здесь затрагивается честь и Блюхера, и Буденного, входивших в судебную коллегию, и других ее членов: Шапошникова, Белова, Дыбенко, Каширина, Горячева.

(С места: Все они палачи!)

Доклад Деборина, особенно это последнее замечание, сразу же накалило атмосферу, и председательствующий Болтин попросил не превращать обсуждения в крик.

Следующим выступавшим был подполковник Анфилов. Отвечая Деборину, вступившемуся «за честь Ворошилова и Буденного», он сказал о Ворошилове: «...у меня сердце кровью обливается, когда он стоит на трибуне мавзолея Ленина».

Всего на обсуждении выступило 22 человека, и 21 из них дали в целом книге «*1941, 22 июня*» положительную оценку. Многие настаивали на более углубленном анализе, приводили очень интересные и важные факты, поправляли и дополняли меня.

Но дело было не только в книге. Фактически то был разбор советской политики, военной неподготовленности Советского Союза накануне нападения гитлеровской Германии. Это был критический разбор работы советской

системы в обычных и чрезвычайных обстоятельствах, действий политических и военных руководителей.

Во время дискуссии были драматические столкновения: между Дебориным и Снеговым, старым коммунистом, проведшим двадцать лет своей жизни в сталинских лагерях. Деборин советовал Снегову подумать о том, в каком он лагере (т. е. на чьей стороне он находится), в ответ последовала реплика Снегова: «Я из лагеря на Колыме!» Голоса с мест: Это позор! Это позор!

...В середине дня был объявлен перерыв, и во время перерыва произошло событие, которое сгустило атмосферу дискуссии, сделало ее еще более напряженной, отчасти этим и была вызвана реакция Снегова, резкость тона Деборина и Болтина в конце заседания.

Среди прочих на дискуссии присутствовал научный сотрудник Института марксизма-ленинизма Андрей Свердлов. Кто такой Андрей Свердлов? Он был сыном Якова Михайловича Свердлова, сподвижника Ленина, председателя ВЦИК РСФСР. Чуть ли не с 20 лет Свердлов-сын стал работать в органах государственной безопасности, был повинен в пытках и уничтожении невинных людей. Полковник Андрей Свердлов был среди окружения Берии. После смерти Сталина и устранения Берии Свердлов, вместо того чтобы предстать перед судом за свои преступления, был послан Центральным Комитетом Коммунистической партии СССР в качестве научного сотрудника в Институт марксизма-ленинизма, где, очевидно, его практический опыт должен был найти какое-то применение...

Итак, этот самый полковник Свердлов был на дискуссии и во время перерыва написал донос в ЦК КПСС, который начинался словами: «В то время как я пишу это письмо, в Институте марксизма-ленинизма происходит антисоветское сборище...». Далее в драматических тонах Свердлов

описывал, по-своему, конечно, происходившую дискуссию. Написав донос, Свердлов показал его Болтину, чем, разумеется, вызвал у последнего смятение. Когда заседание возобновилось, Болтин сказал мне (мы сидели рядом за столом президиума): «Вы должны дать отпор выступлению Снегова».

— Почему? Здесь каждый высказывает свободно свою точку зрения. И Снегов делает то же самое.

— Александр Моисеевич, Вы обязательно должны отмежеваться от выступления Снегова. Ну, скажите, что Вы не нуждаетесь в подобной защите. Это в Ваших же интересах, уверяю Вас.

— Нет, я этого делать не буду.

Болтин не раскрыл мне подоплеки дела, но я почувствовал, что произошло нечто неприятное. Поэтому, желая разрядить атмосферу и не дать сталинистам обыграть дискуссию в свою пользу, я и начал свое выступление с примирительных нот (за это меня потом некоторые мои друзья нещадно ругали). Но я думал совсем не о себе, а о тех, кто выступал в дискуссии, ведь я-то свой выбор уже сделал...

Я начал свое заключительное слово так:

«Прежде всего, я считаю своим долгом сказать, что обсуждение, которое устроил Отдел истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма, представляет собой подлинную научную дискуссию, где каждый мог выступить со своей точкой зрения. И того накала страстей, к которому мы пришли в конце заседания, я думаю, могло бы и не быть. Я далек от мысли считать, что Г. А. Деборин, выступая от имени редколлегии 1-го тома, пытался как-то дезавуировать мою книгу. Я надеюсь, что он исходил из подлинно научных целей. Так и рассматривался вопрос во время дискуссии»...

При всех издержках дискуссия в ИМЭЛ'е была безусловной победой прогрессивного направления в исторической науке. И эта победа показывала, что историческая наука в СССР идет вперед, несмотря на всякие препятствия, что историки требуют, чтобы им дали возможность работать с первоисточниками, чтобы широкий обмен мнениями без боязни последствий сопутствовал их работе. Но самое важное заключалось в том, что при всех экивоках, оговорках и прочем историки отдают себе отчет в том, что главной причиной нашей неподготовленности к войне была система неограниченного произвола.

Через несколько дней после обсуждения в ИМЭЛ'е по рукам начала ходить краткая запись дискуссии, а еще через некоторое время эта запись была опубликована за границей.

Обсуждение в ИМЭЛ'е вызвало переполох в Главном политическом управлении Советской армии, в отделе науки и в отделе пропаганды ЦК. Главпур был встревожен тем, что в дискуссии приняли участие офицеры высокого ранга, и их выступления прозвучали очень остро. Немедленно после их выступлений началось систематическое преследование их, которое продолжалось несколько лет.

Начался нажим на меня. Инициатором выступил снова Комитет по делам печати, попытавшийся расправиться со мной руками Президиума Академии наук. В связи с этим мною было отправлено следующее письмо:

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ РИСО АН СССР
академику М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВУ

Глубокоуважаемый Михаил Дмитриевич!

В письме Президенту Академии наук акад. М. В. Келдышу от 19 мая с. г. председатель Комитета по делам печати Н. Михайлов грубо исказил факты, касающиеся моей книги «*1941, 22 июня*», опубликованной издательством «Наука» в 1965 г.

Н. Михайлов утверждает, будто «книга вызвала протест со стороны многих офицеров и генералов, о чем сообщалось в статье газеты «*Красная звезда*».

На самом же деле газета «*Красная звезда*» никакой статьи по поводу моей книги не опубликовывала. Н. Н. Михайлов просто обманул академика М. В. Келдыша. Но этой прямой фальсификацией фактов он выдал вместе с тем свое тенденциозное отношение к моей книге, против которой возглавляемый им Комитет по делам печати ведет организованную травлю.

Что же касается печати и общественности, то реакция ее была прямо противоположной той, которой добивается Н. Михайлов.

Положительная оценка моей книги была выражена в рецензиях, опубликованных в журнале «*Новый мир*» (№ 1, 1966 г. Автор — доктор ист. наук Г. Б. Федоров. «*Мера ответственности*») и в газете «*Комсомолец Таджикистана*» (9 янв. 1966 г. Автор — А. Вахрамеев. «*Правде в глаза*»), а также на общественном обсуждении книги, которое состоялось по предложению Комитета по делам печати в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 16 февраля 1966 г. В дискуссии приняли участие 22 видных советских гражданских и военных историков Великой Отечественной и Второй мировой войны. Всего же присутствовало до 200 человек.

Книга была также тепло встречена печатью социалистических стран, опубликовавших рецензии и обширные извлечения из книги. В настоящее время «*1941, 22 июня*» переводится в Польше, Чехословакии, Венгрии.

Наконец, письма, полученные автором и издательством «Наука» от читателей, также свидетельствуют о благоприятной реакции общественности на выход книги «*1941, 22 июня*».

Можно было бы привести много примеров из писем читателей, но ограничусь лишь одним: писатель К. Симонов прислал благодарность автору «за важную и честную книгу на самую трудную тему».

Таковы факты.

В связи с выступлением Н. Н. Михайлова по поводу моей книги я хотел бы обратить Ваше внимание на ту кампанию, которую ответственные руководители Комитета по делам печати ведут уже несколько месяцев против книги и ее автора. Причем, приемы, к

которым они прибегают, воскрешают в памяти зловещие времена культа личности. Вот несколько примеров.

Комитетом были заказаны закрытые рецензии (т. е. гарантирующие сохранение анонимности) научным учреждениям и отдельным лицам. Однако результаты оказались для «заказчика» разочаровывающими, так как большинство полученных рецензий были положительными, и, таким образом, попытка учинить разгром книги «от имени общественности» оказалась сорванной. Обсуждение книги в Институте марксизма-ленинизма также оказалось неблагоприятным для некоторых лиц из Комитета по делам печати. Тогда против книги началась кампания по административно-пропагандистским каналам. Пользуясь своим служебным положением, руководители Комитета выступали на разного рода совещаниях с заявлениями, очерняющими книгу и ее автора.

Здесь работникам Комитета удалось достигнуть некоторых «успехов»: ряд журналов, собиравшихся опубликовать на книгу положительные отзывы, вынуждены были от своего намерения отказаться («*Наука и жизнь*», «*Новая и новейшая история*»). Имеются и другие факты того же порядка.

Конечно, не исключено, что Комитету удастся в конце концов «пробить» где-нибудь отрицательную рецензию. Ведь нажим оказывается колоссальный...

В заключение мне хотелось бы сказать еще следующее: в только что вышедшем из печати номере «*Военно-исторического журнала*» (1966, № 6) опубликована статья первого зам. министра обороны маршала А. Гречко, посвященная 25-летию нападения Германии на Советский Союз (она же в несколько сокращенном варианте напечатана в журнале «*Новое время*» № 25 от 17 июня с. г.). Основные положения и выводы этой статьи полностью совпадают с интерпретацией событий и выводами автора книги «*1941, 22 июня*». Решится ли Комитет по делам печати обвинить и маршала Гречко в «тенденциозности и односторонности»?!

С уважением

доктор исторических наук,
ст. научный сотрудник Института истории
АН СССР
(А. М. Некрич)

21 июня 1966 года»

В феврале 1966 года в Москве прошел процесс над двумя писателями — А. Д. Синявским и Ю. Даниэлем. Оба они печатали свои произведения под псевдонимами за рубежом. Их обвиняли в том, что будто бы в своих произведениях они выступали за свержение советской власти. «Новым словом» в советской юриспруденции было то, что личность обвиняемых и их литературных персонажей идентифицировалась судом. И таким образом обвиняемым приписывали высказывания и намерения... героев их произведений! Вот на каком уровне находится закон в нашей стране. Второй примечательной особенностью процесса было то, что в нем в качестве свидетеля обвинения приняла участие литературный критик З. Кедрина, которая и старалась доказать виновность подсудимых выдержками из их литературных произведений. Принял участие в качестве эксперта по вопросам лексики известный ученый-лингвист В. В. Виноградов.

Многие московские интеллигенты были возмущены процессом, но многие возмущались Синявским и Даниэлем, зачем, мол, они писали под псевдонимами, а не под своим собственным именем. Иезуитизм и нечестность этих рассуждений прямо «били в нос»: печатать под своим именем или под псевдонимом — разве это не личное дело писателя? Кстати, в России всегда была традиция выступать под псевдонимами. Никому, например, не придет в голову упрекать В. И. Ульянова за то, что он выбрал себе литературный псевдоним Н. Ленин! Скрябин выбрал псевдоним Молотова, Бронштейн — Троцкого, а Джугашвили — Сталина. Да мало ли, очень часто политические деятели оппозиционных направлений, а не только писатели предпочитали не выступать под своим собственным именем, а под псевдонимами.

Меня в этом процессе не столько обескуражило поведение Кедриной, которая, возможно, была близка к

органам безопасности, сколько академик Виноградов, действительно значительная фигура в науке, который согласился принять участие в этой судебной расправе.

Процесс Синявского — Даниэля и был рубежом между антисталинизмом Хрущева и конформизмом Брежнева. Очень скоро, буквально в течение нескольких последовавших за процессом месяцев, мы почувствовали резкое ухудшение политической ситуации внутри страны. Я был одним из первых, кто ощутил это на своей собственной шкуре. Но все-таки до начала нового этапа моих волнений оставалось несколько месяцев. А тем временем...

...Тем временем мы отправились с Надей, моей будущей женой, в Литву на чудное озеро Дубянгяй и провели там наш неофициальный медовый месяц. Мы поженились спустя полгода в самый разгар бури, разразившейся надо мной.

Возвратимся, однако, назад, ибо «дело Некрича» невозможно правильно понять, не зная того, что происходило в эти годы в Институте истории Академии наук СССР.

* * *

14 октября 1964 года я уехал с туристической группой нашего Института в Финляндию на 9 дней. Смещение Хрущева застало нас в Хельсинки. Здесь произошел любопытный эпизод. Корреспондент хельсинской газеты спросил одного из моих коллег: «Слышали ли Вы о смещении Хрущева?»

— Нет, — ответил тот.

— Но что Вы думаете об этом?

— Нас это не интересует! — отрезал мой коллега.

Ответ был, конечно, потрясающим, но в нем и заключалась квинтэссенция поведения «хомо совьетикус», который больше всего на свете боится попасть на газетные

полосы иностранной печати. Да и в самом деле, ведь ему могли бы никогда больше не разрешить выезжать за границу...

Вернувшись из Финляндии, я узнал, что меня заочно выбрали в партийный комитет Института. Кажется, я шел чуть ли не последним или предпоследним по количеству полученных голосов. Затем я был переизбран дважды, в 1965 и в 1966 году. Таким образом, в составе парткома я был в течение 3-х очень непростых и для Института, и для меня самого лет. Партком состава 1964 года был избран сразу же после смены руководства партией, и несбалансированность общей ситуации сказывалась и на составе парткома. В нем, как в Ноевом ковчеге, было «всякой твари по паре» — и прогрессисты, и сталинисты, и те, кто принадлежал к своей собственной партии, т. е. откровенно использовали свое положение членов парткома ради карьеры. Секретарем была избрана Елена Голубцова, бывший председатель профсоюзного комитета нашего Института, женщина покладистая, готовая выполнять любые указания «сверху» и очень зависящая от директора Института Владимира Михайловича Хвостова. Хвостов же был человеком властным, очень сухим, в то же время умным, образованным и честолюбивым. В конце 1964 и почти весь 1965 год мы еще жили в «хрущевском мире», и заряд, заложенный в нас XX, а затем XXII съездами партии, еще не потерял своей силы. Партийная организация, насчитывавшая около 300 человек, в своем подавляющем большинстве была настроена антисталинистски, но размежевание стало постепенно обозначаться более четко. Большим влиянием пользовались в то время в коллективе ученые, старавшиеся отойти от догматизма и конформизма, пытавшиеся переосмыслить историю нашей страны с более реальных и объективных позиций. Все большее внимание привлекали проблемы

методологии истории, новые методы исследования, новые веяния в исторической науке. В Институте начал работать постоянный научный семинар, специально занимавшийся проблемами методологии. Здесь выступали, делали доклады и дискутировали, я бы сказал, наиболее способные исследователи в области общественных наук, работавшие как в нашем институте, так и за его пределами. Фактически руководил сектором и семинаром очень оригинальный историк, ученик А. Л. Сидорова, Михаил Яковлевич Гефтер, которого некоторые в шутку, а, может быть, и всерьез называли «генератором идей». Человеком он был сложным, и путь его был непростым. Но в конечном счете в 60-е и 70-е годы он проявил себя не только как одаренный историк, но и как человек, занявший очень четкие антисталинские позиции. Гефтер был убежденным марксистом, вдумчивым и глубоким. Он стремился вновь открыть Ленина, очистить ленинизм, во всяком случае методологические основы понимания исторического процесса от вульгаризаторских наслоений и мифов. Гефтер и некоторые другие профессионалы в области общественных наук, посещавшие его семинар, искренно хотели улучшить марксизм, добиться его правильного понимания, продолжить разработку ленинизма применительно к нашему времени.

Отношение мое к «улучшателям» (так их иронически называли) было двойственным. С одной стороны, во мне все более крепло убеждение, что нет никакого смысла заниматься улучшением марксизма. Это все равно что вливать новое вино в продырявленные меха. Обсуждая этот вопрос с друзьями из числа «улучшателей», я обосновывал свою точку зрения тем, что претензии на универсальность марксистской теории исторически не оправдались. Я признавал марксизм как один из возможных и даже

необходимых методов исследования и анализа исторических явлений, но лишь в сочетании с другими методами.

История советского общества, история становления подобного же общества в других странах, где коммунистические партии взяли власть, показала, что провозглашенное марксизмом освобождение от эксплуатации частного предпринимательства оказалось на практике установлением еще более нещадной эксплуатации трудящихся классов со стороны государства, выступающего в роли единственного работодателя. Мне кажется, что в этом и заключается суть проблемы социалистического общества. Зависимость человека от государства буквально во всем — в работе, в идеях, в образовании, в строго регламентированном образе жизни, даже в частной жизни — стала поистине тотальной. В этом смысле Советский Союз абсолютно правильно характеризовать как тоталитарное государство социалистического типа. В теории социалистическое общество действительно выглядело как общество идеальное. И не случайно поэтому, что очень многие честные, бескорыстные люди примкнули к русскому революционному движению, боролись за революцию, во имя революции, даже сами порой не замечая, что происходит трансформация не только общества и государства, но только сначала очень незаметная, но постепенно все более ощутимая трансформация идеи, за которую они борются, — от идеи оставалась одна оболочка, лозунги, камуфляж. Но самое главное — происходила значительная, но, увы, почти необратимая перемена в них самих: увлеченные идеей революционного преобразования мира, они утрачивали постепенно естественные и необходимые для человека качества: терпимость, дружбу, любовь, чувство человеческой, а не только пролетарской взаимопомощи. Нормальные критерии человеческого общежития — порядочность, искренность, честность — начали рассматриваться лишь в их

классовом применении: быть порядочным, но лишь по отношению к рабочему классу, быть честным — по отношению к своей коммунистической партии. Все, что хорошо для партии, — хорошо и для тебя. Здесь ты должен быть искренним, честным, преданным, готовым выполнить любое, я подчеркиваю, любое задание партии. И мы знаем, какой кровавой рекой обернулась эта слепая, истовая вера, этот отказ от веками проверенных простых правил человеческого общежития.

Анатоль Франс своим глубоким проникновением художника гениально схватил суть дела. В романе «*Боги жаждут*» он нарисовал очень реалистичный психологический портрет прокурора Конвента Эвариста Гамлена, который из идеалиста превращается в кровавое чудовище, отправляющее под нож гильотины многие и многие десятки невинных людей. Таких Эваристов русская революция порождала сотнями, а может быть, и тысячами. Они возникали, уничтожали других, а потом кровавая река уносила и их.

Вот почему, когда мне говорят, что возможно улучшить марксизм, что возможно очистить ленинизм, я отвечаю: «Нет!»

Нет, потому что в основе марксизма-ленинизма лежит культ насилия, признания насилия как первоначального и необходимого элемента для переустройства общества.

Нет, потому что в Советском Союзе марксизм-ленинизм на практике привел к уничтожению общества как саморегулирующегося организма, подчинил его государству, а затем растворил общество в государстве.

Нет, потому что основой социалистического государства-общества является признание правильной и справедливой одной-единственной идеи.

Нет, потому что признание правильной и справедливой лишь одной коммунистической идеи является не добровольным делом каждого, а обязательным. Конформизм

общества освящен конституцией государства. Выход за рамки коммунистического конформизма является преступлением.

Нет, потому что советский конформизм породил лицемерие и жестокость общества, пронизывающие его сверху донизу.

Нет, потому что права меньшинства не защищены законом.

Нет, потому что те многомиллионные жертвы, которые приносятся во имя идеи марксизма-ленинизма, не могут быть оправданы никакой идеей.

Нет, потому что все эти жертвы используются в конечном счете партийно-государственной элитой ради власти и своих мелких корыстных интересов.

Вот почему я считал и считаю, что те, кто искренне верит в возможность улучшить марксизм, на самом деле лишь тешат себя иллюзией.

В эти послесталинские годы было немало молодых людей, воспринявших остро критически нашу действительность и выражавших свое возмущение со всей непосредственностью юности. Одни из них создавали кружки, в которых обсуждали жгучие общественные проблемы, другие пытались изложить свои мысли на бумаге, писали трактаты, новые «Истории коммунистической партии», большинство из них потом оказывались в лагере и возвращались оттуда, как правило, поникшими. Но это касалось не всех, конечно.

...Вскоре после избрания осенью 1964 года нового состава партийного комитета возникло так называемое «дело Пузырева».

Олег Пузырев был человеком сложным. В детстве он перенес две страшные болезни — полиомиелит и менингит. Передвигался он мучительно трудно, на костылях, но его физические мучения, видно, еще более обострили его природный ум. Близко знавшие его люди говорили, что Пузырев — «человек необычайного ума и кристальной

честности». Он окончил Историко-архивный институт в Москве. Дипломная работа, написанная им, была посвящена партизанам Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Работа эта была не только оригинальной, но и взрывоопасной. Пузырев установил, что тот, кого привыкли считать одним из руководителей подмосковных партизан, был на самом деле провокатором, сотрудничавшим с немцами. Умозаключения Пузырева были безупречны с точки зрения логики, но совершенно недоказуемы с юридической стороны.

На теоретическом семинаре в 1961 году в разгар антисталинской кампании Пузырев выступил в защиту Сталина. Поступив в Институт истории, Пузырев сразу же избрал тему диссертации. Его научным руководителем стал один из самых даровитых современных историков СССР Юрий Вартанович Арутюнян. Пузырев близко сошелся с работавшим тогда в Институте истории Петром Якиром, способным молодым историком Макаровым, другом Якира, позднее перешедшим из Института на работу в Комитет государственной безопасности. Для психологической характеристики Пузырева любопытен такой штрих: однажды он спрыгнул с парашютом с вышки в Центральном парке культуры и отдыха в Москве и сломал единственную здоровую ногу. В то время он работал (по линии общественной) агитатором на одном из московских заводов, где пользовался любовью рабочих. Когда с ним случилось новое несчастье, многие рабочие приходили его навестить.

Отец Пузырева работал в отделе кадров одного из учреждений, т. е. по роду своей работы либо был сотрудником госбезопасности, либо был тесно с ней связан. Пузырева приняли кандидатом в члены КПСС. Весной 1965 года возникло «дело Пузырева».

Олег Пузырев написал небольшое исследование о социальной структуре советского общества, фактически это

было исследованием советской элиты. Трудно сказать, что он собирался делать с этим исследованием дальше, но прежде всего он попытался перепечатать его на машинке и не нашел ничего лучшего, как отдать рукопись машинистке из Центрального архива Октябрьской революции. Машинистка, едва начав перепечатывать манускрипт, увидела, что в нем содержится крамола, то ли с перепугу, но скорей всего потому, что она была связана с органами государственной безопасности, напечатала один экземпляр лишний и отправила его куда следует. Оттуда переслали рукопись в партком Института и предложили разобраться. Так парткому пришлось столкнуться с делом Пузырева. Мне тоже пришлось читать эту рукопись. Пузырев подвергал в ней критике нашу элиту с точки зрения убежденного, «чистого» ленинца. Но с точки зрения послехрущевского руководства это было антипартийное выступление. Защищать Пузырева в тех условиях было чрезвычайно трудно. Первоначально «дело Пузырева» разбиралось на собрании первичной партийной организации в отделе истории советского общества. Некоторые втайне сочувственно относились к Пузыреву, другие просто считали его невольной жертвой хрущевской эры, третьи хотели использовать нежданно-негаданно подвернувшееся «дело», чтобы организовать атаку на прогрессивные элементы в Институте. Были крикливые, истошные выступления, напоминавшие сталинские времена. Были выступления разумные, рассудительные. Большинство склонялось к исключению из партии — мера суровая и чреватая увольнением с работы. Необычайно благородно повел себя Юра Арутюнян, заявивший, что он разделяет ответственность, и предложивший взять Пузырева к себе в дом и помочь ему найти правильное понимание действительности. «Я буду жить с Пузыревым, как брат с братом», — сказал Арутюнян. Софья Якубовская предложила

ограничиться взысканием, но большинство голосовало за исключение. Затем дело перешло в наш партком. Было решено Пузырева из кандидатов в члены КПСС исключить. Директор настаивал на немедленном удалении Пузырева из Института. Это требование было незаконным. Представитель профсоюза в секторе, где работал Пузырев, Якубовская категорически отказалась подписать бумагу об увольнении. Начался конфликт. Кончилось дело все-таки тем, что исключенный из КПСС Пузырев после длительных мытарств был пристроен в библиотеку химического Института им. Менделеева. Так окончилось «дело Пузырева». Начальство «наверху» не желало раздувать этого дела, так как не хотело создавать вокруг Пузырева, действительно физически неполноценного человека, ореола мученичества. К тому же Хвостов использовал все свое влияние, чтобы загасить это дело. На заседании партийного комитета Хвостов произнес гневную речь. «Откуда это? — восклицал он. — Это от книг Солженицына. Это от книг Залыгина». Хвостов стоял во весь свой длинный рост, чуть пригнувшись вперед, и было видно, как он взбешен... Никто ему не возражал.

Дело Пузырева подтверждало, что за десять лет после смерти Сталина в советском государстве возникли ростки свободной мысли, появилось общественное мнение и осознание своей ответственности за то, что происходит.

В то время, когда Институт лихорадило в связи с «делом Пузырева», на него надвигалось новое дело — «дело Некрича». Как раз в это время моя рукопись «*1941, 22 июня*», мытая-перемытая в пяти цензурах, наконец-то была подписана на выход в свет. Предвидя, что меня ожидают крупные осложнения, и не желая, чтобы пострадал Институт, я отказался от предложения дать институтский гриф моей книге. Таким образом, я принимал на себя полную и единоличную ответственность за эту книгу. Здесь я оказался провидцем на все сто процентов.

Параллельно выходил из печати завершающий X-й том «*Всемирной истории*», посвященный истории Второй мировой войны, фактическим редактором которого был я. Следовало ожидать осложнений и с этой стороны. Ведь X-й том содержал те же мысли, что и «*1941, 22 июня*», хотя, конечно, многое было смягчено.

По счастью, рецензии на X том были благожелательными. Отношение коммунистов Института истории к «*1941, 22 июня*» было продемонстрировано на новых выборах партийного комитета осенью 1965 года: я был избран подавляющим числом голосов.

На этот раз в партийный комитет были выбраны люди, зарекомендовавшие себя как сторонники прогрессивного направления, профессионалы высокой квалификации. Восемь докторов наук вошли в состав парткома. Такого еще не бывало в истории Института. Напуганный директор В. М. Хвостов не пожелал войти в состав партийного комитета такого направления и дал себе самоотвод. Случай почти небывалый, ибо невхождение директора в партийный комитет означало, как правило, выражение недоверия ему либо со стороны коллектива, либо со стороны вышестоящих органов и влекло за собой обычно замену директора. Не пожелал войти в состав партийного комитета и первый заместитель директора Л. С. Гапоненко, который также дал себе самоотвод. От дирекции вошел в состав парткома другой заместитель директора — А. Штрахов.

Уже с самого начала существования нового парткома начались осложнения. На первом организационном заседании партийного комитета было решено избрать секретарем парткома К. Тарновского, талантливого ученого в области истории русского империализма, ученика А. Л. Сидорова. Незадолго до того Тарновский несколько раз позволил себе выступить с резкой критикой состояния

исторической науки в изучаемой им области и показал, что в науке процветают шовинистические представления, ничего общего не имеющие с марксизмом. На заседание парткома приехал второй секретарь Октябрьского районного комитета партии г. Москвы Борис Николаевич Чаплин. Он был довольно любопытной и не совсем обычной фигурой в партийном аппарате. Сын секретаря Центрального Комитета комсомола, расстрелянного в 1937 году, и муж дочери другого секретаря ЦК комсомола — Мильчакова, посланного в лагерь, Чаплин окончил Московский авиационный институт и уже после 1956 года — аспирантуру при нем, стал кандидатом технических наук. После реабилитации отца ему предложили пойти на партийную работу, и он согласился. Чаплин быстро выдвинулся и стал сначала вторым секретарем райкома в Октябрьском районе города Москвы, а после его разделения — первым секретарем Черемушкинского райкома. Несколько лет тому назад он был назначен послом в республику Вьетнам. Чаплин был человеком неглупым, тактичным, выдержанным. В институтах к нему относились с уважением, поскольку Чаплин так или иначе принадлежал к миру науки, а следовательно, не мог быть оголтелым сталинистом.

Начав с комплиментов вновь избранному составу парткома, Чаплин без особых оснований выступил против кандидатуры Тарновского, но натолкнулся на дружный отпор. Первое заседание ни к чему не привело, и пришлось собраться еще раз. На этот раз Тарновский просил его не избирать и, по предложению Чаплина, секретарем был избран Виктор Петрович Данилов. Против кандидатуры Тарновского вел за кулисами борьбу директор института В. М. Хвостов. Он вынужден был в конце концов согласиться на кандидатуру Данилова, надеясь прибрать его к рукам. Данилов был кандидатом наук, специалистом в области

истории коллективизации. Под его руководством была подготовлена история коллективизации, которая была призвана дать, наконец, научный анализ событию, которое перевернуло весь уклад жизни Советского Союза, разрушило производительные силы сельского хозяйства и послужило причиной хронического кризиса недопроизводства сельскохозяйственной продукции на протяжении 45 лет. Конечно, авторы этого труда, в том числе и сам Данилов, не писали об этом прямо и в таком духе. На основании изучения источников и материалов они попытались нарисовать по их мнению объективную картину коллективизации сельского хозяйства. Разумеется, что методологической основой исследования был марксизм-ленинизм. Так ведь другой методологии историки моего поколения и поколения Данилова (младше меня на 10 лет) просто не знали. Как полагается в таких случаях, эта работа бесконечно рецензировалась, исправлялась, редактировалась, засылалась на отзывы в «инстанции», но в свет не выходила. Главным препятствием к выходу работы в свет был С. П. Трапезников, заведующий отделом науки ЦК КПСС, убежденный сталинист, сам специалист в области истории сельского хозяйства в СССР. В течение многих лет Трапезников тормозил издание этой работы. А затем появилась его собственная двухтомная работа...

Данилов принадлежал к историкам прогрессивного направления, к тем, кто в политическом плане выступал за последовательную реализацию программы XX и XXII съездов партии, против догматизма. По моему убеждению, добросовестный историк не может не войти в конце концов в конфликт с мертвой догмой марксизма-ленинизма. В последние десятилетия, правда, появилась манера включать в марксизм и объявлять его неотъемлемым достоянием те веяния в общественных науках, которые не противоречили

генеральному конформистскому направлению. Многие историки, давным-давно понявшие, что на путях марксизма им уже ничего не достигнуть, начали объявлять достоянием марксизма всякую здравую мысль, которая возникла у них в ходе исследования. Как правило, это благополучно сходило с рук.

По своему характеру новый секретарь парткома был человеком мягким и, к сожалению, подверженным разного рода влияниям. Из-за этого он иногда вовлекал партком в совершенно ненужные истории, которые лишь осложняли положение в Институте, не принося никакой пользы. Данилов стремился демонстративно строго соблюдать формальную демократию. На заседаниях партийного комитета он часто отстраненно наблюдал, как атакуют партийный комитет сталинисты, давая им полную возможность говорить все, что им придет в голову. В результате мы теряли многие часы в бесплодных прениях. Оппозиционная часть партийной организации Института, настроенная просталинистски и готовая применить любые методы в борьбе против парткома, очень быстро использовала эту слабость Данилова, а, следовательно, и слабость партийного комитета в интересах борьбы против него и разнузданных выступлений против отдельных членов парткома. Некоторая невротичность натуры Данилова часто накладывала болезненный отпечаток на многие дела парткома. Однако в иных сложных обстоятельствах Данилов держался молодцом.

Подавляющее большинство членов партийного комитета считало, что задача партийного комитета заключается в создании наиболее благоприятных условий творческой жизни для сотрудников Института. Свобода защиты своего научного мнения без боязни быть ошельмованным и обвиненным в политических преступлениях была стержнем

программы партийного комитета. Партком полагал, что единственной гарантией свободы мнений является демократизация всей жизни научных учреждений и, в частности, нашего Института. Следует сразу же оговориться, что речь шла о демократизации в рамках советской идеологии, ни о каких «буржуазных» свободах и речи не было. Однако мы полагали, что даже в тех строго лимитированных и контролируемых условиях нашей жизни мы не используем законные возможности для развертывания научных дискуссий. Партийный комитет надеялся освободить сотрудников Института от унижающего их достоинство чувства зависимости от воли начальства. С этой целью партийный комитет выдвинул проект демократизации всей жизни Института сверху донизу и предложил изменить порядок выборов директора Института, его заместителей, заведующих секторами, старших и младших научных сотрудников.

Согласно существующим в Академии наук правилам, директор Института избирается тайным голосованием членов соответствующего отделения, а затем утверждается Президиумом Академии наук. Как правило, такое голосование является чистой формальностью, так как кандидатура директора предварительно согласовывается и утверждается в ЦК КПСС, а лишь потом выносится на тайное голосование в Академии наук.

Проект партийного комитета заключался в том, чтобы директор, его заместители и заведующие секторами избирались путем тайного голосования с участием всего научного коллектива института. Таким образом, деятельность руководства институтом находилась бы под прямым контролем коллектива, и директор думал бы не только о том, угоден он или не угоден вышестоящему начальству, но также и о том, насколько его деятельность соответствует интересам

научной деятельности коллектива. Партком также хотел, чтобы старшие научные сотрудники избирались тайным голосованием не на заседании Ученого совета, а всем составом старших научных сотрудников, а младшие научные сотрудники — всем коллективом младших научных сотрудников. Таким образом, существовала бы прочная обратная связь между коллективами и отдельными его членами. Эти предложения должны были быть предварительно широко обсуждены не только Ученым советом, но и в низовых партийных организациях, на заседаниях секторов и т. д. Партийный комитет подготовил соответствующий доклад, но ничего больше в этом направлении сделать не удалось: начались новые идеологические штормы, и корабль партийного комитета понесло по бурному морю.

Партийный комитет решительно выступил против бездельников, окопавшихся в Институте и в течение многих лет не дававших никакой продукции. Как правило, то были демагоги, запугивающие коллективы, где они работали, обвинениями политического характера. Партийный комитет Института повел серьезную борьбу против этих людей, особенно уютно чувствовавших себя в секторе новейшей истории западноевропейских стран, которым руководил уже упоминавшийся выше Н. Саморуков. Обсуждение на партийном комитете состояния дел по важнейшему объекту работы сектора — истории рабочего движения — вскрыло серьезное неблагополучие там. Однако решение партийного комитета сменить руководство сектора натолкнулось на противодействие директора Института Хвостова, который охотно держал в своем резерве группу бездельников, чтобы в случае необходимости натравливать их на «непокорных» сотрудников. Принцип Хвостова был примитивно прост. Он изложил его как-то в припадке откровенности одному из

своих ближайших сотрудников в то время, когда он был главным редактором журнала «*Международная жизнь*»: «Надо, — говорил он, — расколоть коллектив на две части и выступать в роли арбитра, встав как бы над ним». Этот принцип Хвостов неуклонно применял и в бытность свою директором Института истории. Партийный же комитет стремился обеспечить для всех сотрудников Института равные условия работы и равные возможности, а дальше дело было лишь за способностями того или иного исследователя.

Между Хвостовым и парткомом возник серьезный конфликт, который продолжался два года, пока обстоятельства коренным образом не изменились. Причем, Хвостов опирался на поддержку отдела науки ЦК КПСС, на Президиум Академии наук, на райком партии. Партийный комитет, не входя в прямой конфликт ни с одним из этих учреждений, опирался на коллектив Института, на партийную организацию Института.

Авторитет парткома 1965 года был очень велик. Прямо на глазах менялась атмосфера в Институте. Люди стали более смелыми в своих выступлениях, более независимыми в своих научных суждениях, ибо они чувствовали поддержку, они могли рассчитывать на помощь партийного комитета, если они были правы. Это были удивительные месяцы. Спустя год после ухода Хрущева идеи, заложенные XX и XXII съездами КПСС, стали неотъемлемой частью внутриинститутской жизни.

Многие институты Академии наук, другие высшие учебные заведения с пристальным вниманием наблюдали за событиями, развертывавшимися в Институте истории Академии наук СССР. Одно время имя Данилова олицетворяло прогрессивное начало в области общественных наук. Встречаясь с каким-нибудь знакомым из другого института, как правило, можно было услышать от него

вопрос: «Ну, как там Данилов?» Всех занимало, как долго прогрессивный партийный комитет сможет продержаться.

О степени влияния партийного комитета свидетельствует такой случай. Из Московского государственного университета был уволен проф. Дувакин за отказ выступить свидетелем по делу Синявского — Даниэля. Начался сбор подписей под петицией о восстановлении Дувакина на работе. В партком пришли два члена партии, чтобы спросить совета, подписывать им эту петицию или нет. Я был в это время в парткоме и обсуждал с Даниловым план работы производственного сектора. Вопрос поразил нас своей прямотой и надеждой, что в парткоме можно получить правильный ответ. Раньше при подобных обстоятельствах человек, поставленный перед дилеммой, подписывать или не подписывать такого рода документ, прежде всего постарался бы, чтобы не только партком, но и вообще никто не узнал бы даже о том предложении, которое ему было сделано. Теперь же люди открыто шли в партком. Таков был авторитет парткома.

Было одно обстоятельство, очень важное для укрепления авторитета партийного комитета. Никто из членов парткома не стремился извлечь какую-либо выгоду для себя лично из своего пребывания в парткоме. Обыкновенно через какое-то время «карманные» секретари парткома, т. е. безусловно выполняющие волю директора, не говоря уже об указаниях вышестоящих инстанций, получали поощрение: их делали заместителями директоров, заведующими секторами и пр., т. е. переводили на более высокооплачиваемую должность. Например, член парткома Штрахов был сделан заместителем директора в награду за свою сервильность Хвостову. Не сомневаюсь, однако, что Штрахов, обязанный Хвостову, платил ему за это в глубине души неприязнью.

Как-то в разговоре с Чаплиным в райкоме партии я сказал, что члены нашего парткома ничего для себя не ищут, Чаплин на это возразил: «Ну, это неправильно. Выходит, что если тебя избрали в партком, значит, крылья подрезали?». Здесь была иная логика, более прагматичная, более современная, отвечающая духу нашего суетливого времени.

Штрахов представлял в партийном комитете не только дирекцию, но и сталинистское крыло партийной организации.

В парткоме он вел себя вызывающе грубо, иногда, правда, менял тактику (очевидно, по совету Хвостова), стараясь расколоть партком. При этом он прибегал к методам откровенного шантажа. Особенно запомнился случай, когда при обсуждении доклада парткома о состоянии исторической науки он в резкой форме потребовал убрать из доклада упоминавшееся в какой-то связи имя Троцкого. Большинство с ним не согласилось. Тогда на одном из заседаний, в то время когда над парткомом уже начали сгущаться тучи, он напомнил об этом и сказал: «Меня тогда поддержали трое, вот Вы (он ткнул пальцем в одного из членов парткома), Вы (еще раз показал пальцем) и кто-то третий...» Он вопросительно оглядел остальных членов парткома, предлагая любому присоединиться к нему. Но все молчали.

Мне чаще других приходилось сталкиваться в спорах со Штраховым, и меня он ненавидел особенно люто...

Для того чтобы наметить пути для наиболее эффективного развития исторической науки в СССР, необходимо было серьезно проанализировать ее состояние. В. П. Данилов решил, что наш партком, в состав которого входили высококвалифицированные представители различных отраслей нашей науки, должен взять на себя этот труд. Основную долю работы приняли на себя Данилов и

Тарновский. Позднее, после того как ими был представлен вариант доклада «О состоянии исторической науки», в работу включились и другие члены парткома. Доклад был одобрен партийным собранием Института и после многочисленных поправок со стороны Хвостова, большинство которых были в той или иной форме приняты, рекомендован к печати. Более того, доклад был даже отправлен в издательство «Наука» и набран. Затем напечатание его приостановилось. Сначала в Комитете по делам печати, а затем в Главлите поднялся переполох, как могли допустить в печать такую «крамолу».

Партком отправил по этому поводу записку на имя секретаря ЦК КПСС Суслова, но ответа не получил. Более частные обращения конкретных людей к конкретным руководителям также не имели успеха. Не помогло и вторичное подтверждение партийным собранием Института своего одобрения доклада. Сначала мы не очень-то понимали, в чем загвоздка, но постепенно обстановка прояснялась — шло неуклонное изменение политического курса партии в сторону конформизма.

30 января 1966 года в «*Правде*» появилась статья за подписями академика-секретаря отделения исторических наук Е. М. Жукова, его заместителя члена-корреспондента АН СССР В. И. Шункова и главного редактора журнала «*Вопросы истории*» члена-корреспондента В. Г. Трухановского. В статье недвусмысленно ставился вопрос о необходимости отказаться от термина «культ личности» и пересмотреть оценку деятельности Сталина. Но поскольку эта оценка была дана на съездах партии, то фактически статья содержала призыв к ревизии решений XX–XXII съездов КПСС. Так она и была расценена общественностью, а в провинции была просто воспринята как директивное указание. На это, очевидно, и рассчитывали те, кто инспирировал эту статью. Вред, который причинила эта статья, был огромен. Позднее

Е. М. Жуков и В. И. Шунков утверждали, что были втянуты в это предприятие В. Г. Трухановским. Говорили, что статья была инспирирована С. П. Трапезниковым, что походит на правду, поскольку сам Трапезников неоднократно высказывался на узких совещаниях и даже, если память мне не изменяет, в одной из своих статей, в том же духе. Среди большей части историков появление этой статьи было воспринято с возмущением и с... испугом. Наиболее реакционная часть встретила ее ликованием. Некоторые историки и философы решили выступить против статьи и обратились с письмом к секретарю ЦК Суслову. Письмо подписали 5 человек, в том числе и я. Мы протестовали против несомненной попытки реабилитации Сталина. В письме говорилось, что термин «период культа личности», против которого выступили трое академиков, вполне правомерен, ибо он показывает, что не весь период построения социализма был отягчен ошибками и преступлениями Сталина. В то время только такой аргументацией можно было отбить атаку сталинистов. Через несколько дней помощник Суслова В. В. Воронцов сообщил, что секретарь ЦК с содержанием письма согласен и что его мысли по этому поводу мы услышим в его выступлении на предстоящем XXIII съезде партии. Но, как известно, ни Суслов, ни другие члены Президиума ЦК, за исключением трех человек, на съезде не выступили. Так мы и не узнали, что думает по этому поводу Суслов. Но было очевидным, что Трапезников, инспирировавший статью трех, поторопился. Я убежден, что он хотел сначала поставить руководство партии перед фактом, что авторитетные историки — против термина «культ личности», и это надо пересмотреть, а затем и в самом деле добиться пересмотра решений XX съезда партии. Вероятно, кое-кто из членов Президиума уже обещал свою поддержку. В то время циркулировали

упорные слухи, что на XXIII съезде КПСС Сталин будет частично реабилитирован. Однако накануне съезда между членами Президиума ЦК было достигнуто соглашение: этот вопрос вообще не затрагивать, а провести съезд под знаком «монолитного единства партии». Поэтому выступили лишь лица, занимавшие высшие посты в государстве — Брежнев, Подгорный и Косыгин, — и, главным образом, по практическим вопросам.

Я думаю, что тогда дело было действительно близко к реабилитации Сталина в какой-то форме: зная академика Жукова, я просто представить себе не могу, чтобы он пошел на столь рискованный шаг, если бы не был уверен, что «наверху» эту точку зрения поддерживают. Хотя «и на старуху бывает проруха».

В декабре 1966 года произошло яростное сражение между сталинистами и прогрессистами на выборах нового состава партийного комитета Института истории. Задолго до собрания райком партии неоднократно вызывал Данилова, Хвостова (он был членом бюро райкома), еще кого-то, чтобы договориться о будущих кандидатах. Особенно упорное возражение вызывала моя кандидатура. Хвостов также настаивал на замене Данилова на посту секретаря парткома испытанно-покладистым С. Л. Утченко. Тот ни в коем случае не желал быть секретарем. Данилов предостерегал райком от атак на меня, предсказывая: кандидатура Некрича будет выставлена, и он будет избран.

По стечению обстоятельств как раз в день отчетно-выборного партийного собрания было назначено официальное наше с Надей бракосочетание.

В перерыве между заседаниями я пошел в ЗАГС, где меня ожидала Надя с несколькими друзьями. Мы стали мужем и женой, выпили по бокалу шампанского, и... я поспешно побежал на партийное собрание. На свою свадьбу я попал в

час ночи, как раз в тот момент, когда мой друг Жора Федоров громогласно объявил, что если я не приду в ближайшие 30 минут, то он от моего имени осуществит право первой брачной ночи! Гости смеялись, Надя нервничала. Наконец я появился, и напряженная атмосфера сменилась... всеобщей усталостью. Надя и ее родители были достаточно великодушны, чтобы понять меня. Кроме того, я возвратился «со щитом», а победителей, как известно, не судят... На собрании разыгралась одна из самых ожесточенных схваток, в которых мне когда-либо приходилось участвовать. На партийный комитет были вылиты сотни ведер помоев. В чем только ни обвиняли членов парткома! Яростнее всех меня атаковал Штрахов. Не в силах предъявить мне какое-нибудь обвинение, он обрушился на меня с нападками личного характера. Выступление Штрахова посеяло сомнение у одной части собравшихся и вызвало негодование у другой. Спокойно, насколько я мог оставаться спокойным, я дал необходимые разъяснения. Когда же я пытался дать отповедь Штрахову и показать цель его типичных сталинистских приемов, я был прерван председательствующим Волобуевым, который далеко не беспристрастно осуществлял свои функции председателя.

Собрание закончилось полной победой партийного комитета. Почти весь состав был переизбран. В новый состав избрали дополнительно очень достойных людей: Якубовскую, Альперовича и др. Против меня проголосовало 100 человек, но 200 голосовали за меня. Штрахов сильно уронил себя в глазах сотрудников Института. Позднее он выражал сожаление по поводу своего выступления и делал попытки примириться со мной. Но с тех пор я перестал с ним здороваться, ибо в наших спорах и разногласиях он перешагнул черту порядочности.

На собрании ожесточенным нападкам подверглась моя книга «*1941, 22 июня*». Это было связано не только с внутренней ситуацией, а с тем, что в социалистических странах Восточной и Юго-Восточной Европы было напечатано пространное изложение содержания книги, печатались отрывки.

Пресса социалистических стран встретила появление книги очень тепло. Для многих это был знак, что борьба против сталинизма в Советском Союзе еще продолжается.

Весной 1967 года было очень большое сходство, конечно, никак не сопоставимое по масштабам, между обстановкой, создавшейся в нашем Институте и поисками «социализма с человеческим лицом» в Праге. Я думаю, что это сравнение отвечает действительности с той только разницей, помимо масштабов, что в Институте (как и по всей стране) дело шло на убыль, а в Чехословакии только развертывалось. Некоторая синхронность процесса была закономерной: взрыв эмоций — негодования, скорби, стыда, раскаяния, — вызванный широкой оглаской преступлений, совершенных в Советском Союзе на протяжении десятилетий, должен был получить и действительно получил выход в поисках каких-то конкретных мер, которые предотвратили бы на будущее возможность повторения этих преступлений. Такой панацеей могла быть только Гласность, только Слово. Как сказано в Писании: «Сначала было Слово». Если стены Иерихона рухнули от трубного гласа, то так называемое социалистическое общество в Праге начало на глазах разрушаться от Слова, от Гласности. Поиски «социализма с человеческим лицом» стали повсеместными, и западная левая интеллигенция воспряла духом: наконец-то! Социализм все же будет, другой, не точно такой же, как советский, а иной, с «человеческим лицом» — без произвола и насилия, с демократией, законом, подлинным равенством, свободой

творчества. Так и не удалось проверить тогда, возможен ли другой социализм, без кровавой реки, психушек, тюрем и лагерей, произвола, царства элиты...

Я остро чувствовал связь между тем, что происходит в нашей стране и в Чехословакии. Хотя солнце восходит на Востоке, но, может быть, оно достигнет зенита на Западе?! По просьбе корреспондента пражского радио я дал ему интервью о событиях 1941 года и об их уроках.

Глава 8. Исключение

Я не страшусь суда такого
И, может, жду его давно,
Пускай не мне еще то слово,
Что емче всех, сказать дано.

Мое — от сердца — не на ветер,
Оно в готовности любой:
Я жил, я был — за все на свете
Я отвечаю головой.

А. Твардовский

Всесоюзное идеологическое совещание 1966 года. — Нападение. — Отбиваю атаки. — Статья в «Шпигеле». — Партийное следствие. — Заседание Комитета партийного контроля. — Исключение из КПСС. — Публичное осуждение. — Реакция общественного мнения. — Письмо академика С. Струмилина. — Письмо генерала Петра Григоренко. — Дружба нерасторжима

За несколько дней до моего отъезда из Варшавы в конце сентября 1966 года мне рассказали, что на польско-советской границе у одного поляка была обнаружена и конфискована краткая версия дискуссии по моей книге «*1941, 22 июня*», происходившей в Институте марксизма-ленинизма 16 февраля 1966 года. Об этом немедленно был поставлен в известность ЦК КПСС. Я был несколько озадачен. Почему такой переполох? Сообщения о дискуссии давным-давно перешагнули всякие границы. По Варшаве «краткая запись» гуляет уже полгода, то же самое и в Праге, вероятно, и в других социалистических странах. Приходит в голову объяснение двоякого рода: во-первых, поляка действительно задержали и отобрали «краткую запись». Те, кто его задержал, возможно, и понятия не имели о дискуссии в ИМЯ, но не исключено, что КГБ и КП Белоруссии

используют этот случай в своих интересах для укрепления своего престижа; во-вторых, они это делают тем охотнее, так как осведомлены о настроениях, которые царят в Москве «наверху», ведь после процесса Синявского — Даниэля неосталинистский крен усилился.

Я возвратился в Москву в начале октября. Не прошло и недели, как мне позвонил взволнованный приятель и попросил встретиться с ним где-нибудь в нейтральном месте. Мы встретились. Он мне рассказал, что в ЦК происходит идеологическое совещание и что там с резкими нападками на меня выступил секретарь ЦК компартии Грузии по пропаганде Д. Стуруа. В тот же день я узнал подробности происходящего и даже точный текст того, что сказал Стуруа. А сказал он следующее:

> «Книга Некрича вполне определенная. Господин Некрич изволит клеветать на нашу партию. Господин Некрич изволит клеветать на внешнюю политику Советского правительства и коммунистической партии. Господин Некрич изволит утверждать, что Советский Союз пошел на принципиальные уступки гитлеровской Германии».

Кроме Стуруа, на совещании по поводу моей книги выступил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Пилотович, который говорил об использовании стенограммы обсуждения в ИМЯ буржуазной пропагандой и ставил вопрос, каким образом запись попала за границу (позднее этот вопрос будет обсуждаться Комиссией партийного контроля). Председатель Комитета государственной безопасности Семичастный выступил с разъяснением, что стенограмма не подлинная, а сфабрикованная.

Таким образом, книга «*1941, 22 июня*» оказалась в фокусе идеологической борьбы. Военные действия были открыты. Я

должен был либо капитулировать, либо защищаться. Я выбрал путь борьбы.

17 октября 1966 г. я обратился с двумя письмами. Первое было адресовано президиуму Всесоюзного совещания идеологических работников. Второе — секретарю ЦК КПСС П. Н. Демичеву. В обоих письмах я протестовал против выступления Стуруа и просил дать мне возможность выступить на совещании с ответом.

Отправив оба письма, я позвонил помощнику Демичева И. Т. Фролову (ныне ответственный редактор журнала «*Вопросы философии*»). Фролов был очень предупредителен, обещал немедленно доложить секретарю ЦК о моем письме и посоветовал затем обращаться к заместителю заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А. Н. Яковлеву, который отвечает за проведение идеологического совещания. Несколько раз я тщетно пытался достигнуть Яковлева по телефону, но он явно уклонялся от разговора со мной. Между тем совещание окончилось. На закрытии совещания выступил П. Н. Демичев, который пожурил Стуруа за его грубость. Но даже этот легкий упрек Демичева оказался для меня весьма полезным. Выступление Демичева показывало, что чаша весов еще колеблется.

Спустя три недели мне позвонил домой работник отдела агитации и пропаганды Зайцев, который сообщил мне, что Стуруа был поправлен в заключительном слове Демичева, что тем самым инцидент исчерпан и что в связи с моей книгой «*1941, 22 июня*» ЦК не имеет ко мне претензий. Заявление Зайцева было чрезвычайно важным, и я, повторив тут же то, что он мне сказал, попросил его подтвердить, правильно ли я его понял. Он подтвердил.

На следующий день я поставил об этом звонке в известность членов нашего институтского партийного комитета, и те вздохнули с облегчением.

Некоторую роль в приторможении «дела Некрича» сыграло выдвижение моей кандидатуры в члены-корреспонденты Академии наук СССР. Выборы должны были состояться осенью, но публикация моей фамилии в общем списке кандидатов в академики по всей Академии наук (список всех кандидатов печатается в центральном правительственном органе — газете «*Известия*») произвела некоторое впечатление в официальном мире. Моя кандидатура была предложена академиком И. М. Майским и поддержана рядом других академиков. На выборах я оказался в середке, получив недостаточное количество голосов, чтобы быть избранным, но достаточное, чтобы с честью выйти из этой игры. Разумеется, об избрании всерьез я и не помышлял. Но выборы в Академию наук затормозили на некоторое время начавшееся сталинистами наступление.

Однако спустя два месяца, в начале 1967 года, после того как прошел XXIII съезд КПСС, наступление возобновилось с новой силой.

Теперь оно проводилось исподволь. Партийное общественное мнение планомерно подготовлялось к разгрому моей книги. Печатаемое ниже мое письмо дает некоторое представление о ситуации:

«СЕКРЕТАРЮ МГК КПСС тов. ШАПОШНИКОВОЙ А.П.

Уважаемая Алла Петровна!

Вынужден обратиться к Вам в связи с выступлением ответственного сотрудника МГК КПСС тов. Владимирцева на собрании пропагандистов Фрунзенского района г. Москвы 25 ноября с. г.

Тов. Владимирцев сказал, будто на обсуждении книги А. М. Некрича «*1941, 22 июня*» в Институте марксизма-ленинизма означенная книга подверглась осуждению.

На самом же деле на этом обсуждении[7], созванном Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС по инициативе Комитета по делам печати 16 февраля 1966 г., книга была оценена всеми без исключения выступавшими, а их было 22 человека, положительно. Многие из выступавших предлагали книгу переиздать и в связи с этим просили автора учесть пожелания и замечания, высказанные во время дискуссии.

Именно так обстояло дело в действительности (см. стенограмму обсуждения). Спрашивается, зачем понадобилась тов. Владимирцеву эта явная неправда? Ответ ясен: для подкрепления собственного утверждения о вредности книги А. М. Некрича ссылками на авторитетное мнение научной общественности. Я решительно протестую против непартийного поведения т. Владимирцева, введшего в заблуждение пропагандистов целого района гор. Москвы, и настаиваю на том, чтобы его заявление было опровергнуто.

7 декабря 1966 г.»

Ответа на свое обращение я не получил.

Кампания приняла целеустремленный характер...

...Жизнь — довольно странная и противоречивая штука. Именно в этот самый момент, когда вокруг моей головы тучи начали сгущаться все больше и больше, мое ходатайство (и моего Института) о предоставлении мне служебной командировки в Англию для работы в английских архивах сдвинулось после шестилетней проволочки с места. Я заполнил въездные анкеты и начал ждать.

Позднее я понял, что по нашему русскому счастью правая рука не ведает, что творит левая: мое дело просто шло своим рутинным путем из канцелярии в канцелярию, перекладывалось со стола на стол, но еще не было

[7] Здесь игра слов при условии изменения лишь одной буквы: осуждение — обсуждение.

представлено выездной комиссии ЦК, которая и решает в конечном счете дело.

...В марте 1967 года меня пригласил к себе директор Института В. М. Хвостов. Страсти к тому времени несколько поутихли, и он хотел подчеркнуть свою лояльность ко мне. Хвостов был человеком противоречивым: его честолюбие и готовность ради карьеры следовать самым примитивным и стандартным образам жизни партийного работника наталкивались на его интеллигентность, на его образованность, на его инстинктивное уклонение от открытого участия в погромах, брезгливое нежелание запачкать свои руки: когда нужно было, он искал и без особого труда находил для «пачканья рук» нужных людей.

Хвостов рассказал мне, что ему предлагали принять участие в разгромной рецензии на мою книгу, но он отказался. Затем он сказал мне:

— Александр Моисеевич, в ЦК начато против Вас дело. Советую Вам без промедления написать заявление в Центральный Комитет.

— Заявление о чем?

— У Вас же имеются в книге недостатки и ошибки, Вы сами об этом говорили. Вот и напишите об этом, выразите сожаление... — здесь Хвостов остановился, считая, по-видимому, что он сказал мне достаточно.

Я поблагодарил его и обещал подумать. Когда мы прощались, Хвостов сказал мне примирительно:

— Я понимаю, что недоразумения между нами были потому, что Вы хотели утвердить свою независимость.

Я промолчал.

За долгое время это была первая дружеская встреча. Она была и последней. Несколько раз мы виделись издали, раскланивались, но никогда уже больше не разговаривали. Хвостова сделали вскоре президентом Академии

педагогических наук СССР, а еще спустя два года он неожиданно умер.

...Да, я думал о том, что сказал мне Хвостов. Через несколько дней я получил еще одно предостережение: мне принесли черновой вариант разгромной статьи, которая готовилась в Институте марксизма-ленинизма. Нападение было неотвратимо. Но выбор был мною сделан в тот самый момент, когда я написал первую страницу рукописи. Нет, я не собирался приносить извинения, каяться и прочее: для меня открылась новая полоса моей жизни и в этой последней, вероятно, части моей жизни не должно было быть места для конформизма нашего лицемерного общества. Я постепенно удалялся от него, но частицы моей прошлой жизни, невидимые нити все еще связывали меня, и я понимал, что так будет всегда.

Может показаться невероятным, но последний толчок моей чаше весов дал... журнал «*Шпигель*», выходящий в Гамбургере и моя чаша весов резко качнулась вниз, а, может быть, взлетела вверх?

Вот как это случилось.

В номере от 18 марта 1967 года «*Шпигель*» опубликовал две большие статьи о событиях в СССР: одна была посвящена Светлане Аллилуевой, другая — моей книге и мне.

...Однажды в партийный комитет, где я находился в это время, позвонили из фотохроники ТАСС. Корреспондент сообщил мне, что он имеет задание сфотографировать меня. Я удивился, но решил, что, может быть, ситуация меняется. Но все было совсем по-другому. Фоторепортер, который пришел ко мне домой, сказал мне, что один западногерманский журнал сделал заказ на мой портрет, уплатил валюту и теперь ожидает моей фотографии. Это было чисто коммерческое дело, и фотохроника ТАСС просто выполняла уже оплаченный заказ.

Нет, не говорите, хорошо жить в России. Здесь по крайней мере скучать не приходится...

«*Шпигель*» поместил мой портрет, сделанный фотохроникой ТАСС, и большую статью о книге, ее обсуждении и об ответственности за неподготовленность к войне. Статье была предпослана врезка. Ее текст и послужил толчком к началу партийного дела против меня. Во врезке было среди прочего написано, что на XXIII съезде руководитель КПСС Брежнев хотел реабилитировать Сталина. Этому воспротивилась группа прогрессивно настроенной интеллигенции, военные, ученые и др. Их мнение было выражено в книге историка Некрича «*1941, 22 июня*».

Я давно усвоил жизненное правило, что самое опасное — это обрести личного врага. Это правило знали и сталинисты. Поэтому статья в «*Шпигеле*» была, наконец, тем желанным поводом для расправы надо мной в назидание всем прочим, которую они вот уже полтора года пытались осуществить.

Вскоре заведующий отделом науки ЦК Трапезников продемонстрировал этот номер журнала группе приближенных к нему историков. Затем, как мне говорили, он показал этот номер Брежневу, приведя последнего в ярость от фразы, будто он хотел реабилитировать Сталина. Брежнев отдал приказ Комитету партийного контроля при ЦК КПСС начать партийное следствие по поводу книги «*1941, 22 июня*», обстоятельств вывоза за границу стенограммы дискуссии в ИМЯ и использования книги буржуазной пропагандой.

В последних числах апреля я узнал, что в Институте марксизма-ленинизма готовится разгромная статья для газеты «*Правда*», которую пишет Г. А. Деборин. В присутствии нескольких своих друзей я позвонил Деборину домой и спросил его, верно ли это. Деборин пытался уклониться от прямого ответа, но пытался выяснить, откуда

мне это стало известным. Я тоже уклонился от ответа, пошутил, что «слухами земля полнится». Из разговора с Дебориным я понял, что информация верная и «дело» против меня уже начато, хотя в тот момент я не представлял, каким образом развернутся события. Больше всего меня беспокоило, что все это обернется плохо для нашего парткома. Ситуация создавалась острая. Решение надо было принимать немедленно. По стечению обстоятельств сразу же после разговора с Дебориным вдруг появилась возможность непосредственного обращения к секретарю ЦК КПСС М. А. Суслову с просьбой о личном приеме. Через два дня мне сообщили ответ Суслова: этим делом занимаются много людей, и он, Суслов, не может в него вмешиваться. Теперь оставалось только ожидать дальнейшего развития событий. Спустя две недели я получил официальное приглашение явиться в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС к партконтролеру (партийному следователю) Сдобнову. Следствие вели двое партконтролеров: Сдобнов и Гладнев.

Когда меня пригласили в КПК, я и понятия не имел о процедуре партийного дела, и Сдобнов даже не счел нужным ознакомить меня с ней. Я очень удивился, увидев там заместителя директора Института Штрахова. Ведь моя книга непосредственного отношения к Институту не имела. Мне было непонятно, почему не был приглашен секретарь парткома Данилов. Оказывается, для Комитета партийного контроля важно присутствие представителя администрации того учреждения, в котором подследственный работает. Таким образом, администрация фактически участвует в разбирательстве, помогая КПК. Я убедился в этом на собственном опыте. Штрахов вовсе не был безмолвным свидетелем, а активно помогал партконтролерам.

По счастью, у меня сохранились записи, которые я тогда вел немедленно после встреч в КПК, и документы, которые я писал по требованию партконтролеров. Таким образом,

я могу очень точно описать все, что тогда происходило. Для западного читателя, а особенно для специалистов в области истории, политических и социальных наук будет полезно знать некоторые детали. Это поможет их более правильному пониманию сущности системы, существующей в Советском Союзе.

Первая беседа со мной в КПК была 22 мая 1967 года и продолжалась 4 часа. Мне задавали вопросы по поводу моей книги, как я ее задумал и зачем написал. Позднее я понял, что партследователи хотели выяснить, не сделал ли я это по злому умыслу, чтобы нанести ущерб интересам КПСС и советского государства. Другая группа вопросов касалась моего отношения к книге спустя полтора года после ее выхода в свет. Все содержание, ход и тон беседы не оставлял сомнения в том, что партследователи чувствуют ко мне внутреннюю неприязнь, хотя они были в меру вежливы. Никаких записей беседы не велось: в этом не было необходимости, так как замаскированный магнитофон выполнял секретарские обязанности. Такая система избавляла от необходимости показывать подследственному протокол и лишала его тем самым возможности проверять правильность интерпретации его ответов. В этом отношении процедура партийного следствия гораздо хуже обычного судебного следствия.

Из вопросов, которые мне были заданы Сдобновым и Гладневым, наиболее важными мне показались два вопроса. Первый из них был, почему я не отмежевался от выступления на дискуссии в ИМЛ Алексея Владимировича Снегова. Я отвечал, что вообще ни от кого не отмежевывался, да мало ли было наговорено глупостей, например, докладчиком Дебориным, я ведь не стал от него отмежевываться и т. п.

Второй вопрос был, очевидно, стержнем всего.

Сдобнов спросил меня: «Что, по-вашему, важнее — политическая целесообразность или историческая правда?» Как бы косвенным образом следователь давал мне понять, что дело не в том, правдива ли моя книга или нет — это вопрос второстепенный, — а в том, насколько целесообразно в данный момент поднимать тему неподготовленности СССР к германскому нападению и ответственности за это. С вопросом Сдобнова перекликались слова другого следователя — Гладнева, сказанные в коридоре, когда он провожал меня после первой встречи: «Не делайте ошибки, мы не Ваши оппоненты, мы находимся на службе», т. е. незачем тратить время, чтобы нас убеждать...

Мой ответ на вопрос Сдобнова был таким: нельзя противопоставлять политическую целесообразность исторической правде. Опыт истории показал, что в конечном счете историческая правда соответствует политической целесообразности.

— Так что для Вас все-таки важнее? — допытывался Сдобнов, — историческая правда или политическая целесообразность?

— Историческая правда, — ответил я.

Штрахов усердно помогал следователям. Один раз я не выдержал и резко его оборвал, за что немедленно получил строгое замечание от Гладнева: «Товарищ Некрич, не забывайте, что Вы находитесь в ЦК КПСС».

Одна характерная особенность в поведении моих собеседников, если их так можно назвать, запомнилась мне. Все документы, которые я им показывал, — письма читателей, рецензии, мои заявления о «проработке», которая происходит по административным и пропагандистским каналам, — внимательно прочитывались Гладневым и Сдобновым, молча передавались из рук в руки, но никаких эмоций, только быстрые взгляды. Лишь один раз Сдобнов

взорвался, когда читал мое письмо секретарю МГК КПСС Шапошниковой по поводу выступления Владимирцева.

В конце беседы мне было предложено ответить на три вопроса в письменном виде. Вот эти вопросы и мои ответы:

Вопрос. Ваше отношение к книге «*1941, 22 июня*».

Ответ. Свою книгу «*1941, 22 июня*» считаю исторически достоверной, патриотической и соответствующей решениям XX, XXII, XXIII съездов нашей партии, а также Постановлению ЦК КПСС от 30 июня 1956 года. Книга была опубликована в научно-популярной серии издательства «Наука» осенью 1965 г. Она получила одобрение Главлита, была затем обсуждена историками-коммунистами в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, где в целом была одобрена. Имеются положительные отклики и рецензии печати социалистических стран и коммунистических органов печати западноевропейских стран.

Вопрос. Ваше отношение к обсуждению книги в Институте марксизма-ленинизма.

Ответ. Обсуждение моей книги 16 февраля 1966 года происходило не по моей инициативе. Инициатором его были Комитет по печати и Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, который и был непосредственным организатором собрания. Научная дискуссия была открытой, поскольку обсуждалась книга, вышедшая в открытой печати. На дискуссии присутствовало около 200 историков, гражданских и военных, а выступило 22 человека, в том числе начальник отдела истории Великой Отечественной войны, его заместитель, редакторы всех шести томов «*Истории Великой Отечественной войны Советского Союза*». Все выступавшие дали в основном положительную оценку книге, сделав при этом ряд критических замечаний. Все это видно из стенограммы обсуждения.

Вопрос третий. Ваше отношение к зарубежным откликам.

Ответ. Зарубежные отклики были двоякого рода. Меня очень обрадовали положительные отклики коммунистической прессы как в социалистических странах, так и в капиталистических странах Западной Европы. Коммунистическая пресса расценила книгу как оружие против пропаганды буржуазной реакционной печати, утверждавшей, что в СССР якобы имеет место тенденция к восстановлению культа личности Сталина. В ответ на клеветническую радиопередачу так называемой «Немецкой волны» я написал «Открытое письмо» и передал его в Агентство печати «Новости». По причинам, мне неизвестным, оно опубликовано не было. В других публикациях буржуазной печати речь шла не о книге, а о стенограмме обсуждения в Институте марксизма-ленинизма.

Свои ответы я принес Сдобнову 24 мая. Он внимательно прочел, никак не комментируя. Затем, уже прощаясь, предупредил меня, что беседы будут продолжены. Я пожал плечами...

Во время бесед следователи очень нервно реагировали на те приводимые мною факты, которые, очевидно, не укладывались в заранее составленную ими схему сценария. Например, все, что я говорил об искусственной шумихе, созданной вокруг моей книги председателем Комитета по печати Михайловым, его сотрудниками Маховым и Фомичевым, яростно опровергалось, мое возмущение выступлением на идеологическом совещании секретаря по пропаганде ЦК Грузии Стуруа разбивалось о стену деланного равнодушия.

Я спросил Сдобнова, чем вызваны эти беседы, почему в Комитете партийного контроля обсуждаются вопросы научного характера. На это я получил ответ, что по указанию руководства проводится расследование всего комплекса, связанного с книгой *«1941, 22 июня»,* а именно — книга,

ее обсуждение, зарубежные отклики, проникновение информации за границу.

— Так что это — персональное дело? — напрямик спросил я Сдобнова.

— Вопрос еще не решен, — уклончиво ответил он.

Мои письменные ответы и послужили главным обвинительным материалом против меня самого. Поняв это, я понял и то, какое важное значение имеет американское процедурное правило, позволяющее подследственному не отвечать на поставленные вопросы, если ответы на них могут причинить ему вред. Но «социалистическая демократия» очень далека от элементарного понимания защиты индивидуальных прав...

Спустя месяц, 24 июня, меня вновь вызвали в Комитет партийного контроля. Было это спустя несколько дней после «шестидневной войны», и накал антисемитизма еще не прошел...

На этот раз со мной беседовали уже три партийных контролера. На помощь первым двум был призван сотрудник сектора печати некто Сеничкин. На этот раз мы не остались в кабинете Сдобнова, а молча прошли по длинному коридору и поднялись на третий этаж. На моем лице, видно, отразилось недоумение, куда же меня ведут, потому что Гладнев спросил меня: «Вам сказали, куда мы идем?» Я отрицательно помотал головой. «Мы идем к товарищу Мельникову, члену КПК», — вполголоса сказал мне Гладнев. Я кивнул головой. Это имя мне ничего не говорило. Вскоре мы очутились в просторном кабинете. Хозяин его, высокий грузный мужчина лет шестидесяти, поднялся нам навстречу, протянул широкую ладонь и пригласил садиться. Мы сели: Мельников во главе стола, по левую руку от него трое следователей, по правую я. Поглядывая на меня своими большими, пожалуй, черными глазами, член Комитета

Роман Ефимович Мельников сказал, что Комитет остался неудовлетворен моими ответами, и в среду 28 июня мой вопрос будет обсуждаться на заседании Комитета под председательством Пельше. Пельше был членом Политбюро и председателем Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Видно, моему делу придавали особенное значение, если решили вынести его на такое высокое собрание. Мельников предложил Сдобнову зачесть ту часть подготовленного к заседанию документа, который касался меня. Итак, я приглашен для предварительного ознакомления с обвинительным заключением! Я взял карандаш и приготовился было делать заметки, но тут же сообразил, что больше запомню, если внимательно буду слушать.

Негромким, но внятным голосом Сдобнов прочел обвинительное заключение. Конечно, формально этот документ так не назывался, но таким он был по существу. Я старался ничем не выдавать своего волнения, хотя на самом деле волновался очень. Заметил, что задрожали пальцы и положил руку на стол ладонью.

Когда Сдобнов читал наиболее резкие обвинения, Мельников бросал на меня взгляд: «Ну, что, какого?» — не поворачивая головы проверял мою реакцию, прикидывал, легко ли будет со мной справиться. В таких местах я, кажется, не то вздыхал, не то шевелил скулами, а, может быть, просто смотрел прямо перед собой, симулируя равнодушие. Но вот Сдобнов положил на стол последнюю прочитанную им страницу. Мельников предложил обменяться мнениями. Я сказал, что чтение на слух воспринимаю плохо и должен прочесть документ собственными глазами, тем более что в отличие от бесед, где речь, казалось, шла о научных проблемах, здесь выдвинуты против меня тяжелые политические обвинения. Вся тройка следователей дружно

запротестовала. Ах, как им не хотелось, чтобы я взглянул на этот документ! Сдобнов предложил прочесть документ еще раз, медленнее, даже останавливаясь на тех местах, которые могли показаться мне важными. Я решительно протестовал и продолжал настаивать на своем. Мельников заколебался. Наконец, он сказал Сдобнову, чтобы мне дали прочесть документ и разрешил сделать необходимые заметки. Гладнев предложил, чтобы затем мы вновь вернулись к Мельникову, дабы выслушать мнение. То ли Мельникову не хотелось определять свою собственную позицию, то ли по другим соображениям (дело шло к концу рабочего дня), но он предложил, чтобы в дальнейшем беседа протекала без его участия. «Разумно, — подумал я, — во-первых, он никак не ангажируется, во-вторых, прослушает магнитофонную запись».

Я просидел в кабинете Сдобнова полчаса, читая и выписывая наиболее важные части документа. Вскоре трио появилось вновь (должно быть, они ходили в буфет закусить). Несмотря на мои протесты, выписки у меня были отобраны. Сдобнов объяснил, что документ секретный. Я протестовал, но жаловаться было некому: Мельников предусмотрительно отстранился. Вся эта комедия сделалась мне ясной. Затем Сдобнов предложил мне начать разговор по существу предъявленных обвинений. Я отказался, ссылаясь на то, что к такому разговору не подготовлен, должен подумать. Следователи настаивали, ставили вопросы, пытаясь втянуть меня в разговор. Я отвечал нехотя, так как полагал, что из меня хотят выудить аргументацию с тем, чтобы самим лучше вооружиться к предстоящему бою в среду. «Ну, ясное дело, не хочет разговаривать!» — раздраженно воскликнул Гладнев, поднялся и удалился вместе с Сеничкиным. В кабинете остались Сдобнов и я. Он выдвинул последний довод: если я приду на следующий день, то меня примет первый

заместитель председателя Комитета Гришин. Я пообещал подумать, на том мы и расстались. Подозревая в предложении ловушку, чувствуя себя отвратительно физически и не располагая достаточным временем для подготовки, я решил прийти прямо на заседание Комитета, а приема у Гришина не просить. Позднее это было использовано против меня как доказательство моего пренебрежительного отношения к партии.

...До заседания оставалось всего 36 часов. Снова на помощь пришли мне друзья. Моя жена Надя старалась ничем не выдать своего волнения, хотя темные круги под глазами и нервное подергивание век выдавали ее. Легли мы поздно, поднялся я в шестом часу утра...

Накануне мне сообщили, что вице-президент Академии наук А. М. Румянцев разговаривал по поводу моего дела с Сусловым, и тот будто бы заверил его, что дело ограничится выволочкой. Но я в это не поверил, ибо к чему было бы устраивать парад-алле в таком случае? Я понимал, что Румянцев мне сочувствует и делает кое-что, чтобы облегчить мое положение, но сообщение это расценил как дезинформацию. Дезинформация такого же рода поступила и из других источников. Мне явно расставляли капкан.

На заседание Комитета я приехал вместе с Александром Михайловичем Самсоновым, директором издательства «Наука», которого тоже призвали, чтобы держать ответ. Мы жили напротив друг друга, и потому было вполне естественно, что и поехали вместе.

...Я курил в коридоре в полном одиночестве, когда мимо меня прошел элегантно одетый старик в дорогом сером костюме. Держался он прямо, шел деловитой походкой человека, сознающего свое значение. В двух-трех метрах позади вышагивал коренастый молодой человек, одетый в стандартный черный костюм. Он нес портфель. Пожилой

держал в руке маленький букет цветов, аккуратно завернутый в бумагу. «Пельше», — мелькнула мысль.

Деваться было некуда, вышла секретарша и указала мне на приемную, где вызванные в Комитет ожидали приема. Это была темная, без окон прямоугольная комната с постоянно горящим электрическим светом. В комнате стояло несколько сосновых столов и стулья. Комната напоминала камеру с той только разницей, что здесь не было охраны, и из нее можно было выйти, что я немедленно и сделал. Все здесь было рассчитано, чтобы повлиять на настроение обвиняемого, заставить его почувствовать тоску, безнадежность, сломить его волю.

Вскоре в коридор вышла секретарша и сказала: «Кто пришел по делу Некрича, прошу заходить». Значит, «дело» действительно существует...

...Кабинет Пельше, в котором происходило заседание, представлял собою большой светлый зал. Справа от входной двери было несколько окон и балкон. Возле стен были поставлены мягкие кожаные стулья для приглашенных. С этой же стороны в глубине комнаты стоял большой темно-желтый письменный стол полированного дерева, а рядом столик с разноцветными телефонными аппаратами; у задней стены — стеллажи с книгами и деревянная панель — дверь, которая вела, очевидно, в комнату для отдыха.

По левую сторону стоял длинный и широкий стол, покрытый, как водится, зеленым сукном. В дальней узкой части стола лицом к входной двери стояло председательское кресло. По обе стороны от председательского места расположились члены Комитета. Были они разного роста, большие и маленькие, лысые и с пышными седыми шевелюрами, в очках и без, дородные и худые, но что-то неуловимо общее объединяло их всех. Среди них было несколько женщин. Одна из них полная, высокого роста, с

зачесанными назад седыми, но еще густыми волосами, обернулась и пристально посмотрела на меня.

Ближе к дверям за столом разместились чины рангом поменьше: партследователь Гладнев, а напротив него Сдобнов, затем какая-то светловолосая женщина в белой кофточке и светлой юбке. Рядом с ней сидел известный мне заведующий агитационно-пропагандистским отделом Московского городского комитета партии Иванькович, человек небольшого роста с холодными, злыми глазами и с протезами вместо рук.

Среди приглашенных я увидел П. Н. Поспелова, директора Института марксизма-ленинизма, генералов Тельпуховского и Грылева (первый из ИМЯ, второй из военно-исторического отдела Генштаба), ответственного редактора журнала «*Вопросы истории КПСС*» Косульникова.

Увидел я и старого знакомца по занятиям в Фундаментальной библиотеке Академии наук СССР П. П. Севастьянова, историка, специалиста по Дальнему Востоку, который, очевидно, представлял здесь Министерство иностранных дел. Пришел Г. Деборин, оглянулся и занял свободное место рядом с Сеничкиным, маленьким бесцветным человечком, который всем своим видом старался подчеркнуть значительность того, что должно здесь произойти, и значительность собственной персоны. Напротив него примостился исполняющий обязанности директора нашего Института Лука Степанович Гапоненко.

Я сел на стул рядом с Самсоновым, поближе к окну. Было душно. Неподалеку от меня занял место Леня Петровский, внук Григория Ивановича Петровского и сын героя гражданской войны, бывшего руководителя Коммунистического интернационала молодежи (КИМ) Петра Петровского, погибшего в годы сталинского террора, племянник комкора Петровского, освобожденного из лагеря

в начале войны и геройски погибшего в сражении. Петровский-внук, который в течение 27 лет своей жизни ходил с клеймом сына врага народа, был после реабилитации своего отца принят в партию и работал научным сотрудником в музее В. И. Ленина. Петровский примыкал одно время к демократическому движению. Он участвовал на свою беду в дискуссии по поводу моей книги в ИМЯ. Позднее его речь была объявлена антипартийной, и теперь он привлекался к партийной ответственности по «делу Некрича».

...Пельше открыл заседание. Слово для информации получил Сдобнов. Я начал делать заметки:

Сдобнов излагает обстоятельства дела во всех аспектах. Книга Некрича порочная. Объяснения он дал неудовлетворительные. Выводы автора не соответствуют концепции советской исторической науки и похожи на концепции буржуазных историков. Противопоставляет тотальную мобилизацию в Германии бездеятельности советского правительства. Обеляет политику Англии, Франции, США. Фальсифицирует факты: предупреждение, посланное Черчиллем Сталину, предупреждение Шуленбурга. Включает в территорию собственно Германии оккупированные ею земли — играет на руку немецким реваншистам. Очерняет положение в советской промышленности, в том числе и оборонной. Советско-германский пакт изображается как выгодный только Германии, получается, что советское правительство было обмануто, следовательно, очерняет советское правительство (!).

Автор не отмежевался от антипартийных выступлений на дискуссии в ИМЯ. На дискуссии некоторые утверждали, что существуют две группы историков: догматики и марксисты. Некрича, сказал Сдобнов иронически, относят ко второй группе. Некрич пишет об умышленном уничтожении

военных кадров — утверждает, что главной причиной нападения Гитлера на Советский Союз был страх перед коалицией СССР, Англии и США, чем оправдывает гитлеровский тезис о превентивной войне. Не говорит об истинных виновниках войны — монополиях. Ссылок на иностранные документы по количеству больше, чем на советские. Тут Сеничкин вмешался и скороговоркой назвал цифры тех и других. Некрич подводит читателя к мысли, что победа СССР в войне была незакономерной.

Петровский, продолжал Сдобнов, выступил на обсуждении с антисоветской речью. При беседах в КПК продолжал отстаивать свои неверные позиции. До сих пор не представил письменного объяснения в КПК (именно этим Петровский и спас себя от строгого партийного взыскания — *А. Н.*!). Петровский является автором записи обсуждения в ИМЯ, которая попала за границу.

За рубежом книга Некрича была подхвачена враждебной пропагандой: передачи «Немецкой волны», публикация стенограммы в итальянском троцкистском журнале «*Се-нестра*», в «*Нувель Обсерватор*», в «*Шпигеле*» с портретом автора и с подписью под ним: «Некрич — критик Сталина».

Затем слово было предоставлено мне.

Мое выступление было подготовлено заранее и отпечатано на машинке. Первый экземпляр был передан мною стенографистке КПК. Но уже по ходу выступления я вносил некоторые коррективы. Так, в самом начале своего выступления я заявил, что хотя в документе, прочитанном Сдобновым, вопрос о культе личности Сталина не ставился вовсе, но по существу речь идет именно об этом, таков подтекст документа.

В заключение выступления я сказал, что в книге имеются, конечно, недостатки и просчеты. В частности, я признал

справедливым упрек Сдобнова, что включил в территорию собственно Германии земли, захваченные рейхом.

Однако я не сказал на Комитете, и не сожалею об этом, что эта ошибка была мною замечена сразу же после выхода книги из печати и была включена в перечень других фактических ошибок и опечаток, переданный польскому, чехословацкому и венгерскому издательствам, осуществлявшим перевод моей книги. Я считал для себя унизительным защищаться таким образом.

Я заявил, что есть большая разница между конкретными замечаниями и попытками на их основании построить политические обвинения. Все политические обвинения я полностью отвергаю.

Далее я вскрыл то, что было закамуфлировано в документе КПК, — попытка задним числом снять ответственность со Сталина и политического руководства за тяжелое положение, в котором оказалась наша страна в июне 1941 года. Я напомнил об основных фактах истории того времени и попытался показать беспочвенность обвинений, выдвинутых против меня. Закончил я так: «Вначале я уже говорил и хочу повторить еще раз: несомненно, что в книге имеются недостатки, она отнюдь не идеальна. Что же касается политических обвинений, выдвинутых против меня, то я их решительно отклоняю.

...Свой долг историка-коммуниста я видел в том, чтобы по мере своих сил участвовать в борьбе партии за преодоление ошибок периода культа личности и помочь извлечь из этих ошибок правильные уроки».

Во время моего выступления то и дело раздавались враждебные реплики, на которые я не реагировал. После окончания моего выступления посыпались вопросы: многие спрашивали меня, почему я не отмежевался от антипартийного выступления Снегова. Я отвечал, что

дискуссия носила научный характер, и я отвечал лишь на такого рода выступления.

Член КПК. Значит, если при Вас говорят антипартийные вещи, то это Вас не касается? Где же Ваша партийность?

Поспелов. Это Вы привели с собой людей в ИМЯ!

Некрич. Обсуждение происходило не по моей инициативе, а по инициативе ИМЯ. Те, кто руководил дискуссией, и несут ответственность. О том, что будет дискуссия в ИМЯ, были вывешены объявления. И это совершенно естественно. Что плохого в том, что на дискуссию пришли историки-коммунисты?

Во время моего ответа раздавались негодующие возгласы. Лишь один Пельше сохранял полную бесстрастность, я бы даже сказал, что он, видимо, с презрительным равнодушием относился к этому спектаклю.

Директор издательства А. М. Самсонов, сам историк и автор книг о битвах под Москвой и под Сталинградом, говорил спокойно, с достоинством, признал свою ошибку в том, что издательство выпустило книгу, заявил, что публиковать ее не следовало. В то же время он заметил, что в книге нет ничего такого, что прежде не было бы опубликовано в других советских изданиях. Выступление Самсонова произвело на членов Комитета благоприятное впечатление. Весь его облик высокого, плотного, седеющего темноволосого человека в больших роговых очках, державшегося с достоинством, но не вызывающе, признавшего, к тому же, свои ошибки, был по душе членам Комитета. Один из членов КПК сказал раздумчиво, повертев книгу в руках: «Ведь вот, товарищ Самсонов, отнесись Вы более внимательно к книге, и книга бы не вышла, и дела никакого бы не было». Несмотря на серьезность ситуации, мне пришлось крепко сжать скулы, чтобы не улыбнуться, — вот как просто дела решаются — и книги нет, и дела нет, всем

хорошо, все довольны, — и вспомнил знаменитого нашего артиста Аркадия Райкина, изображавшего советского чинушу: «личный покой — прежде всего». Но в общем-то было не до смеха. Мельников несколько раз повторил, обращаясь к Самсонову: «Ведь говорил же Белоконев, чтобы Вы книгу не издавали, ведь говорил же, а Вы не послушались». (Генерал-майор Белоконев от имени КГБ подписал отрицательную рецензию на мою рукопись.)

Драматическим было выступление Петровского. Держался он твердо и смело, решительно отклонил обвинение, будто его речь была антисоветской, так же как и приписываемое ему составление «*Краткой записи*». Относительно моей книги он сказал, что считает ее честной и партийной. Тогда члены Комитета начали бросать реплики и подзадоривать его... Кульминационным моментом в выступлении Петровского было его заявление, что партследователь Гладнев кричал на него, стучал кулаками по столу и, наконец, заявил ему: «Я был бы горд, если бы мое имя стояло рядом с именем товарища Сталина». В зале начался неясный шум. Побагровевший Гладнев попросил предоставить ему слово, но... не опроверг последнего утверждения Петровского! Гладнев знал, что в этой аудитории было много приверженцев курса на реабилитацию Сталина. Я уверен, что многие сидевшие в зале сочувствовали Гладневу, и они были бы не прочь, если бы их портреты вывесили рядом со Сталиным.

«Я сказал Петровскому, — объяснял Гладнев, — что Ленин вовсе не был голубком, когда нужно было, он мог и прикрикнуть и заставить выполнить то, что он приказывал. В этом смысле я и постучал кулаком по столу. Но увидев, что Петровский неправильно меня понял, я извинился».

Здесь Мельников с полуулыбкой победоносно оглядел зал, покивал одобрительно головой, как бы говоря: «Вот видите, Гладнев извинился».

В своем выступлении Петровский напомнил о речи Молотова на сессии Верховного Совета СССР в августе 1939 года, когда он говорил о бессмысленности вести войну под фальшивым флагом «уничтожения гитлеризма». Слова Молотова, которые читал Петровский, падали в мертвую тишину, пока, наконец, заместитель Пельше Гришин заявил: «Партия вопрос о Молотове уже решила».

Петровский. Он был исключен за участие в антипартийной группе. Но внешняя политика, которую он проводил, не была осуждена.

Кто-то из членов КПК негодующе сказал: «Мы сейчас обсуждаем вопрос не о Молотове, а о Вас, товарищ Петровский».

Затем Петровский неожиданно начал говорить о своей семье, о том, что семья отдала «четыре прекрасных жизни» и что он, несмотря на несправедливость, допущенную по отношению к его семье, вступил в КПСС, потому что верит в торжество правды, в торжество коммунизма. Члены КПК с облегчением вздохнули. После выступления Петровского был объявлен перерыв. Члены Комитета во главе с Пельше остались в его кабинете, а остальные вышли в секретарскую комнату и в коридор. Я отметил про себя любопытную деталь: всем был предложен чай с сахаром и лимоном, членам же Комитета, кроме того, принесли еще и сушки! Даже в такой мелочи все по рангам, согласно занимаемому положению, подумал я.

Перед тем как покинуть зал заседаний, я подошел к Пельше и передал ему папку, в которой лежали напечатанные на машинке выписки из документов и другие материалы, подтверждавшие мою точку зрения.

«Хорошо, — ответил Пельше, — передайте материалы Сдобнову». — «Но, — возразил я, — там мое дело уже закончено. Теперь оно решается здесь», — жестом показал на край стола, где сидел Пельше. «Хорошо, — бесстрастно повторил Пельше, — оставьте папку здесь». Я положил папку и вышел в коридор. Там толпились люди. Подошел к секретарше, она налила мне чаю.

«Неудачно ты выступил», — сочувственно говорит мне Гапоненко. «Да, неудачно», — извиняюще улыбается Севастьянов. Самсонов молчит. Затем Гапоненко, чтобы развеселить нас, начал рассказывать что-то смешное. Я рассмеялся. В это время мимо проходил Мельников. Когда заседание возобновилось, он начал свою речь такими словами: «Мы здесь Некрича критикуем, а он ничего, ходит себе, улыбается...»

Очевидно, во время чаепития в кабинете Пельше члены Комитета были проинструктированы, как им вести себя. События развертывались совсем не привычным образом: пока что никто не каялся, лишь Самсонов признал свою ошибку в очень достойной и спокойной манере.

После перерыва первым слово получил Поспелов. Невозможно пересказать всего, что он наговорил. Это была сплошная мешанина из каких-то обрывков воспоминаний о войне, рассказа о том, как лили специальную бронебойную сталь. Все это подавалось в лучших традициях сталинского времени. Слушая Поспелова, я чувствовал себя помолодевшим если не на 30, то во всяком случае на 20 лет. Он совершенно беззастенчиво перевирал то, что у меня было написано в книге. Делал он это со сноровкой профессионала, всю свою жизнь посвятившего этому ремеслу. Поспелов прекрасно знал, что он говорит для людей, большинство из которых книги Некрича не читало, а в лице Поспелова чтут саму партийность. В самом деле, этот бывший преподаватель

латыни был ныне освобожденным членом Президиума Академии наук СССР, глазами и ушами партии в этом ареопаге советской науки, членом ЦК КПСС. В прошлом он был одно время кандидатом в члены Президиума ЦК, секретарем ЦК КПСС, ответственным редактором «*Правды*» и пр. и пр. Профессору Поспелову, так же как и выступившему после него Деборину, было важно показать Комитету партийного контроля, что они осознали не только вредность книги Некрича, но и промахи, допущенные ими во время дискуссии в Институте марксизма-ленинизма. В то время Поспелов был еще директором Института. Мне же Поспелов казался совершеннейшим рамоли. «Боже мой, — подумал я, — и этот склеротик был секретарем ЦК?!»

...Деборин выложил сначала, так сказать, аргументацию «от науки», обернулся затем по сторонам и сказал: «Должен сообщить вам один любопытный факт. — Подождав, пока наступит полная тишина, Деборин продолжал: Некрич, узнав о том, что я написал на его книгу отрицательный отзыв, позвонил мне домой и угрожал мне». Заявление Деборина вызвало соответствующую реакцию: «Ах, угрожал! Вот до чего докатился!» Я со своего места громко произнес: «Это ложь!» Но, разумеется, на мои слова никто внимания не обратил. Однако одного этого «любопытного факта» Деборину показалось недостаточно, и он продолжал: «На кого Некрич опирается за рубежом? Я могу вам сказать. Недавно я был на конференции в Берлине, и там один чехословацкий историк говорит мне: „Что вы все время пишете книги о своих подвигах? Нам нужны книги о ваших просчетах, ошибках, такие, как книга Некрича“.» Реакция на слова Деборина была соответствующей: взрыв негодующих возгласов. «Как же они ненавидят чехов, и, должно быть, не только их», — мелькнула мысль.

Пельше предоставил затем слово еще одному эксперту, генерал-майору Грылеву, начальнику военно-исторического

отдела Генштаба, человеку, известному своими решительными просталинскими взглядами. Грылев, в отличие от Деборина, внешне держался сдержанно, говорил сухо, без эмоций, но в то же время, так же как и Поспелов и Деборин, без смущения искажал текст книги, придумывая и вымысливая логические заключения, которых у меня в книге не было.

Наконец слово получил и. о. директора моего Института Л. С. Гапоненко. У него был большой опыт по части того, как держаться при подобных щекотливых обстоятельствах. Он сразу же подчеркнул, что книга Некрича к Институту отношения не имеет, работа внеплановая, отвечает издательство, и в таком духе Некрича в Институте критиковали, а он обиделся. Потом нашлись люди, которые избрали его в партком... («Да, — усмехнулся я про себя, — нашлись всего 280 человек».). Было в его выступлении одно забавное место: он бросил мне упрек, почему я в «*1941, 22 июня*» не разоблачил книги... меньшевика Абрамовича! Книга эта, как известно, никакого отношения к событиям Второй мировой войны не имела, а касалась Октябрьской революции. Через несколько недель, когда страсти поутихли, я спросил Гапоненко, причем здесь была книга Абрамовича, на что он мне ответил в обычной своей полудружеской манере: «Понимаешь, обстановка была такая, должен же я был что-то сказать»...

...Один за другим начали выступать члены Комитета: первые заместители Пельше — Гришин, Постоволов, затем Мельников, еще кто-то. Их речи дышали ненавистью не только ко мне, а ко всему, что было связано с отходом от Сталина и его политики. Гришин упомянул со злобой о реабилитированных, в смысле, что они сеятели смуты. Что же касается меня, то лейтмотивом всех без исключения выступавших было: «Некрич потерял партийность. Ему не

место в партии». Кто-то предложил исключить из партии также и Петровского, другой возразил, что можно ограничиться взысканием и т. д. И тут со мной случилась странная вещь. Постепенно слова, которые произносились, начали утрачивать для меня какой-либо смысл. Я был потрясен этим взрывом ненависти. Вдруг до моего сознания дошло, что мой случай — желанный повод, чтобы дать излиться этой злобе, накопившейся за последние 10–12 лет, когда эти же люди, воспитанные и выдвинутые в сталинские времена, вынуждены были участвовать позднее в антисталинских мероприятиях. Они делали это скрепя сердце, часто саботируя или интерпретируя по-своему решения, принятые Центральным Комитетом, указания Хрущева, стараясь его скомпрометировать.

...Здесь разыгрывался пошлый фарс. И я фактически отключился от того, что происходило дальше, слышал лишь гул голосов. Потом вдруг кто-то тронул меня за плечо. Оказывается, мне предоставлено последнее слово. Что сказать этим людям, от которых я так бесконечно далек? Что сказать этим людям, которые так откровенно позволяют себе выступать в защиту сталинизма, формально осужденного партией, и делают это с одобрения председательствующего, члена Политбюро партии? Опровергать факт за фактом то, что они здесь говорили? Бессмысленно. И я произношу всего четыре фразы: «Я потрясен всем тем, что я здесь услышал. Я должен это осмыслить. В партии я не случайно, вступил в нее на фронте. Свою книгу писал, исходя из патриотических побуждений». Произношу эти слова и сажусь. В зале мертвая тишина. Пельше подводит итог. Существуют две точки зрения: одна — Некрича, другая — партии. Они несовместимы. Вывод: исключить из КПСС. Обоснование и формулировку он читал по уже заранее приготовленному и напечатанному тексту. Мне запомнилось лишь: книга

антипартийная, использована реакционной пропагандой, врагами партии — троцкистами и еще кем-то, упорствует в своих ошибках. Затем: «Сдайте Ваш партбилет». Я встаю и иду по направлении к двери. Ко мне подходит немолодой уже человек, полусочувственно-полуопасливо смотрит на меня, уж не начну ли я, чего доброго, кусаться?! Нет, не начну...

Спускаюсь по лестнице вниз, к выходу из здания. Внезапно останавливаюсь в недоумении: как же я выйду из здания ЦК, ведь партбилет-то у меня отобран? Сотрудник госбезопасности, проверяющий документы при входе и выходе, вопросительно смотрит на меня.

— У меня партбилет отобрали.

— Ваша фамилия? — Называю себя.

— Можете идти.

Кажется, это все. Я выхожу на улицу. По-прежнему душно. Развязываю галстук и кладу его в портфель. Делаю глубокий вдох, а затем выдох. И по привычке начинаю в уме производить новые слова: вдох — вход, выдох — выход.

Черт! Значит, выдох — это выход, а выход — это выдох! Почему-то я вдруг успокаиваюсь и ухожу прочь, все дальше и дальше от серого здания ЦК КПСС на Старой площади...

Несмотря на то, что заседание Комитета партийного контроля было подготовлено тщательно, вся основа обвинения была крайне зыбкой. Больше того, тем, кто готовил мое дело, пришлось прибегнуть не только к передержкам и фальсификации текста книги, но и к прямой лжи, к введению в заблуждение членов Комитета партийного контроля. Но скорее всего такова была испытанная и проверенная годами партийная практика, где правда вообще не имела значения.

Приведу один пример. Сдобнов в своем выступлении заявил, будто на книгу имеются отрицательные отзывы маршалов Советского Союза И. С. Конева, К. С. Москаленко,

Ф. И. Голикова. Это утверждение Сдобнова должно было произвести соответствующее впечатление на членов Комитета, хотя ни один из этих отзывов зачитан не был. Я не мог на заседании опровергнуть Сдобнова. Но через несколько дней я выяснил, что маршал Москаленко категорически утверждает, что никто к нему за отзывом на мою книгу не обращался, и, таким образом, отзыва он не писал. Что же касается отзыва Ф. И. Голикова, то такой отзыв был им действительно дан. Вот что он написал, прочитав книгу. Печатаю полностью:

Сразу же о книге по прочтении

— Исследование, близкое к расследованию, если не к следствию.

— Хорошая, правильная, полезная и весьма ценная книга, бесспорно, актуальная.

— В книге очень много таких данных, которые неизвестны не только одному массовому читателю, но и высшим кругам общества.

— Обнаруживается, что у нас не издано многих нужных книг иностранных авторов, в том числе и особенно нужных книг немецких авторов.

— Применительно к себе:

а) очень многое из прочитанного мне было неизвестно, в том числе о действиях Генштаба и НКО, а также Сталина;

б) многое из перечисленных в книге источников я должен прочитать, притом впервые;

в) многие из источников недоступны, т. к. они у нас не изданы, а также в силу неудовлет. знания нем., анг., и др. языков;

г) в ходе чтения припомнилось многое из работы РУ;

д) по прочитанному можно составить довольно большой перечень вопросов для собственной работы над воспоминаниями о работе РУ, в т. ч. о вопиющей несогласованности между ведомствами, которые вели разведку, о полном отсутствии контакта между ними;

е) по теме о военной миссии в Англии и США обратиться за консультацией к А. М. Некричу, может быть, за помощью.

24.XI...65 г. Карловы Вары.

Голиков

Интересно, что одним из главных аргументов, подкрепляющим утверждение, будто автор подпал под влияние буржуазной идеологии, послужил подсчет количества сносок на иностранные источники и на советские, произведенный Сеничкиным, Гладневым и Сдобновым. Этот подсчет, по их утверждению, показал, что количество сносок на иностранные источники больше, чем на советские. Какое, казалось бы, это вообще имеет значение? Но, нет. Этот аргумент был использован не только ими, но и одним из выступавших членов Комитета партийного контроля. Забавно, однако, что и здесь партследователи смухлевали: ради интереса я как-то пересчитал сноски, оказалось, что ссылки на советские источники все же преобладают! Вот на каком уровне находится наша идеологическая элита: а ведь Сдобнов — доктор экономических наук, профессор Высшей партийной школы!

В конце июля я составил подробный разбор обвинений, выдвинутых на заседании КПК, и этот 28-страничный документ пошел бродить по белу свету.

Однажды меня пригласил к себе новый секретарь парткома Павел Волобуев (позднее директор Института истории СССР) и просил этот документ не распространять...

* * *

Через несколько часов после моего исключения из партии я возвратился домой и позвонил секретарю партийного комитета В. П. Данилову, коротко рассказал ему, как было дело, и попросил приехать. Он долго отнекивался, видимо, ему не хотелось приезжать. В конце концов у меня собралось

несколько членов партийного комитета, которым я подробно изложил, что произошло. Я высказал мнение, что мое исключение будет обращено против парткома в целом и что, вероятно, партийному комитету лучше всего будет отказаться от моей защиты. Зная нашу партийную систему, я отдавал себе отчет в том, как могут развернуться события. Члены парткома были растеряны, да и как было им не быть растерянными. После короткого обмена мнениями они разошлись по домам. Это была моя последняя встреча в составе партийного комитета.

Все мои дальнейшие шаги были предприняты с целью оградить моих бывших коллег по партийному комитету от преследований мстительного аппарата ЦК. Не следует забывать, что отдел науки возглавлял С. П. Трапезников, остро ненавидевший Институт истории и особенно Данилова, которого он считал не только историком коллективизации, сошедшим с правильного партийного пути, но и персонально ответственным за неизбрание его, Трапезникова, в члены-корреспонденты Академии наук СССР, в чем он, впрочем, заблуждался.

Я решил действовать согласно партийным канонам и, не дожидаясь получения официальной формулировки об исключении, 4 июля 1967 года отправил заявление в Политбюро с призывом пересмотреть решение Комиссии партийного контроля.

Решение КПК, оглашенное Пельше, состояло из пяти пунктов: первый пункт касался меня, второй — Самсонова, которому был объявлен выговор с занесением в учетную карточку, в третьем пункте Болтину и Тельпуховскому указывалось на недостатки в проведении обсуждения моей книги, в пятом пункте предлагалось создать комиссию для проверки работы парторганизации Института истории и оказания ей помощи. А в четвертом пункте предписывалось

произвести расследование непартийного поведения отдельных коммунистов, выступавших на дискуссии в Институте марксизма-ленинизма. Цель была одна — принудить к покаянию всех и, таким образом, зачеркнуть дискуссию в Институте марксизма-ленинизма, будто ее вовсе и не было.

Прежде всего в Комитет партийного контроля к тому же Сдобнову были вызваны Кулиш, Дашичев, Анфилов, т. е. все военные. Не могу точно сказать, что там происходило, но дело ограничилось строгим внушением. Анфилов, как говорят, написал покаяние. Отдельно на Комитет был вызван доктор исторических наук Лев Юрьевич Слезкин. Это один из честнейших людей, которых я когда-либо встречал в жизни. Сын известного, увы, напрасно забытого теперь русского писателя Юрия Слезкина, Лева еще во время финских событий 1939 года был мобилизован в армию и прослужил там вплоть до окончания войны в 1945 году. Мы с ним были однолетками, оба родились в 1920 году. Мать Левы была когда-то актрисой, и от родителей он унаследовал очень тонкую нервную организацию и эмоциональную реакцию. Во время войны Лева Слезкин был командиром танка, и во время танковой атаки в горящем танке лишился одного глаза. С тех пор он ходил с черной повязкой на лице, и эта повязка очень шла к его тонкой фигуре и чуть удлиненному лицу. Во всем его облике было нечто романтическое, да он и был по своей натуре романтиком. После войны он окончил исторический факультет Московского государственного университета, аспирантуру под руководством профессора А. С. Ерусалимского, затем стал доктором наук, специалистом по истории США и стран Латинской Америки. Он написал несколько очень хороших книг. Дважды был командирован на Кубу. Вернувшись в Москву, он написал «*Историю кубинской республики*».

После своего возвращения с Кубы Лев Юрьевич был вызван в Комитет Партийного Контроля. Наверное продержали его там не один час. Вышел он оттуда со «строгим указанием». Вроде это было и не взыскание вовсе, но когда в последующие годы заходила речь о заграничной командировке, кандидатура профессора Слезкина неизменно отклонялась. Вот уже 12 лет как его не выпускают за границу.

По счастью доктор исторических наук Слезкин натура творческая. В 1979 году вышла в свет первая часть замечательного исследования, которому он отдал много лет своей жизни — «*У истоков американской истории*», о ранней истории Соединенных Штатов Америки. Эта книга сразу же стала бестселлером.

Когда я думаю о наказании, которое постигло почти всех участников дискуссии, не могу отделаться от мысли, что дело было не только в книге, а в общей тенденции, возникшей в нашей стране вскоре после революции. Партийная установка, нигде публично не высказанная в прямой форме, заключалась в том, чтобы создать новую коллективную память народа, начисто выбросить воспоминания о том, что происходило в действительности, исключить из истории все, что не соответствует или прямо опровергает исторические претензии КПСС. Очистка коллективной памяти производилась прежде всего путем физического уничтожения живых свидетелей истории. Систематический террор уничтожил послойно российскую интеллигенцию — хранительницу народной памяти, включая всех представителей буржуазных партий, за ними последовали эсеры, потом марксисты-меньшевики, и, наконец, марксисты-большевики. После этого начались регулярные чистки среди нового поколения гуманитариев. И каждый раз народ избавляли от части его коллективной памяти, от части его истории. Взамен насаждалась память о том, чего на самом деле не

было — искусственная память. А если кто-нибудь вдруг всплеснет руками, да воскликнет: «Помилуйте, так ведь все не так было!», — он и есть самый опасный человек. И тут власть требует отречения и покаяния, а если нет, то начинает мстить.

Мстительность власти, я бы сказал, мелкая мстительность власти — это неотъемлемая характерная черта советского режима.

После моего исключения из партии пострадали почти все мои друзья, не только один Слезкин. Каждый по-своему, конечно. Никто из них не получал больше разрешения на выезд за границу. Одна сотрудница Института, с которой мы были дружны когда-то, была удалена с поста ученого секретаря Института. Разумеется, формальная причина была подыскана.

Однако «промыванием мозгов» дело не ограничилось. Дашичев, Кулиш, Анфилов ушли в отставку с военной службы. Известного публициста Евгения Александровича Гнедина долго таскали в Комитет партийного контроля, а он до того провел в сталинских лагерях семнадцать лет. В течение двух лет КПК пытался «схватить» Алексея Владимировича Снегова, старого коммуниста, отсидевшего также семнадцать лет на Колыме, а после возвращения ставшего активным борцом за восстановление исторической правды. Было предписано исключить Снегова из партии. Самсонов лишился своего поста директора издательства «Наука», через некоторое время его назначили главным редактором институтского издания «*Исторические записки*». Расправа коснулась не только тех, кто принимал участие в обсуждении моей книги, но заодно и тех, на кого сталинисты давно точили зубы.

Репрессии обрушились, например, на Виктора Ивановича Зуева, который много лет проработал в издательстве «Наука»

сначала редактором, затем заведующим редакцией истории, заместителем главного редактора издательства. Много лет Виктор Иванович был секретарем партийной организации издательства. Человек безукоризненной честности, преданный своему делу, он пользовался огромной популярностью не только среди сотрудников издательства «Наука», но и среди многих ученых, работавших в системе Академии наук СССР и в военных кругах. Зуев был участником Отечественной войны, был ранен, и прихрамывающая походка навсегда осталась памятью о войне. Благодаря инициативе и энергии Зуева в издательстве «Наука» начала выходить военно-историческая серия. Эта серия пользовалась и пользуется большой популярностью. Независимость суждений Зуева, его авторитет, откровенность в высказывании мнений, оценок рукописей вызывала злобу и недовольство партийных бездельников и невежд, которые пытались протолкнуть свои очень слабые рукописи в печать; стремясь прикрыть свою некомпетентность, а иногда и просто безграмотность, эти авторы писали заявления на Зуева, обвиняя его в разного рода политических ошибках и промахах (между прочим, среди них было и «покровительство Некричу»). В конце концов им удалось после острой борьбы вынудить Зуева покинуть издательство и перейти на работу в журнал «*Новая и новейшая история*».

Через две недели после моего исключения из партии я был вызван в Октябрьский райком КПСС, где зав. отделом Книгин ознакомил меня с постановлением КПК. Оно гласило:

«1. Исключить члена КПСС Некрича Александра Моисеевича, члена КПСС с марта 1943 года, партбилет № 00158709 за преднамеренное извращение в книге «*1941, 22 июня*» политики Коммунистической партии и советского правительства накануне и в начальный период Великой Отечественной войны, что было

использовано зарубежной реакционной пропагандой в антисоветских целях».

(подпись:) ПЕЛЬШЕ

Когда я прочел это решение, я был обеспокоен формулировкой «преднамеренное извращение», ведь это выражение соответствует юридической формуле «с заранее обдуманным намерением», «со злым умыслом». Она может, не обязательно, конечно, но в случае необходимости открыть дорогу для уголовного преследования. Откуда взялась эта формулировка? Тут я вспомнил, что в документе, подготовленном Комитетом партийного контроля, содержалась такая фраза: «то ли по недомыслию, то ли по злому умыслу». Мне предоставлялась на Комитете возможность покаяться, и тогда считалось бы, что «проступок» совершен мною «по недомыслию». Мой отказ принести покаяние автоматически привел к другой формулировке, в которой присутствовала преднамеренность деяния. Такая формулировка могла висеть над моей головой подобно дамоклову мечу.

Поэтому 15 июля я отправил второе письмо Брежневу, в котором решительно протестовал против этой формулировки и против исключения из КПСС.

Еще до заседания Комитета партийного контроля, когда меня впервые ознакомили с обвинительным документом, я обратил внимание, что мне показали лишь часть документа, первые десять страниц. Позднее уже на заседании я понял, почему так было сделано: мне не хотели показать обвинений, выдвинутых против партийного комитета Института истории, членом которого я был. Не был допущен на заседание Комитета и секретарь партийного комитета В. П. Данилов, несмотря на его просьбу. Далее в одном из пунктов постановления КПК по делу Некрича

предусматривалось создание комиссии для проверки работы парторганизации Института истории.

Выше я уже писал, что давно подозревал, что атака, которая ведется против моей книги, на самом деле задумана как более широкое мероприятие, направленное к роспуску «демократического парткома» Института истории и к прекращению критики Сталина. На «верху» уже давно с тревогой наблюдали за деятельностью нашего парткома. В ЦК были посланы десятки доносов, которые содержали политические обвинения. Секретарь парткома Данилов не успевал отвечать на все эти запросы и обвинения. Изменить состав партийного комитета законным, выборным путем не удалось. Поэтому «дело Некрича» собирались использовать как предлог для замены парткома другим, конформистским. Исключение меня из партии должно было разобщить партийную организацию Института, усилить позиции просталинских элементов, вызвать шатания и неуверенность в составе самого парткома, парализовать его волю и его активность. Но на первых порах решили действовать осторожно. Ведь «дело Некрича» покоилось на весьма шатких основаниях.

В Институте истории исключение меня из партии произвело ошеломляющее впечатление, некоторые члены партии звонили в Комитет партийного контроля, встречались со Сдобновым и Гладневым, которые давали какие-то невнятные разъяснения. Суть этих разъяснений сводилась к следующему: дорога назад, в партию Некричу не заказана, но он должен перестроиться...

Несколько членов партии обратилось с письмом в Политбюро, в котором выражали сомнение в правильности обвинения о «преднамеренном извращении политики партии» в книге *«1941, 22 июня»* и просили вопрос об исключении пересмотреть. Учитывая настроения, царившие

в тот момент в партийной организации Института, в ЦК было решено созвать институтское партийное собрание лишь для информации о решении КПК, прений ни в коем случае не открывать, ограничиться обычной резолюцией — «принять к сведению». Собрание было непродолжительным. Были попытки со стороны сталинистов внести резолюцию, одобряющую решение Комитета партийного контроля, но представитель райкома напомнил, что это не требуется.

Положение мое было довольно сложным. Обычно после исключения из партии гуманитария снимали с работы или переводили куда-нибудь с глаз долой, например, в библиотеку. Меня же решено было на работе оставить. Чье это было решение, сказать трудно. Решение Комитета партийного контроля утверждалось на заседании Политбюро или на заседании секретариата ЦК. Рассказывают, что Пельше, докладывая мое дело, предложил снять меня с работы, но эта часть его предложения не получила поддержки. К этому времени выяснилась реакция коммунистических партий социалистических стран и Западной Европы. Оказалось, что повсеместно книга вызвала положительные отклики, было опубликовано множество рецензий, причем в некоторых из них отмечалось, что опубликование книги Некрича опровергает слухи, будто в СССР происходит реставрация сталинизма. В то время мимо такого рода реакции пройти было просто невозможно. Кроме того, не все члены Политбюро, видимо, были согласны с решением КПК. Спустя несколько лет на совещании редакторов газет Полянский извлек мою книгу из письменного стола и сказал: «Не понимаю, что в этой книге плохого».

Немаловажное значение имело и мое поведение после исключения. Оно соответствовало традиционным представлениям: подал апелляцию в ЦК КПСС, обратился в

свой партком с просьбой поддержать апелляцию. Но именно здесь произошла почти драматическая история, о которой следует рассказать.

В ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АН СССР

ЗАЯВЛЕНИЕ

28 июня с. г. решением Комитета партийного контроля при ЦК КПСС я был исключен из членов партии.

4 и 15 июля я обратился в Политбюро ЦК КПСС на имя генерального секретаря партии тов. Л. И. Брежнева с просьбой пересмотреть это решение (копии этих заявлений были переданы мною в партком). Мотивы просьбы подробно изложены в этих заявлениях.

В связи с тем, что на протяжении 22 лет (с 1945 г.) я принимал активное участие в работе партийной организации Института истории, и моя научная деятельность протекала на глазах коллектива сотрудников Института, прошу партийный комитет поддержать мою просьбу о пересмотре решения о моем исключении из КПСС.

1 сентября 1967 г.

Доктор исторических наук
(А. М. Некрич)

Через день секретарь парткома В. П. Данилов в присутствии своего заместителя Я. С. Драбкина сказал мне, что на ближайшем заседании партийного комитета мое заявление будет рассмотрено. При этом Данилов заверил меня, что он поддержит мое ходатайство. То же самое обещал мне и Драбкин.

Я не сомневался, что ходатайство действительно найдет поддержку в парткоме, членом которого я еще так недавно был, хотя и не верил в восстановление в партии.

Для меня было большим ударом, когда я узнал через несколько дней, что партийный комитет решил воздержаться от ходатайства. Еще большим ударом было для меня, что ни Данилов, ни Драбкин моего ходатайства не поддержали. Было несколько членов парткома, которые настаивали на ходатайстве, но они оказались в меньшинстве. Я думаю, что это решение и было началом конца парткома, поскольку многие члены его утратили моральную силу не только в глазах коллектива, но и в своих собственных. Как и полагается в таких случаях, Данилов говорил о том, что «мы не можем жертвовать интересами коллектива Института ради интересов одного человека». Старая, очень старая песня... Никому такая позиция не пошла еще на пользу, не пошла она на пользу и самому Данилову.

Кажется, ничто, даже исключение из партии, не подействовало на меня так, как поворот руководителей парткома на 180 градусов. Я был удручен ужасно, и было тоскливо на душе. Единственно, что меня немного приободрило, что многие мои товарищи осудили позицию Данилова, считая ее ошибочной и недальновидной.

Осенью 1967 года произошли очередные выборы в партийный комитет, и его состав был почти полностью обновлен.

Поскольку я подал апелляцию в ЦК КПСС, то меня не трогали. Ожидали, каково будет решение. У меня была плановая работа, которая завершалась только в конце 1969 года, часть ее уже обсуждалась на заседании сектора и со стороны служебной ко мне никаких придирок быть не могло.

В промежутке журнал «*Вопросы истории КПСС*» опубликовал обширную статью Деборина и Тельпуховского обо мне. Статья называлась «*В идейном плену у буржуазных фальсификаторов истории*». Она повторяла и развивала основные положения выступлений на заседании Комитета

партийного контроля. Теперь, когда все это вылезло наружу, сразу выяснилось, что обвинения не выдерживают критики. Деборин и Тельпуховский не постеснялись и здесь, «на глазах у изумленной публики», заниматься подлогами и передержками.

В скором времени я отправил в редакцию журнала подробный разбор статьи и, идя от одного обвинения к другому, показал их нарочитость и абсурдность. Копии письма были мною отправлены Брежневу и в Президиум Академии наук СССР.

Статья Деборина и Тельпуховского вызвала среди общественности взрыв негодования. В редакцию посыпались индивидуальные и коллективные письма историков, писателей, старых большевиков и просто читателей журнала. Процитировать их все здесь невозможно, для этого понадобились бы буквально сотни страниц. Отмечу лишь, что среди тех, кто открыто выразил свое осуждение статьи, были историки-академики Н. Дружинин и М. В. Нечкина, председатель Национального комитета советских историков А. А. Губер, известный экономист академик С. Струмилин, писатели В. Каверин, В. Тендряков и поэт Б. Слуцкий. Прошу всех тех, кого я не называю здесь, простить меня и правильно понять причины этого. Я помню обо всех и благодарю их. Приведу лишь одно письмо, самое краткое, но достаточно выразительное.

В редакцию журнала «*Вопросы истории КПСС*»

Уважаемые товарищи!

Ознакомившись в № 9 текущего года с разносной рецензией Г. А. Деборина и В. С. Тельпуховского на книжку А. М. Некрича и сличив ее с действительным содержанием этой книжки, считаю своим долгом ученого и коммуниста заметить следующее:

Книжку Некрича можно расценивать по-разному, но и в самой резкой критике есть грань, за которой она сама уже становится вряд ли терпимой клеветой. И я боюсь, что рецензенты книжки Некрича, вольно или невольно искажая до неузнаваемости ее содержание, уже оказались на этом скользком пути. Было бы, однако, еще только полбеды, если бы каждый из них рисковал при этом лишь своей собственной репутацией правдолюбия. Гораздо хуже то, что подобные рецензии совсем не украшают и журнал, на страницах которого они бытуют без достойного последующего на них отклика самой редакции или ее читателей. Нельзя допустить, чтобы читатели журнала, выходящего под маркой нашей партии, обращаясь к нему в поисках исторической правды, могли почувствовать себя хотя бы один раз обманутыми на его страницах.

Надеюсь, что меня поймет редакция журнала.

9/XII–67 г. Академик С. Струмилин

...Как-то я сидел в одиночестве дома, когда раздался звонок в дверь. На пороге стоял, чуть улыбаясь, пожилой человек очень интеллигентного вида. Он мне сразу понравился, и я попросил его войти в комнату. Сели. Незнакомец сказал мне:

— Вам шлет привет генерал Григоренко, — и вынул из портфеля пакет. В пакете было письмо генерала и его статья о начале войны, получившая затем всемирную известность.

Привожу текст письма Петра Григорьевича Григоренко полностью.

Глубокоуважаемый Александр Моисеевич!

Прочитав рецензию на Вашу книгу в журнале «*Вопросы истории КПСС*», я долго не мог прийти в себя. Книга как по содержанию, так и по способу изложения не дает никаких оснований даже для сотой доли тех обвинений, которые выдвинуты в рецензии. Поэтому я расценил последнюю как попытку наложить запрет на распространение Вашего труда.

Не возмутиться этим честный человек не может. Жизненная важность этой темы для нашей страны не может быть оспорена. Разработка же ее по сути даже не начата. Даже Ваша книга более заявка на тему, чем ее разработка. Учитывая это, я, по-видимому, проявил в своем письме несколько большую горячность, чем следует в моем положении. Но это пусть останется на моей совести. Меня расстроит только одно: если что-нибудь из написанного мною в прилагаемом письме будет расценено как неуважение к Вам и Вашему труду. Наоборот, я искренне преклоняюсь перед Вашим гражданским мужеством и умением в доходчивой и тактичной форме раскрыть очень острую тему.

С искренним уважением П. Григоренко

Приложение: Копия письма в редакцию журнала *«Вопросы истории КПСС»*.

P. S. Если Вы с чем-либо не согласны в письме, буду рад получить Ваши возражения и замечания в устной или письменной форме, как Вы сочтете более удобным для себя. Адрес и телефон в конце письма.

П. Г.

Разумеется, я был чрезвычайно обрадован этим письмом. Ведь генерал Григоренко был для меня символом честности, смелости и неподкупности. Письмо пролежало у меня десять лет. Теперь наконец я могу его опубликовать.

Сдобнов и другие «заказчики» этой статьи были несколько смущены реакцией общественности, но и тут не растерялись и начали объяснять в ЦК высокопоставленным лицам, что, мол, все эти отклики инспирированы самим Некричем. Абсурдность этого очевидна.

Заместитель заведующего отделом науки ЦК КПСС проф. Чехарин был весьма неприятно поражен такой реакцией и предложил редакции журнала сделать подборку писем читателей и обязательно опубликовать отклики нескольких академиков. Ответственный же редактор журнала

Косульников действительно опубликовал несколько выдержек из писем, в которых статья Деборина и Тельпуховского одобрялась!

В этих условиях, видно, и было решено потихоньку «дело Некрича» приглушить, а его самого — на работе оставить, но ограничить публикацию работ, за границу не пускать, аспирантов не давать, на научные конференции не приглашать.

Деборин получил свою награду — орден Трудового Красного Знамени к 60-летию со дня рождения.

Но приглушить «дело Некрича» уже нельзя было, ибо сами его организаторы создали этому делу максимум паблисити. В ближайшие годы один за другим начали выходить переводы *«1941, 22 июня»*, сопровождаемые комментариями, документами, прологами и эпилогами. Книга была переведена и издана в Польше, Чехословакии, Венгрии, Италии, Австрии, Франции, Югославии, США.

В конце ноября 1967 года партследователь Сдобнов сообщил мне по телефону, что моя апелляция отклонена. Да и как могло быть иначе? Ведь я не проявлял желания каяться, а это противоречило всем неписанным законам, установленным в партии. Церковь нуждается в грешниках, но в грешниках раскаявшихся. Нераскаянный грешник как бы бросал вызов церкви. Но в то же время, совсем как в темные века инквизиции, еретик покаявшийся все равно оставался в глазах церкви еретиком, и обращение с ним было соответствующее. То же самое было и в КПСС. Если бы меня не исключили из партии, то всю мою оставшуюся жизнь мне бы напоминали о моих «грехах» и о великодушии партии, которая меня простила и вернула в свое лоно. Так и происходит моральное уничтожение человеческой личности.

После ноября 1967 года я не только не обращался в высшие партийные органы с просьбой о восстановлении

меня в партии, но неизменно уклонялся от неофициальных приглашений совершить формальное покаяние и дать возможность Комиссии партийного контроля простить меня. Такого рода намеки и предложения делались мне много раз в течение последующих девяти лет и в последний раз — во время моего разговора с директором Института всеобщей истории академиком Е. М. Жуковым в конце февраля 1975 года. Эти предложения передавались мне разными людьми, связанными с партийными органами и с органами государственной безопасности.

Сразу же после моего исключения из партии на собраниях пропагандистов начали разъяснять, по каким причинам это произошло. И в самом деле, положение было довольно странное: исключают из КПСС не за подпольное издание, не за издание, вышедшее за рубежом, а̀ за книгу, мытую-перемытую в цензуре, опубликованную советским научным издательством. Естественно, что докладчикам приходилось извиваться, как ужам на сковородке.

Интересно, однако, что же говорили докладчики. Вот краткая запись одного из выступлений в партийном кабинете МГК КПСС.

Докладчик. Немало гнусного написано о Великой Отечественной войне. В Москве, например, вышла книга доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории Некрича. В книге по существу содержится критика советской политики в начале войны. Некрич старается вслед за буржуазными пропагандистами доказать, что если бы СССР не заключил договора с гитлеровской Германией, а пошел бы на сближение с Англией и Америкой, которые хотели честно остановить гитлеровскую агрессию, то Второй мировой войны не было бы. Не говоря уже о том, что это клеветническая трактовка войны, налицо явное совпадение взглядов реакционных английских и германских буржуазных пропагандистов со

взглядами советского историка. В книге содержится утверждение, что Советский Союз вел себя коварно, а западные державы честно. В советской исторической литературе эти вопросы освещены достаточно: англо-французская дипломатия пыталась толкнуть гитлеровскую Германию на СССР.

Нам все ясно. Нельзя не отметить, что книга Некрича построена на буржуазных источниках и игнорируются советские данные. Некрич в конце концов обвинил партию и правительство, что они не подготовили достаточно страну к нападению, что не было достаточной перевооруженности.

На московском городском комсомольском активе в середине июля 1967 года докладчик получил две записки. Первая: а может быть, Некрич просто ошибся, а не делал этого преднамеренно?

— Нет, — последовал ответ, — он не мог ошибиться. Ведь он доктор исторических наук.

Вторая: почему решение об исключении принято два года спустя после выхода книги?

— Все это время ему старались разъяснить его ошибки, но он не хотел слушать.

Однако мнения были далеко не однородными. На одном закрытом собрании докладчика, ответственного работника, спросили, не считает ли он, что «дело Некрича» наносит Советскому Союзу огромный ущерб за рубежом. На что тот ответил откровенно: «Да, была сделана большая глупость, придется его восстановить».

Сообщение об исключении было немедленно передано за рубеж многими корреспондентами иностранных газет и радио. Комментаторы оценивали исключение как усиление нажима сталинистов и укрепление их позиций в руководстве партией.

По иронии судьбы именно в это время вышел перевод моей книги в Чехословакии, затем в Венгрии, чуть раньше книга вышла в Польше.

...Очень многое переменилось в нашей стране после смерти Сталина, и совершившиеся перемены были необратимы, несмотря на все зигзаги истории. В сталинские времена я был бы немедленно арестован и осужден как враг народа. От меня, возможно, отвернулись бы некоторые мои друзья, а знакомые вообще бы заявили, что такого человека знать не знают и в глаза не видывали. Это было очень обычно и даже не вызывало негодования, лишь горький осадок в душе.

Мое исключение из партии не только не вызвало охлаждения со стороны моих друзей, но скорее наоборот, каждый из них на свой лад и манер старался сделать мне что-нибудь приятное. Один из моих друзей повез меня «проветриться» в места, где жил когда-то великий русский поэт Александр Пушкин, на Псковщину, в Михайловское и Тригорское. Это была чудесная прогулка, которая позволила мне быстро прийти в себя.

Ко мне очень хорошо относились многие мои сослуживцы по институту. Даже большинство недругов было сдержано в выражении своей неприязни.

Мои друзья никогда не покидали меня в самые сложные, тяжелые моменты моей жизни. Я счастлив в друзьях. Они и я составляли неразрывное целое, и я верю, что ни расстояния, ни недоразумения, которые ведут иногда к неадекватным последствиям, не могут, в конечном счете, расторгнуть наши душевные узы.

* * *

А что же книга *«1941, 22 июня»?*

20 августа 1967 г. Главлит (т. е. главная цензура) приказала всем библиотекам, в которых нет отдела специального хранения, книгу изъять, списать по акту и уничтожить. И книгу рвут и сжигают во многих библиотеках страны. Это происходит не в средние века, а во второй половине XX века в первом в мире социалистическом государстве.

Глава 9. Девять «тощих» лет

Силен духом будь, не клонись в напасти.
А когда вовсю дует ветер попутный,
Мудро сократи, подобрав немного,
Вздувшийся парус.

Гораций Флакк

Меня «курируют». — Вторжение в Чехословакию. — Отклики в СССР. — Отзвук на Западе. — Реорганизация Института истории. — Пытаются лишить меня докторской степени. — Отбиваю атаки. — Рукопись блокирована. — В исторических институтах. — Случай П. Волобуева. — Всемирный конгресс исторических наук в Москве; меня решено не допускать. — Прорыв

Исключение из коммунистической партии решительно изменило мою жизнь: у меня появилось много дополнительного времени! Никто не привлекал меня больше к общественной работе. Время целиком принадлежало мне, и я мог распоряжаться им по своему усмотрению.

Я давно заметил, что беспартийным ученым, если они профессионалы хорошего уровня, живется куда лучше и вольготнее, чем членам партии. Как-то я подсчитал, что потратил на партийные собрания, общественную работу, на разговоры, с этим связанные, не менее 30–40 процентов полезного жизненного времени (я исключаю из этого подсчета время, необходимое для сна). Если беспартийные специалисты достаточно разумны, чтобы не рваться на командные должности, то даже в условиях тоталитарной системы их преимущества неоспоримы.

Да, у меня было время. Надо было только распорядиться им по-умному. Мой статус был довольно неопределенным. Я не был беспартийным в точном понимании этого слова. Я был бывшим коммунистом, исключенным из партии по политическим мотивам и поэтому занимал какое-то

промежуточное положение, вроде и не член партии, но и не беспартийный. Мне предстояло теперь свыкнуться с моим новым положением. Итак, если не считать моих прямых служебных обязанностей старшего научного сотрудника, я стал гораздо свободнее, чем то было до июня 1967 года. Но теперь появились осложнения другого рода: на моем горизонте начали появляться, а затем исчезать какие-то незнакомые люди, среди них были и очень хорошие, но были и такие, которые вызывали у меня сильное подозрение. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы от них избавиться. И все же ото всех избавиться было невозможно, как невозможно было, живя в условиях советской системы, вдруг чудесным образом устранить одну из наиболее существенных ее частей. Я понимал, что отныне становлюсь объектом повседневного наблюдения со стороны органов государственной безопасности. Это, конечно, не означало, что за мной будут ходить по пятам, но сведения обо мне, о моих разговорах и встречах будут теперь поступать туда систематически. В скором времени я получил предупреждение, что в нашем подъезде установлено подслушивающее устройство, но проверить это было довольно трудно. Проще было с телефоном, который просто можно было отключать. Я прикинул, кто из моих знакомых может иметь специальное поручение от госбезопасности «курировать» меня и не ошибся в своем предположении... Однако таких «кураторов» было несколько, и здесь я допустил грубый просчет. Впрочем, я не могу винить себя за это полностью.

Примерно через месяц после моего исключения из партии мне позвонил один очень известный диссидент (я даже не рискую указать его инициалы, это все равно, что прямо назвать его по фамилии) и спросил меня, не хочу ли я встретиться с одной дамой, которая в прошлом занимала очень высокий пост и дружна с некоторыми

высокопоставленными лицами, которые могут оказать благоприятное влияние на мою судьбу. Он сказал мне, что эта дама готова со мной встретиться на квартире у своего приятеля, которого зовут Абрам Исаакович. Я пришел в назначенное время, и наша встреча состоялась. В течение ближайшего года-полутора я периодически встречался с Абрамом Исааковичем либо у него дома, либо на его работе в постоянном представительстве Азербайджанской ССР. Мы беседовали по преимуществу на политические темы. Абрам Исаакович был в приятельских отношениях с Якиром, Габаем, другими демократами. Некоторых из них я расспрашивал об Абраме Исааковиче и неизменно получал о нем самые благоприятные отзывы как о человеке добром, который помогает демократам в их трудном положении. И это действительно было так. Но, кроме того, Абрам Исаакович был в курсе всех событий, многих подготовляемых демократами акций. У него всегда можно было найти самую свежую самиздатовскую литературу, узнать новости и пр. Один раз он был у меня дома и очень понравился моей матери, особенно потому, что он работал когда-то, как и мой отец, в Азербайджане и, по его словам, знал хорошо некоторых тамошних работников, с которыми был дружен покойный отец. В связи с 50-летием установления советской власти в Азербайджане наша семья (и я уверен, что это Абрам Исаакович внес отца в список) получила благодарственную грамоту от азербайджанского правительства. Позднее я узнал, что именно к Абраму Исааковичу направился 25 августа 1968 г. Якир, когда была знаменитая демонстрация протеста против вторжения советских войск в Чехословакию на Красной площади. В этой демонстрации участвовали Павел Литвинов, Вадим Делонэ, Наталья Горбаневская, Виктор Файнберг, Владимир Дремлюга, Константин Бабицкий, Лариса Богораз.

В демонстрации должен был участвовать и Якир, но, как он позднее утверждал, при выходе из дома он будто бы был задержан милицией. На самом деле в последний момент он дрогнул и ушел к Абраму Исааковичу.

Однако несмотря на наши полудружеские отношения, у меня все время была какая-то неуверенность. С первого моего посещения квартиры Абрама Исааковича на меня произвело странное впечатление, что все стены, потолки и двери Абрама Исааковича были обтянуты тростниковыми матами. Неожиданно декорации изменились, и на этот раз все было обтянуто серым холстом. У меня мелькнула мысль: уж не микрофоны ли скрыты за этими декорациями, но я отогнал эту мысль. Дело в том, что жена Абрама Исааковича была художницей, и у нее могли быть свои причуды. Постепенно, однако, у меня возникли новые сомнения по другому поводу. Однажды я пришел к Абраму Исааковичу на работу и неожиданно для себя застал у него в кабинете очень элегантно одетого азербайджанца лет пятидесяти. Я назвал себя, но азербайджанец не представился. Так мы просидели втроем минут пятнадцать. У меня осталось явное впечатление, что меня демонстрируют. Позднее мне рассказывали, что демократы знали со слов Абрама Исааковича, что у него в КГБ работает приятель из Азербайджана. Я думаю, что это и был его приятель... Интересно и другое, что о каких-то связях Абрама Исааковича было известно давно...

Потом Абрам Исаакович поехал в туристическую поездку в Париж. И это вызвало у меня сомнение. Почему пускают в Париж человека, который так тесно связан с демократами? Но то, что я узнал после возвращения его из Парижа, еще больше встревожило меня. Оказывается, он по своей собственной инициативе выяснял возможности получения гонорара для Е. С. Гинзбург, чья книга о репрессиях

30-х годов — «*Крутой маршрут*» — была издана за рубежом и получила всемирную известность. Евгения Семеновна его об этом не просила. Позднее она приперла его к стене и откровенно заявила ему, что считает его сотрудником КГБ. Но расстался я с Абрамом Исааковичем лишь после того, как у меня исчезли всякие сомнения. Произошло это так. Однажды я пришел навестить его, он был болен, маялся сердцем. Мы поговорили о малозначащих вещах, и я ушел. Буквально на следующий день он мне позвонил и попросил зайти по срочному делу, но разговор все шел о каких-то давным-давно переговоренных пустяках. Я был очень раздосадован, что зря потерял время, и было собрался уходить, но все-таки не выдержал и спросил его, по какому важному вопросу он просил меня прийти. Он немного замялся, а потом сказал:

— Что бы Вы сказали, если бы Вам предложили извиниться за свою книгу и восстановили бы после этого в партии?

Надо сказать, что я очень осторожно отношусь к слухам, будто X, Y или Z сотрудничают с КГБ. Нужны факты, доказательства, бывало и так, что даже те, кто сотрудничал в КГБ, потом рвали с ним всякие связи, хотя очень рисковали при этом.

Я ответил:

— Мне нет нужды извиняться. Мое дело было сфальсифицировано сталинистами и когда-нибудь будет отменено.

— Да, да, Вы правы, — поспешно сказал Абрам Исаакович, и я ушел. Больше мы с глазу на глаз не встречались. Несколько раз он мне звонил, предлагал увидеться, но я от его предложений уклонялся. Последний раз я видел его на похоронах Ильи Габая.

...Не успел я приехать в Институт, как мои приятели говорят мне по секрету, что А., связанная с КГБ по служебной

линии, рассказывает, будто одно высокопоставленное лицо в Комитете государственной безопасности сказало: пусть Некрич признает свои ошибки, и его восстановят в партии. Наконец, третье неофициальное предложение такого же рода поступило примерно в это же время от одного сотрудника Президиума Академии наук...

Разумеется, мои ответы были однозначными. Мой разрыв с партией был окончательным.

Как-то повстречав известного диссидента, который рекомендовал мне Абрама Исааковича, я спросил его напрямик: «Вы знали, что А. И. связан с КГБ?», — на что тот, не моргнув глазом, ответил мне: «Да, я давно об этом знаю и не поддерживаю с ним никаких отношений».

— Но почему же Вы меня не предупредили?

— Разве? А я думал, что Вы знаете!

Вот оно, типично российское разгильдяйство. Года два тому назад Жорес Медведев в одной из своих статей, опубликованных в Англии, прямо назвал А. И. сотрудником КГБ.

Меня «курировал» еще кое-кто. Я догадывался об этом, но так как кто-то должен был меня все равно курировать, то я предпочитал, чтобы это был человек, знакомый мне. Что же поделаешь? Такова жизнь в Советском Союзе.

В конце июля 1968 года мы с Надей отправились в Яремчу, живописное местечко в предгорьях Карпат. Там собралась уже к тому времени довольно большая и веселая кампания наших друзей: физиков, художников и просто симпатичных людей. Мы отдыхали и веселились как могли. А в это время через Яремчу шли эшелоны с военной техникой, солдатами и грузами в сторону чехословацкой границы, которая была здесь неподалеку.

Газеты приходили в Яремчу из Москвы не скоро, и главным источником информации были наши

радиоприемники, по которым мы ловили передачи иностранного радио: Би-Би-Си, «Немецкой волны», «Голоса Америки», австрийской и чешской радиостанций.

Мы с облегчением вздохнули, узнав о встрече советских и чехословацких руководителей в Черни, и решили, что опасность военного вмешательства СССР теперь устранена. Между нами до того происходили ожесточенные споры, пошлет СССР свои войска в Чехословакию или нет. У меня были большие сомнения, но все же я надеялся, что Советский Союз не совершит такой глупости, как интервенция. Некоторые мои друзья были настроены, как оказалось вскоре, более реалистично и возражали мне, что нет такой глупости и такого преступления, которого не могло бы совершить государство, где постоянное насилие освящено законом и традицией.

...А потом мы часами просиживали у радио, которое передавало все новые и новые подробности интервенции в Чехословакию войск социалистических стран. Поток лжи и клеветы на чехов изливала радиостанция в Дрездене. Мы горячо, сердцем надеялись, что на этот раз западные державы найдут силы и возможности, чтобы через ООН хотя бы морально осудить Советский Союз, но как и в 1938 году, во времена Мюнхена и позднее в марте 1939 г. во время расчленения Чехословакии гитлеровской Германией, в ведущих политических кругах Соединенных Штатов Америки и Западной Европы нашлось немало «реальных политиков», которые предостерегали от опасности конфронтации с Советским Союзом. Среди них были люди, гордящиеся своими либеральными убеждениями.

Мне вспоминалась в те дни политика западных держав по отношению к Чехословакии в 1938–39 годах, которую я основательно изучал. В исторической ситуации была, конечно, большая разница, но в психологической гораздо

меньше. Я почувствовал в августе 1968 года, как атмосфера дефетизма начинает распространяться на Западе. Это ощущение значительно обострилось по сравнению с довоенным периодом. Чувство незащищенности перед советскими армиями, готовыми в любой момент, если последует приказ, осуществить рывок к Рейну и устью Шельды, преобладало на Западе. Особенно широко распространилась мысль о том, что Чехословакия уже была сдана западными державами Советскому Союзу в конце Второй мировой войны и составляет часть его зоны интересов, и потому незачем влезать в это дело.

Когда же вскоре после чехословацких событий открылась полоса примирения Советского Союза с ФРГ, которую совсем еще недавно советская пропаганда обвиняла в подготовке вторжения в Чехословакию, «реальные политики» с гордостью повторяли: «Вот видите, мы были правы. Советский Союз теперь успокоился». Но спустя несколько лет была Ангола. И это не будет концом. Между прочим, псевдоугроза Чехословакии со стороны ФРГ была одним из самых главных аргументов в объяснении «братской помощи» чехословацкому народу, который был использован советскими руководителями для домашнего употребления. И этот аргумент оказался внутри Советского Союза необычайно действенным. Два мотива преобладали в настроении населения СССР в то время: немцы опять хотят войны, и второе — «мы чехов освобождали, а они, сволочи, лучше нас хотят жить. Давить их надо». И чехов задавили.

Многомудрые западные политики в своем подавляющем большинстве не поняли в августе 1968 года, как они не понимали и раньше, психологии и движущих мотивов советского руководства, которые отражают сущность советского режима и общества. Советский Союз *принципиально отвергает возможность сохранения статус кво на*

длительный период. Марксистская идеология рассматривает мир как постоянно находящийся в изменении, в движении, и поэтому один из принципов внешней политики СССР, которого он, надо отдать ему справедливость, неуклонно придерживается не только в теории, но прежде всего на практике, — оказывать поддержку любым силам, подрывающим систему, существующую в западных странах. И об этом советские руководители говорят совершенно открыто, а еще более откровенно об этом пишут в советских теоретических журналах, в тематических сборниках о мирном существовании, в многочисленных книгах и брошюрах, издаваемых в Советском Союзе. Постепенно Запад привыкнет к этой мысли и смирится...

...Вернемся, однако, к событиям 60-х годов. Вторжение советских войск в Чехословакию вызвало глубокое негодование среди части советской интеллигенции. Впервые в истории советского государства за многие десятилетия его существования на Красной площади в Москве произошла демонстрация протеста. Демонстрантов было совсем немного, но эти отважные молодые люди спасли в этот день честь двухсотпятидесятимиллионного народа.

В нашем Институте, как и в других учреждениях, на предприятиях и пр. происходили собрания сотрудников, одобряющие действия советского правительства, но даже на этих официальных собраниях нашлись люди, которые своими вопросами или неучастием в голосовании или, в значительно меньшей степени, голосуя «против», показали, что духовная революция, истоки которой можно отнести к концу войны против гитлеровской Германии, началась. Она развивается и будет продолжаться вопреки официальному советскому конформизму, репрессиям и гонениям. Это будет длительным, мучительным процессом, но он идет своим неумолимым ходом.

Вторжение в Чехословакию в августе 1968 года является одним из переломных моментов в истории советского общества. Оно положило начало подлинному возрождению интеллигенции в Советском Союзе, ее духовности.

Во время чехословацких событий я начал собирать материалы для книги об этих событиях — «Чехословацкий архив», но все материалы мне пришлось уничтожить при моем отъезде: их нельзя было вывезти. Чехословацкие события стали для многих переломным моментом в их восприятии мира. Известно, что сомнения в правильности ввода советских войск в Чехословакию захватили даже самые высшие круги, включая некоторых членов Политбюро. Но, раз приняв решение, они тем самым стали на самый губительный путь, с которого им уже не сойти. Я знаю очень высокопоставленных людей, которые у себя дома осуждали это решение. Другие, узнав об интервенции в Чехословакию, плакали, навсегда расставаясь со своими иллюзиями. Но вот что интересно: одни из них стали после этого циничными карьеристами, готовыми на все, лишь бы пожить в почете да в веселье, другие прокляли эту систему — часть из них открыто примкнула к диссидентам. Были и такие, кто разорвал все душевные нити, которые еще связывали их с советской системой, хотя открыто и не покинули КПСС.

До вторжения в Чехословакию некоторые из моих друзей советовали мне добиваться восстановления в партии. Однажды у меня был тяжелый разговор с близким другом, которому я откровенно сказал, что не собираюсь добиваться восстановления в партии. Он раздраженно бросил мне: «Нельзя быть эгоистом. Нужно думать и о других». Нет, я не был эгоистом, и все, что я делал в преддверии исключения из КПСС и сразу же после исключения (т. е. следовал установившейся традиции и подавал заявления о пересмотре дела), я делал в общих интересах коллектива, к которому я принадлежал долгие годы. Но я порвал с конформизмом

окончательно и бесповоротно. Рано или поздно каждый человек делает свой выбор. Однако после событий августа 1968 года многие завидовали мне, что я уже вне партии и не являюсь, таким образом, соучастником этого нового преступления.

После 1968 года я пришел к твердому решению всюду, где возможно, по любому поводу давать бой конформизму, не уклоняясь от столкновений, независимо от последствий. Мне кажется, что это обещание, данное самому себе, я сдержал.

После интервенции в Чехословакии наступил период некоторого «замирения». Периоды «замирения» или «успокоения» всегда сопровождали непопулярные акции КПСС и советского государства. Это как бы единый процесс. Подобный ему известен в природе: «вдох — выдох». Такая система дает возможность сбалансированного продвижения вперед или топтания на месте.

Вслед за вводом советских войск в Чехословакию в августе 1968 года СССР назойливо призывает к мирному созидательному труду, к урегулированию отношений с Западом, к братской дружбе внутри социалистической системы. Советский Союз, принципиальный противник сохранения статус кво, каждый раз после очередной агрессивной акции, удачно завершенной операции по расширению своего влияния где бы то ни было, обращается с призывами о необходимости соблюдать правила человеческого общежития, поддерживать принципы мирного сосуществования и соблюдать строгую законность в своей собственной стране. Так было и после интервенции в Чехословакии. Теперь, рассуждали на Западе либерально мыслящие и полагающие себя мудрыми государственные деятели, Советский Союз стабилизовал положение в зоне своих интересов, успокоился, и на этой основе можно продолжать вести с ним дела. Надо считаться с комплексом

неполноценности кремлевских правителей, которым повсюду мерещатся заговоры против СССР. Такое «послемюнхенское» настроение было чрезвычайно характерным для правительств почти всех без исключения крупных стран Запада. Со своей стороны, Советский Союз предпринял мощное дипломатическое и пропагандистское наступление, тесно смыкавшееся с его нуждами в экономической области. Бросая приманку за приманкой иностранным концернам и банкам, давая им или лишь обещая выгодные заказы, Советский Союз начал получать огромные кредиты, поставив в скором времени в некоторую зависимость от себя экономику таких стран, как Италия, привязав к себе иные западногерманские концерны и взбудоражив деловые круги Соединенных Штатов Америки и Японии перспективами участия в развитии экономики Сибири.

На идеологическом фронте КПСС предприняла ряд маневров, пойдя для видимости на некоторые уступки коммунистическим партиям, декларировав (в который раз!), что каждая партия является независимой, и могут существовать разные пути продвижения к социализму. Одновременно в советской печати злобно высмеивались идеалисты от социализма, всерьез поверившие, что может существовать социализм с человеческим лицом.

Более реально представляли советскую политику попытки сменить руководство в наиболее «строптивых» коммунистических партиях, например, в испанской, где руководству партии во главе с Сантяго Каррильо была противопоставлена раскольническая группа во главе с Листером, пытавшимся создать из испанских эмигрантов в Москве подобие новой конкурирующей коммунистической партии. Подобная же ситуация была и в Коммунистической партии Греции, где поддержка КПСС наиболее

просталинистской части расколовшегося руководства наглядно показала, как соблюдается принцип суверенности каждой коммунистической партии. Попытки посеять разногласия в Итальянской коммунистической партии к успеху не привели, хотя просоветская прослойка в ИКП была в то время сильной и значительной.

...Отзвуки чехословацкой драмы докатились и до общественных наук в Советском Союзе. Снова зазвучали призывы к беспощадной борьбе с ревизионистами «за чистоту марксизма-ленинизма». Довольно любопытно проследить, как менялись в это время лозунги в сфере идеологической борьбы. После XX съезда в феврале 1956 года был выставлен лозунг борьбы против догматизма, после венгерских событий — против ревизионистов и догматиков. Этот лозунг продержался с некоторыми временными вариациями до XXII съезда КПСС. Вынос тела Сталина из мавзолея был апофеозом и в то же время концом эры Хрущева. После удаления Хрущева снова на первый план были выдвинуты задачи борьбы против ревизионистов, усиливавшейся по мере расцвета «пражской весны».

События в Чехословакии застали Институт истории Академии наук СССР в разгар его реорганизации. Вопрос о реорганизации Института стоял в течение ряда лет, обсуждался на разного рода заседаниях, совещаниях и пр. Считалось, что Институт стал чересчур громоздким и что им трудно управлять. На самом же деле им стало трудно управлять не из-за его громоздкости, а потому, что руководство наукой не хотело прислушаться к новым веяниям времени, а предпочитало работать по старинке. Деятельность нашего парткома, появление ряда книг и статей историков, отклоняющихся от «нормы», т. е. от официального партийного, кстати, не очень-то определенного курса, были использованы Трапезниковым,

чтобы доказать кому надо «наверху», что Институт стал «неуправляемым». Немалую роль сыграл провал Трапезникова на выборах в Академию наук СССР в 1966 году, и он избрал такой своеобразный способ мести (все же ему удалось проникнуть в Академию спустя... 10 лет, в 1976 году он был избран, наконец, членом-корреспондентом Академии наук). Трапезников ловко использовал желание некоторых ученых получить высокооплачиваемые места директоров институтов и их заместителей, борьба за которые была весьма ожесточенной. Постановлением секретариата ЦК и Президиума Академии наук Институт истории был преобразован в два: Институт истории СССР и Институт всеобщей истории.

Год продолжался организационный период: конкурсы на занятие должностей и тому подобное. Атмосфера в Институте всеобщей истории, старшим научным сотрудником которого я стал теперь, стала более или менее спокойной. При избрании на должность старшего научного сотрудника я получил всего один голос против. Однако я прекрасно отдавал себе отчет в своей незащищенности и в том, что мое положение далеко не стабильное, оно может измениться в худшую сторону в любой момент. Ясно было также и то, что отныне я стал удобной мишенью для неосталинистов из военных и партийно-пропагандистских кругов. И действительно, не раз и не два мое имя склонялось вкривь и вкось на страницах журналов и газет, на лекциях, инструктивных докладах и т. п.

Но я не только отбивал атаки, но, когда было возможно, и наступал.

Так в отчете о своей работе за 1967 год я сделал специальный раздел, который назвал «О кампании, которая ведется против меня». Далее я писал: «Вот уже почти два года, как против меня ведется кампания, начатая в связи с

моей книгой «*1941, 22 июня»*, опубликованной советским издательством и получившей положительную оценку как на дискуссии в Институте марксизма-ленинизма, так и в советской и зарубежной коммунистической и прогрессивной печати, в том числе во всех социалистических странах Европы, за исключением Румынии, где откликов, по-видимому, не было. В 1967 году книга была издана большими тиражами в Польше, Чехословакии и Венгрии.

В сентябре с. г., т. е. спустя два года после выхода книги из печати, журнал «*Вопросы истории*» (1967, № 9) опубликовал клеветническую статью Г. А. Деборина и Б. С. Тельпуховского «*В идейном плену у фальсификаторов истории*».

20 октября с. г. я послал в редакцию журнала ответ, а 12 декабря вынужден был отослать новое письмо в связи с тем, что редакция отмалчивается, не отвечает на мои письма, не желает публиковать мой ответ на клевету Г. А. Деборина и Б. С. Тельпуховского.

Таким образом, я лишен безусловного права советского гражданина и ученого защищаться от клеветы в печати».

Доктор исторических наук
(А. М. Некрич)

26 декабря 1967 г.

Институтское начальство промолчало.

Но здесь начали назревать другие события, и интерес ко мне, слава Богу, на какое-то время ослабел.

Моя тактика заключалась в том, чтобы не оставлять без ответа ни одно сколько-нибудь значительное выступление в печати против меня, давать аргументированный ответ, посылая одновременно копии моего ответа на статью Деборина и Тельпуховского, который журнал «*Вопросы истории КПСС*» не осмелился напечатать. Таким образом, какое-

то количество людей должно было узнать правду о «деле Некрича», и чем больше людей узнавало об этом, тем было лучше. Так я поступил, например, в связи с опубликованием в органе Министерства обороны газете «*Красная звезда*» статьи некоего Матюшкина, подвизавшегося одно время в должности заместителя ответственного редактора журнала «*Вопросы истории*», заместителя главного редактора Госполитиздата и пр., отовсюду его в конце концов изгоняли за полной неспособностью.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «*КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*»

Уважаемые товарищи!

6 июня с. г. в Вашей газете была напечатана статья кандидата исторических наук Е. Матюшкина «*Могучая сила в борьбе за коммунизм*».

В этой статье грубым нападкам подверглась моя книга «*1941, 22 июня*», опубликованная издательством «Наука» три года тому назад, в 1965 году.

Обвинения, инкриминируемые мне Е. Матюшкиным, не соответствуют действительному содержанию книги. Например, Е. Матюшкин приписывает мне отрицание закономерности победы Советского Союза в войне против Гитлеровской Германии, в то время как в книге говорится прямо противоположное. Столь же недостоверны и другие утверждения Н. Матюшкина. Не соответствует истине также и заявление Н. Матюшкина, что «советские люди, наша научная общественность резко осудили книгу Некрича».

В советской печати были опубликованы три рецензии: две положительные и одна отрицательная.

Научное обсуждение книги состоялось 16 февраля 1966 года по инициативе Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Присутствовало на дискуссии 250 историков, а выступило 22 человека. Все они оценили книгу в целом положительно. Разумеется, были высказаны и критические замечания. Официальным докладчиком Г. Дебориным было высказано пожелание о переиздании книги.

Такова была оценка книги советской научной общественностью.

Коммунистическая и прогрессивная общественность за рубежом также положительно оценила книгу «*1941, 22 июня*».

В социалистических странах — в Польше, Венгрии, Чехословакии, Югославии, ГДР — появились многочисленные положительные отклики и рецензии. Такая же оценка книги была дана и коммунистическими органами печати в Англии, Австрии, Бельгии, Италии и Швейцарии. Зарубежные коммунистические органы печати опубликовали более 25 положительных рецензий на книгу.

В прошлом году государственные издательства политической литературы Польши, Чехословакии и Венгрии перевели и издали книгу «*1941, 22 июня*» значительными тиражами.

Таковы факты, о которых И. Матюшкин, видимо, не осведомлен.

Спустя полтора года после обсуждения книги в Институте марксизма-ленинизма Г. Деборин вместе с другим участником дискуссии В. Тельпуховским, который также оценил тогда книгу положительно, опубликовали в журнале «*Вопросы истории КПСС*» (1967, № 9) разносную рецензию.

Почему Г. Деборин и Б. Тельпуховский изменили свое мнение о книге и повернулись на 180 градусов, — это, собственно, их личное дело. Но методы, к которым они прибегли с целью опорочить книгу и ее автора и прикрыть собственную беспринципность — это уже дело общественное.

Эти методы: извращение авторской мысли, прямая фальсификация текстов книги и документов и просто клевета. К подобным же методам прибег и Н. Матюшкин.

Решительно протестую против опубликования клеветнических измышлений кандидата исторических наук Н. Матюшкина.

Посылаю Вам копию моего ответа на рецензию Г. Деборина и Б. Тельпуховского и прошу ознакомиться с ним.

А. М. Некрич,
доктор исторических наук

14 июня 1968 г.
Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. Б., кв. 43

СССР

Редакция
Центрального органа
Министерства обороны Союза ССР
ордена Ленина Краснознаменной
ордена Красной Звезды газеты
КРАСНАЯ ЗВЕЗДА

19 июня 1968 г.
№ 4/51496 Москва, Д-41, Хорошевское шоссе, 9

Исх. №.....................
г. Москва, В-333, ул. Дм. Ульянова, 4, корп. «Б», кв. 43
Некричу А. М.

Уважаемый тов. Некрич!

Мы считаем критику тов. Матюшкина Вашей книги правильной. Она, эта критика, не расходится с той принципиальной оценкой книги в целом, которая была дана партийной общественностью в последнее время.

Редактор по отделу пропаганды
полковник (В. Змитренко)

...Затем началась нервотрепка другого рода. Сталинисты предприняли попытку отобрать у меня ученую степень доктора исторических наук, которая была мне присуждена в 1963 году.

* * *

В один из июньских дней 1969 года (кажется, это было в самом начале 20-х чисел) моя жена Надя, возвратившись вечером из Исторической библиотеки, где она готовилась к экзаменам, рассказала мне следующее.

В библиотеке к ней подошла одна из сотрудниц Института всеобщей истории и сказала, что с ней хочет познакомиться ее приятель. Надя не возражала. Приятель представился и сказал, что ему необходимо видеть меня по крайне важному делу, но поскольку Надя здесь, то он расскажет ей, а она передаст мне. То, что он рассказал, было действительно очень важно для меня и совершенно неожиданно. Оказалось, что по распоряжению Президиума Высшей аттестационной комиссии (оно было подписано министром высшего образования Елютиным) возбужден вопрос о пересмотре решения ВАК'а, вынесенного в 1963 году о присуждении мне степени доктора исторических наук за монографию «*Внешняя политика Англии*» (1939–1941 гг.). Эта работа в виде рукописи была защищена мною в Ученом совете Института истории Академии наук СССР в октябре 1962 года и утверждена ВАК'ом в мае 1963 г. Теперь, спустя 7 лет, ВАК решил почему-то возвратиться к этой работе.

Распоряжение, отданное Елютиным, было абсолютно незаконным, так как в Инструкции о деятельности ВАК'а указывается, что инициатором возбуждения ходатайства о пересмотре решения может быть только Ученый совет, который рассматривает этот вопрос с обязательным присутствием лица, о котором идет речь, и решает вопрос так же, как при защите диссертации, т. е. тайным голосованием. Ничего подобного в данном случае не было. Ни Ученые советы институтов-преемников бывшего Института истории (он был реорганизован в 1968 г.), т. е. Института всеобщей истории и Института истории СССР такого вопроса не поднимали, равно как и ученые советы других институтов. Кроме того, для возбуждения ходатайства о пересмотре решения существует и определенный срок — три месяца.

Опытные юристы, к которым я обратился за консультацией, единодушно ответили мне, что единственный орган, который имеет юридическое право оспорить распоряжение Елютина — Прокуратура по надзору, как правило, выступает в защиту учреждения, а не частного лица. Когда же речь идет о распоряжении министра СССР, то шансы отменить его решение по протесту частного лица равны нулю. Юристы настоятельно советовали мне в Прокуратуру не обращаться, а пытаться воздействовать в административном порядке.

Новый знакомец рассказал также моей жене, что диссертация уже послана на отзыв Ф. Д. Волкову из Института международных отношений МИД'а СССР. Узнав об этом, я понял, что дело оборачивается для меня исключительно неблагоприятно, так как Волков давно мечтал свести со мною личные счеты. Дело в том, что еще в 1962 году ВАК обратился ко мне с просьбой проверить обвинение, выдвинутое против Ф. Д. Волкова в плагиате, совершенном им в его докторской диссертации, посвященной англо-советским отношениям. В моем ответе ВАК'у, составленном в крайне умеренных выражениях, приводился сравнительный анализ текстов диссертаций Волкова и Кононцева, из которого вытекало со всей определенностью, что Волков плагиатор. Несмотря на неопровержимость фактов, Волков не только был утвержден в степени доктора наук, но спустя несколько месяцев стал членом экспертной комиссии ВАК'а!

Скоро выяснилось, что еще в марте 1969 года Елютин прислал письмо в Академию общественных наук при ЦК КПСС с просьбой дать отзыв на мою диссертацию. Однако заведующий кафедрой истории международных отношений директор нашего института академик Е. М. Жуков ответил, что у него нет специалистов-англоведов. После этого было

направлено новое письмо в Институт международных отношений.

Е. М. Жуков высказал мнение, что вряд ли ВАК'у удастся осуществить свое намерение, поскольку случай беспрецедентный, и пленум ВАК'а своей санкции не даст. Он советовал мне проявить выдержку и терпение, ни в коем случае не писать никаких писем и заявлений, в том числе Елютину, и спокойно ожидать развития событий. Первой части совета — не писать никаких писем и заявлений — я охотно последовал, так как это вполне отвечало моему собственному умонастроению. Но ожидать в бездействии развития событий я не стал, и, как оказалось потом, тем спас себя.

Прежде всего я решил, что не следует сохранять это дело в секрете, поскольку если что-нибудь и может меня защитить, то только гласность.

Вскоре эта история стала широко известна. Ко мне подходили многие знакомые и незнакомые историки, звонили по телефону, всячески выражая негодование по поводу нового нападения на меня и сочувствие. Члены экспертной комиссии ВАК'а были также смущены всей этой историей, и многие из них говорили, что не допустят подобного беззакония. И в самом деле, если бы только начали обсуждать это дело, то тем самым вне зависимости даже от решения создали бы прецедент, от которого в конце концов не поздоровилось бы многим ученым, быть может, в конечном счете и самим членам экспертной комиссии. Ведь у каждого есть свои враги или недоброжелатели. Угроза лишения ученой степени, с которой связана заработная плата, возможность печататься, другие менее заметные преимущества, стала бы висеть постоянной угрозой над головами ученых, делая их еще более зависимыми от воли начальства и ограничила бы и без того куцую свободу

мнения. Такой прецедент послужил бы сигналом к доносам, клевете и прочей мерзости, от которой пострадали бы ученые разных отраслей науки. Но, конечно же, особенно досталось бы «строптивым». Это понимали все. Слишком ясно все это было. Многие ученые с именами, известными всему миру, которые отнеслись безразлично к моему исключению из партии в 1967 году, полагая, что их это не касается, в данном случае были готовы к протесту против беззакония. Некоторые из них говорили по телефону с Елютиным, другие с его заместителем Н. Н. Софинским.

Со своей стороны, я попросил приема у вице-президента АН СССР А. М. Румянцева. В приеме мне отказано не было, но и принят я не был. Я не настаивал, так как понимал сложность положения вице-президента, которого и так обвиняли в «либерализме», а официальное принятие им исключенного из партии в его положении члена ЦК КПСС могло по неписанным законам нашей жизни дорого ему обойтись. Поэтому я ограничился тем, что передал для него памятную записку об этом деле, где были приведены соответствующие параграфы из устава ВАК'а, грубо нарушенные Елютиным.

Мои опасения и недоверие оказались вполне оправданными. Уже на первое заседание экспертной комиссии, собравшейся после летнего перерыва 7 октября 1969 года, было предложено для рассмотрения «дело Некрича».

Председатель комиссии П. Соболев, тот самый, который спровоцировал «дело Бурджалова», человек глубоко консервативных взглядов, сталинист по убеждению и по всему своему прошлому, не получил, очевидно, дополнительных инструкций от руководства. Члены комиссии перелистали «дело», пожали плечами и

предложили председателю выяснить, в чем дело, а рассмотрение его отложить.

Следующее заседание должно было состояться через неделю или через две. Складывалась довольно странная ситуация. Как будто бы все — директор Института, Президиум АН СССР, отдел науки ЦК КПСС — против этого дела, за его прекращение, а «дело» движется, идет своим путем. Я получил также предупреждение, что возможна передача вопроса непосредственно на заседание секции гуманитарных наук ВАК'а, которая пользуется правами Пленума ВАК'а, т. е. ее вторичное решение считается окончательным. (Речь же шла в данном случае именно о вторичном решении, поскольку первое было вынесено при присуждении мне степени).

Бездействие и фатальное ожидание были равносильны самоубийству. После некоторого колебания я решил попытаться поставить в известность о деле президента АН СССР акад. М. В. Келдыша и сделать это частным образом, поскольку было маловероятно, что президент меня примет. И было уже совершенно невероятно, чтобы руководство Института само обратилось к президенту. Я опускаю здесь по известным соображениям некоторые детали. Скажу лишь, что решающую роль сыграл здесь один молодой талантливый ученый, ученик Келдыша. Президент вмешался и очень энергично. Когда я впоследствии рассказывал эту историю, вмешательство Келдыша удивило многих ученых, удивляло, поскольку это никак не вязалось с обыденной практикой обращения к президенту и его реакцией.

Я остановлюсь на общем соображении президента. Келдыш прекрасно понимал, что будет означать для ученого мира и, прежде всего, для Академии наук, прецедент лишения ученой степени спустя много лет после ее присуждения да еще совершенно незаконным путем и по

отношению к человеку, пострадавшему совсем по другому делу. Ясно, что это выглядело бы как акт мести, а это и был акт мести на самом деле. Президент, очевидно, отдавал себе отчет в той реакции, которая может последовать. Я думаю, что лишь одна мысль о том, что ученые будут писать письма протеста, собирать подписи, вызывала у него тошнотворное чувство... Вмешательство президента, его энергичная и решительная позиция сыграла решающую роль. На следующем заседании комиссии папка с «делом» таинственным образом исчезла. Как мне передавали, в инстанции (так именуется в аппарате ЦК) сообщили Елютину, что дело следует «отложить» (а не отменить!). По этому поводу было много всевозможных слухов и домыслов. Утверждали, например, что президент разговаривал с кем-то из секретарей ЦК, и тот заверил М. В. Келдыша, что ему ничего об этом не известно и что ЦК санкции не давал. Я склонен этому верить, т. е. тому, что не было никакого формального решения по этому поводу, а делалось это так называемым аппаратным путем.

* * *

Очевидно, что те, от кого исходила инициатива, были достаточно влиятельными лицами: министр Елютин не дал бы хода этой истории, если бы не чувствовал своей зависимости от этих людей, если не прямой, то косвенной. Некоторые придерживаются мнения, что инициатива исходила от военных, в частности, от руководства Главпура, т. е. от Епишева и его заместителя Калашника, которое не устает и по сей день по каждому поводу поносить меня. Делались глухие намеки и на то, что к делу причастен КГБ. Но никаких достоверных сведений на этот счет нет. У нас часто забывают, что КГБ действует на основании инструкций ЦК КПСС.

Примерно за полгода до того, как вся эта история началась, Абрам Исаакович и зондировал меня относительно возможности признания мною своих ошибок в связи с книгой «*1941, 22 июня*», после чего я, мол, буду восстановлен в партии.

...Руководство МИД’ом было недовольно всем этим делом и, в частности, тем, что ректор Института международных отношений М. Д. Яковлев согласился взять диссертацию на отзыв. Мотивы этого были довольно ясными. Моими оппонентами на защите докторской диссертации были акад. И. М. Майский, проф. Ерусалимский (он по болезни не принимал участия в защите, но дал письменный отзыв), член-корреспондент АН Эстонской СССР В. А. Маамяги, проф. В. Л. Исраэлян из Высшей дипломатической школы МИД’а. Неофициальным оппонентом был И. Н. Земсков, в то время начальник Историко-дипломатического управления МИД’а СССР.[8] Предварительно диссертация была одобрена кафедрой истории дипломатии Высшей дипломатической школы. Сама работа была на просмотре в МИД'е и получила санкцию на опубликование. После выхода книги из печати в центральном историческом журнале «*Вопросы истории*» была опубликована положительная рецензия проф. В. И. Попова, в то время проректора Высшей дипломатической школы[9]. Кроме того, книга подверглась нападкам со стороны обозревателя Би-Би-Си Мориса Лейти (кстати говоря, совершенно несправедливым, тем более что сам Лейти, как выяснилось, книги не читал). В ответ выступил известный историк Д. Меламид (Мельников), опубликовавший в «*Литературной газете*» в декабре 1963 года ироническую заметку под названием «*Начните читать, г-н Лейти*».

---

[8] И. Н. Земсков ныне заместитель министра иностранных дел СССР. В. Л. Исраэлян — начальник отдела международных организаций МИД.

[9] Позднее ректор ВДШ.

Мне рассказывали, что когда по моему делу был запрошен МИД, то министр А. Громыко отрицательно отнесся к «инициативе» Елютина.

И последний любопытный штрих. Когда я узнал об угрозе лишения меня степени, то, естественно, обратился ко всем своим бывшим оппонентам с просьбой дать мне письменное подтверждение их прежнего мнения. (А. С. Ерусалимский, к сожалению, скончался за несколько лет до этого). Результаты были следующими: В. Л. Исраэлян первым дал отзыв. Вслед за ним я получил подтверждение от И. М. Майского. Совершенно не откликнулся на мою просьбу В. А. Маамяги, который к этому времени стал вице-президентом АН Эстонской ССР. Под Новый год мы всегда обменивались с ним поздравлениями. После моей просьбы Маамяги больше поздравительных открыток мне не присылал...

Я сознательно опускаю здесь ряд имен людей, коим я бесконечно признателен, ибо в этой тяжелой для меня ситуации они показали себя людьми самоотверженными и благородными. Надеюсь, наступит время, когда я смогу восполнить этот вынужденный пробел.

* * *

Между тем раздражение «наверху» против меня все более усиливалось из-за моего упорного отказа принести покаяние. На меня продолжали оказывать нажим с разных сторон. Спустя два месяца после провала попытки лишить меня докторской степени, в декабре 1969 года меня пригласил к себе академик-секретарь отделения исторических наук, он же директор моего института, академик Е. М. Жуков и в обычной для него спокойной и вежливой манере объяснил мне, что ряд моих «друзей» — тут он позволил себе усмехнуться — раздражен тем, что я продолжаю работать в институте, несмотря на исключение из партии и несмотря на

отказ «признать свои ошибки». Особенно раздражало их то обстоятельство, что помимо изданий моей книги, осуществленных в социалистических странах Восточной Европы, книгу начали переводить и издавать на Западе. На одном из заседаний бюро отделения исторических наук бывший директор Института марксизма-ленинизма П. Н. Поспелов вытащил мою книгу, переведенную на итальянский язык и изданную под весьма сомнительным названием «*Открыл ли Сталин ворота Гитлеру*?», и указывая на обложку книги (на ней была изображена кремлевская башня со звездой и фашистская свастика), воскликнул: «Вот до чего докатился Некрич!» Разумеется, Поспелов отлично знал, что никто моего разрешения на издание книги не спрашивал, так как Советский Союз в то время не был участником международной конвенции по охране авторских прав, но он воспользовался итальянским изданием, чтобы вновь возбудить вопрос о правомерности моей работы в Академии наук СССР. Жуков попросил, чтобы я написал ему заявление, которое он мог бы продемонстрировать моим недругам, и тем самым умиротворить их. Он обещал мне, что будет хранить мое письмо в сейфе. Через несколько дней я принес ему письмо по поводу моих изданий за рубежом, подтвердив Жукову, что моя позиция относительно событий 1941 года остается неизменной.

ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
АН СССР
академику Е. М. ЖУКОВУ

Глубокоуважаемый Евгений Михайлович!

В связи с нашей беседой от 8 декабря с. г. считаю нужным заявить следующее:

1. Ни одно из издательств капиталистических стран за разрешением на опубликование перевода моей книги «*1941, 22 июня*», выпущенной в Москве в 1965 году издательством «Наука», ко мне не обращалось, в известность о своих намерениях не ставило и экземпляров книги не присылало.

2. Я решительно осуждаю любые попытки извратить смысл или содержание моей книги как путем тенденциозного изменения ее названия, посредством ее оформления, примечаниями, искажением или вольным цитированием текста.

3. Еще несколько лет назад мною было направлено для опубликования в агентство печати «Новости» Открытое письмо с протестом против клеветнических измышлений радиостанции «Немецкая волна» (копия письма находится в партийных инстанциях). Эта моя позиция была также высказана в ряде документов, имеющихся в партийных органах.

4. Я несу ответственность исключительно за советское или авторизованное издание как этой, так и любой другой моей работы.

Старший научный сотрудник,
д.и.н. (А. М. Некрич)

Москва, 15 декабря 1969 г.

В самом Институте всеобщей истории меня как будто оставили в покое. Никто не мешал мне продолжать мое исследование «*Политика Англии в Европе, 1941–1945 годы*», которое завершало мою многолетнюю работу по истории Англии и ее политики накануне и во время Второй мировой войны. Но я отчетливо сознавал, что меня ожидают большие трудности. Вопрос о моей работе в английских архивах теперь полностью отпал. Мне следовало положиться только на те материалы, которые имеются в Москве, или те, которые мне удастся получить из-за границы в виде микрофильмов. По счастью, в 1966 году я привез из Польши очень интересные архивные документы, которые давали мне

возможность осветить новые стороны в истории польского вопроса, который, как известно, сыграл такую большую роль в англо-советских отношениях. Собирая по крупицам доступные мне материалы, я к концу 1969 года завершил, как это было предусмотрено планом, свою рукопись (около 700 страниц) и представил ее на обсуждение в сектор. Это было год спустя после событий в Чехословакии, и царило своего рода временное замирение. Обсуждение монографии прошло вполне благоприятно. Рукопись была рекомендована к печати. Однако директор Института Е. М. Жуков решил послать рукопись для перестраховки на рецензию в Институт мировой экономики и международных отношений. И оттуда, в конце концов, был получен в целом благоприятный отзыв. Ученый совет нашего Института рекомендовал рукопись к опубликованию. Но на заседании редакционно-издательского совета Академии наук СССР — высшего органа в издательском деле — неожиданно против опубликования рукописи выступил ученый секретарь РИСО Е. С. Лихтенштейн, который заявил, что без указания ЦК он книги «этого автора» печатать не будет. Никаких возражений по существу рукописи он не выставил. Так началась моя бесплодная борьба за опубликование рукописи, которая продолжалась пять лет, вплоть до моего решения покинуть свою родину.

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СССР
АКАДЕМИКУ М. В. КЕЛДЫШУ

Глубокоуважаемый Мстислав Всеволодович!

К Вам обращается старший научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР доктор исторических наук А. М. Некрич.

В конце 1969 года мною была закончена монография «*Политика Англии в Европе, 1941—1945 гг.*», написанная по плану Института

1965–69 гг. Этой работой завершается цикл исследований истории внешней политики Великобритании накануне и во время второй мировой войны. (Первая книга из этого цикла — «*Политика английского империализма в Европе, октябрь 1938 — сентябрь 1939*», из-во АН СССР, 1955, 473 стр.; вторая — «*Внешняя политика Англии, 1939–1941*», М., из-во «Наука», 1963, 531 стр.).

Новая работа была обсуждена на заседании сектора истории Великобритании в феврале 1970 г., одобрена и рекомендована к печати. Свое мнение высказали 11 научных сотрудников, среди них приглашенные внешние рецензенты из других научных учреждений. Затем монография была направлена по указанию директора Института академика Е. М. Жукова на дополнительный отзыв в Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО). В декабре 1970 г. из ИМЭМО был получен положительный отзыв. Еще спустя девять месяцев, в сентябре 1971 г., монография была обсуждена на заседании Ученого совета Института всеобщей истории и рекомендована для опубликования.

Таким образом, монография получила апробацию и одобрена специалистами из двух академических институтов. В общей сложности 20 ученых высказали свое положительное суждение о рукописи. Были, разумеется, и критические замечания, но негативных суждений не было ни разу. Осенью 1971 года монография была включена в план редакционной подготовки на 1972 год Институтом всеобщей истории в счет своего лимита. Отделение исторических наук также включило работу в план редподготовки.

Казалось бы, все в порядке. Однако в октябре 1971 года на заседании секции общественных наук РИСО АН СССР против включения моей рукописи в план редподготовки выступил ученый секретарь РИСО Е. С. Лихтенштейн, который не только не читал рукописи, но и в глаза ее не видел. Единственным доводом против включения монографии в редплан было его, Лихтенштейна, отрицательное отношение к самой личности автора. Несмотря на протесты представителей Дирекции Института и Отделения исторических наук, указавших на абсурдность аргументации

ученого секретаря РИСО, последний самовольно не включил рукопись в редакционно-издательский план. Теперь Е. С. Лихтенштейн заявляет, что до тех пор пока не будет специального указания о напечатании монографии А. М. Некрича, он ее в издательский план не включит. Таким образом, дезавуируются решения Ученого совета и Дирекции Института всеобщей истории, Отделения исторических наук, основанные на мнении большого коллектива ученых, грубо нарушается процедура научных публикаций в Академии наук СССР. Это является произволом и может навести на мысль, что я как бы поставлен «вне закона», общепринятые правила на меня не распространяются. В результате вокруг меня искусственно создается атмосфера дискриминации со всеми ее последствиями.

Неужели таким должен быть финал моей пятилетней исследовательской работы и двухлетнего ее рецензирования и обсуждения?

Убедительно прошу Вас вмешаться и дать указание РИСО придерживаться нормальной процедуры и в отношении моей работы.

Доктор исторических наук
(А. М. Некрич)

Москва, 15 февраля 1972 г.
Домашний адрес: В-333, ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. 2, кв. 43.
Тел. 137-57-77.

Потом я еще несколько раз обращался с письмами — к президенту Келдышу, к вице-президентам Миллионщикову и Федосееву, но ни разу не получил от них никакого ответа, хотя советский закон требует обязательного ответа «на письма трудящихся», но законы, как известно, издаются для того, чтобы их обходить. Так было и в моем случае.

Для меня была установлена негласная квота — 1 статья в год в малотиражном академическом издании. Такими были ежегодные институтские сборники «*Проблемы британской истории*». Здесь удалось опубликовать несколько фрагментов

из моей новой работы. За годы, прошедшие после исключения из КПСС, мне удалось опубликовать еще несколько статей и рецензий.

Однажды я попытался дать одновременно две статьи в институтские издания — в «*Проблемы британской истории*» и во «*Французский ежегодник*». Жуков предложил одну мою статью снять, так как «Некрича слишком много печатают»... До тех пор пока А. Т. Твардовский был ответственным редактором «*Нового мира*», мне удавалось там иногда печататься, но потом сразу все прекратилось. В течение длительного времени я пытался опубликовать статью о влиянии стереотипных представлений на принятие политических решений. Журналы профессионального направления отказывались печатать мою статью не только из-за моего имени, но также и потому, что тема казалась им слишком «горячей». Наконец журнал «*Знание — сила*» в 1973 году опубликовал мою статью «*Событие, оценка, решение*». Спустя три года в 1976 году доктор Геккер опубликовал в журнале «*Остойропа*» рецензию на мою статью, довольно высоко оценив ее с точки зрения теории истории. В то же время д-р Геккер не преминул заметить, что в статье содержится скрытая критика сталинизма. Так время от времени мне удавалось «пробить» в печать то одну, то другую мою статью.

Но время торопило меня и требовало более радикальных решений. В институте жизнь шла своим чередом. Вскоре после интервенции советских войск в Чехословакии конформисты и неосталинисты снова взяли верх. Возобновились разговоры о необходимости политизировать науку. Такова была официальная установка, данная вице-президентом Академии наук А. М. Румянцевым. Практически это означало, что конъюнктурные политические соображения должны превалировать над интересами науки.

И все же, повторяю, необратимые изменения уже произошли. Можно было на обсуждениях и дискуссиях говорить об отклонениях от ортодоксальной линии того или иного историка, можно было даже заставить покаяться его в своих грехах. Такое унижение пришлось пережить, например, историку Дунаевскому, написавшему статью о письме Сталина в журнал «*Пролетарская революция*» 1931 г. и воспользовавшемуся для этой статьи сведениями, сообщенными ему главной жертвой сталинской идеологической чистки того времени историком Слуцким. И все же писались интересные книги о времени, более отдаленном от нас, иногда на локальные сюжеты, иногда на более общие, и это были нужные, интересные книги. Каким-то чудом эти книги выходили и немедленно расхватывались читателями. Я мог бы назвать книги и статьи таких замечательных историков моего поколения и моложе, как А. Я. Гуревича, В. М. Холодковского, Л. Баткина, Л. Ю. Слезкина, М. С. Альперовича, археологов А. Л. Монгайта, Г. Б. Федорова, византиеведа А. П. Каждана, историков советского общества Ю. Арутюняна, С. И. Якубовской, Даниловой, А. Грунта, историка России А. А. Зимина — всех имен не перечислить. Книги, выходящие в СССР, подвергаются свирепой цензуре. И все-таки многое в судьбе книги зависит от того, как книга написана, ибо хорошие исследования написаны таким образом, что как ни цензируй книгу, как ни выбрасывай из нее «подозрительные» абзацы, фразы», страницы и даже целые главы, книга в принципе все равно остается с теми же мыслями, как она была задумана автором. Весь вопрос заключается в том, насколько талантлив автор и насколько он умен. Вот почему цензура бывает время от времени не в состоянии задержать «вредную» книгу или статью. И даже прибегая к всеобъемлющей заградительной и запретительной формулировке «неконтролируемый подтекст», цензура не в состоянии направить авторскую мысль в

«нужное» русло. О том, как цензура в Советском Союзе борется с «неконтролируемым подтекстом» ходит много историй. В одной из рукописей о германском нацизме была фраза «Гитлер создал партию, в которую можно было войти, но было невозможно из нее выйти». Цензор решительно вычеркнул эту фразу. Спрашивается, почему он это сделал, а потому, видно, что усмотрел в этом намек на Коммунистическую партию Советского Союза, в которую можно добровольно вступить, но выйти из нее добровольно невозможно. Из КПСС можно выбыть лишь по причине умственной неполноценности. В этом случае надо предъявить медицинскую справку. Желание покинуть партию рассматривается как вызов существующему порядку, и в соответствии с этим могут быть применены различные репрессии — увольнение с работы и даже заключение в психиатрическую больницу. Такой случай произошел несколько лет тому назад с заведующим отделом кадров управления по радиовещанию и телевидению Винокуровым, который публично заявил о своем выходе из партии. Его отправили в психушку...

Я уже упоминал о том, что в результате деятельности прогрессивного парткома Института истории Академии наук СССР, «дела Некрича», выхода в свет ряда книг и статей, отклоняющихся от официального партийного курса, Трапезников решил, что институт стал «неуправляемым». Большую роль в формировании этого мнения сыграл и провал самого Трапезникова на выборах в Академию наук СССР. Он добился решения секретариата ЦК о преобразовании Института истории АН СССР и разделении его на два института — Истории СССР и Института всеобщей истории. Изменения научного состава института были крайне незначительными, зато за кулисами разыгралась довольно ожесточенная борьба за «теплые» местечки директоров институтов, их заместителей, заведующих

секторами. В конце концов кто-то получил место, которого жаждал, другой проиграл. Под руководством инструктора отдела науки ЦК КПСС и куратора института Кузнецова продолжалось сведение счетов за старые «грехи».

События в Чехословакии застали Институт истории АН СССР в разгар его реорганизации. Весной и осенью 1968 года в двух выделившихся в результате разделения института — Институте истории СССР и Институте всеобщей истории проходили конкурсы на замещение должностей старших и младших научных сотрудников. Подавляющее большинство вело себя тихо и смирно, дабы не оказаться «за бортом» в результате реорганизации. И все же нашлись отдельные смельчаки, которые голосовали против принимаемой на собрании сотрудников резолюции, одобряющей ввод советских войск в Чехословакию.

Затем жизнь в исторических институтах вошла в обычную колею, более ровную в Институте всеобщей истории, более ухабистую в Институте истории СССР.

Первым директором этого института был назначен по совместительству академик Б. А. Рыбаков. Он был долгие годы директором Института археологии. Способный археолог в молодости, Рыбаков постепенно уходил от подлинной науки, так как поставил целью своей жизни доказывать превосходство всего русского. Он был создателем мифов о славянском происхождении ряда городов и ремесел на Руси. Он, не моргнув глазом, мог игнорировать объективные данные, добытые в результате археологических раскопок, и преувеличивать значение или попросту фальсифицировать другие. Б. А. Рыбаков происходил из старообрядческой семьи, отец его владел магазином, что по советским понятиям не должно было способствовать продвижению Б. А. Рыбакова по научной стезе. И все же он бодро шел вперед, ибо идеология великорусского

шовинизма и антисемитизма (Рыбаков был убежденным антисемитом) стала еще в 40-х годах лучшей рекомендацией преданности идеалам Коммунистической партии и лояльности по отношению к советскому государству.

Естественно поэтому, что и вся атмосфера в Институте истории СССР становилась постепенно более консервативной. Сталинисты, некоторые из них с явным антисемитским душком, торжествовали. Началось планомерное наступление на ученых либерального толка, ответственных за важнейшие работы Института. Особенно ожесточенным атакам подвергся сектор по истории исторической науки, возглавляемый академиком Милицей Васильевной Нечкиной, очень крупным ученым, известным работами по истории декабристов и в области историографии. Борьба эта продолжалась в течение ряда лет. В конце концов Нечкина была вынуждена отказаться от заведывания сектором. В течение многих лет не мог выйти в свет пятый том истории исторической науки в СССР, посвященный советскому периоду. Ответственным редактором этого тома был уже упоминавшийся выше Е. Н. Городецкий. Как «в старое доброе время» — я имею в виду сталинские времена, — на Городецкого «вешали всех собак», обвиняя его в искажениях, неправильных формулировках и т. д. и т. п. Том так и не вышел в свет до сих пор, хотя уже несколько раз макетировался, обсуждался и утверждался к печати.

Рыбаков особого интереса к деятельности института не проявлял. Через год он был избран академиком-секретарем отделения исторических наук и покинул институт. Новым директором после длительной борьбы претендентов был назначен относительно молодой по возрасту историк Павел Васильевич Волобуев, специалист в области истории XX века, ученик Аркадия Лавровича Сидорова. Волобуев после окончания Московского государственного университета и

аспирантуры ряд лет работал в отделе науки Центрального Комитета партии, был довольно прочно связан с аппаратом и на первых порах пользовался поддержкой всесильного Трапезникова и Рыбакова, который, собственно, и поддержал кандидатуру Волобуева. Спустя несколько лет в результате ожесточенной борьбы Волобуев был избран член-корреспондентом Академии наук СССР, что значительно упрочило его положение. С точки зрения карьеры ахиллесовой пятой Волобуева был его профессионализм. Как историк, прошедший хорошую школу профессиональной подготовки, Волобуев не мог не прийти рано или поздно в ходе своих исследований в столкновение с официальными конформистскими воззрениями очень влиятельной группы партийных историков, концентрировавшихся в Академии общественных наук СССР, в высших партийных школах и в Институте марксизма-ленинизма. Оговоримся сразу же, что Волобуев отнюдь не стремился к ниспровержению основ марксистско-ленинского учения или к отрицанию привычных методов исследования. Просто в ходе исследовательской работы он высказал ряд соображений, пришел к иным выводам, чем те, которых уже десятилетиями придерживалась влиятельная часть историков КПСС.

Волобуев был честолюбив. А положение, которое он занял, внушило ему ложное чувство безопасности. Очевидно, ему показалось, что он может позволить себе всерьез бороться одновременно против догматизма и т. н. ревизионизма. На самом же деле, может быть даже неосознанно, он замахнулся на партийный конформизм. Волобуев пытался продемонстрировать, с одной стороны, свою непоколебимую преданность марксизму, а с другой, считал допустимым подвергнуть критике работы партийных историков, десятилетиями «делавших погоду» в сфере общественных наук. С молчаливого согласия Волобуева ряд историков, сотрудников Института истории СССР начали

слагать вокруг него легенды, приписывая ему качества чуть ли не защитника всей исторической науки от атак сталинистов. На самом деле он был очень далек от роли, которую ему старались приписать.

Волобуев очень скоро вызвал ненависть таких влиятельных людей, как П. Н. Поспелов, секретарь ЦК КПСС, директор Института марксизма-ленинизма в прошлом, а во время этих событий — член Президиума Академии наук СССР; как заведующий кафедрой в Академии общественных наук Иван Петров и другие. Открытое столкновение с ними произошло во время обсуждения сборника «*Пролетариат России накануне Февральской революции*», ответственным редактором и автором которого Волобуев был. На этом обсуждении Волобуев позволил себе сказать, что историки партии «проспали» события последних 30 лет. Петров и другие расценили его выступление как объявление войны. Выиграть же ее Волобуев никак не мог. Для доказательства своей правоты Волобуев огласил на обсуждении выдержки из закрытой стенограммы заседания историков партии в Ленинграде, которая свидетельствовала о полном невежестве его оппонентов. Здесь он совершил роковую ошибку — задел партийный аппарат. Это было тем более непростительно, что и сам Волобуев принадлежал в прошлом к аппарату и прекрасно знал его неписанные законы. Волобуева, видимо, «занесло»: он переоценил поддержку, которая могла быть ему оказана двумя могущественными людьми в идеологической области — секретарями ЦК Сусловым и Пономаревым. Вскоре после критики, которой подвергся Волобуев, в газете «*Правда*» появилась краткая заметка обычного типа — «выводы сделаны». В переводе на обычный язык это означало, что Волобуева оставили в покое, и он остается на своем посту директора Института истории. Но, употребим известное русское выражение, «не тут-то было»... Волобуев решил сманеврировать: пожертвовав людьми,

которые его поддерживали, продемонстрировать свою непричастность к «ревизионистам», якобы повинным в ошибках. Он наложил административное взыскание на главного редактора сборника Кирьянова, который взял всю ответственность на себя, объявил выговор членам редколлегии — старому большевику Марку Волину и своему собственному ал тер эго Тарновскому. Впрочем, к такого рода маневрам Волобуев прибегал не раз и на посту директора института и до того, будучи секретарем партийного комитета Института истории (после переизбрания Данилова). Волобуев, например, обвинил редакционную коллегию VIII тома «*Истории СССР*» в троцкизме, фактически оболгал главы по истории коллективизации. В результате автор этих глав С. Борисов вынужден был покинуть институт.

Но вот ситуация изменилась. Теперь Волобуев сам стал объектом нападения. Его собственный заместитель, некий Бабыкин написал на него заявление в ЦК КПСС, обвиняя его в попустительстве ревизионистам и пр. По настоянию академика Поспелова бюро отделения исторических наук приняло решения об ошибках в сборнике и об ответственности Волобуева за них. Дальше все пошло обычным путем. Волобуев еще пытался сопротивляться, но уже в индивидуальном порядке — написал опровержение в журнал «*Вопросы истории КПСС*», которое, разумеется, напечатано не было. По указанию отдела науки ЦК в Институте истории СССР было созвано специальное партийное собрание. В это время в газете «*Свердловский рабочий*» появилась разгромная статья по поводу другого сборника, в котором принимал участие Институт истории СССР. Огонь был направлен, главным образом, против двух талантливых историков — Тарновского и Шацилло. Первому приписали ни мало ни много как троцкизм.

Западный читатель недоуменно пожмет плечами — ну и что же здесь такого? А то, что на протяжении последних 50

лет обвинение в троцкизме является в Советском Союзе самым тягчайшим политическим преступлением. В сталинские времена обвиненные в этом «преступлении» платились своей жизнью. Конечно, нынче времена изменились, да и все порядком позабыли, что же такое этот самый «троцкизм». Тарновский поплатился своей докторской диссертацией, которую Высшая экспертная комиссия отказалась утвердить...

Эпизод с Волобуевым окончился его полным покаянием на совещании в ЦК. И не только покаянием: Волобуев выступил с резкой критикой взглядов Тарновского и с мягкой критикой в адрес своего ближайшего научного советника Арона Авреха. Затем Волобуев подал заявление об освобождении его от обязанностей директора. Его направили на работу старшим научным сотрудником Института истории естествознания и техники Академии наук СССР...

Я встретил Волобуева неподалеку от своего дома в Москве на улице Дмитрия Ульянова как раз через час после того, как я подал заявление директору института академику Жукову, извещавшее его о моем намерении эмигрировать. Волобуев прежде всего заявил мне, что осуждает меня...

В Институте всеобщей истории главным объектом травли неосталинистов при попустительстве и, пожалуй, даже при содействии Е. М. Жукова стал М. Я. Гефтер. В течение нескольких лет его подвергали последовательной дискриминации. Сначала освободили от заведывания сектором методологии истории, а сам сектор ликвидировали, затем лишили возможности вообще работать по своей проблематике – русский империализм XX века, методология истории, — создали для Гефтера в высшей степени напряженную нервную обстановку и сделали его пребывание в Институте всеобщей истории совершенно невыносимым. К этому прибавилась контузия, полученная Гефтером во время советско-германской войны. Все эти обстоятельства

основательно подорвали его здоровье. И он вынужден был уйти на пенсию еще до наступления пенсионного возраста (60 лет).

Аналогичную атмосферу травли пытались одно время создать вокруг талантливого медиевиста А. Я. Гуревича, которого сектор истории средних веков категорически отказался взять на работу. Историк культуры Возрождения Леонид Баткин никак не мог защитить своей диссертации доктора исторических наук из-за откровенного противодействия реакционной группы медиевистов из нашего института и исторического факультета Московского университета. Между тем работы Гуревича и Баткина, их лекции и доклады пользуются огромной популярностью не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Институт всеобщей истории прилагал немалые усилия, чтобы избавиться от выдающегося философа — я назвал бы его мыслителем — Володи Библера под тем предлогом, что темы, которыми он занимается, якобы выходят за рамки программы научно-исследовательской работы института. Между тем Володя Библер мог бы оказать честь научному учреждению, институту или университету любого государства, дав согласие работать в нем.

Ограничусь лишь этими примерами, но на самом деле их гораздо больше. Что всегда поражало и огорчало меня, это стремление коллег по институту свалить на людей, подвергаемых травле, вину за это на них же самих. Обычный аргумент такой: зачем Х так выступил? Он тем самым лишил возможности У защитить его. А ведь У хотел это сделать — и т. д. и т. п. Такая манера, увы, появилась не вчера. Она есть неотъемлемая часть психологии «хомо совьетикус» — объявлять виновником гонения самого гонимого. Сколько раз мне приходилось быть свидетелем этого!

В Советском Союзе, особенно в области гуманитарных наук, ученый зависит в разработке своей проблемы не только от наличия источников и возможности их использования, от благоприятной политической конъюнктуры, от уровня самоцензуры, но также и от мнения своих коллег, от рекомендации в печать ученого совета, от воли издательства и произвола редактора издательства, не говоря уже о всякого рода официальных и неофициальных цензур и т. д. и т. п. Хотя в последние годы мнения рецензентов и коллег не навязываются автору, во всяком случае в столь безапелляционной форме, как это было в прежние времена, но автор вынужден принимать не только правильные замечания, но и делать вид, будто он учитывает и совершенно бессмысленные замечания, дабы про него не пошла молва, что он нетерпимо относится к критике. Это очень плохая рекомендация. Иногда автору задают просто нелепые вопросы с точки зрения научной, но довольно щекотливые с точки зрения его идеологической позиции. Впрочем, откровенных сталинистов, «зубров», в наше время уже мало кто поддерживает. Большинство инстинктивно склоняется к «золотой середине». В Институте истории СССР, например, в конце июня 1973 года обсуждалась диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук Лельчука, умеренного конформиста, человека одаренного и остроумного. Одному из сталинистских «зубров» по фамилии Коваленко рассуждения Лельчука показались подозрительными и, будучи не в состоянии разобраться в проблеме, он напрямик спросил Лельчука: «Вы за Сталина или против? Скажите прямо», на что Лельчук под хохот и аплодисменты присутствующих ответил: «Я за нашу советскую родину и коммунистическую партию».

Иногда сталинистские приемы используются для упрочения карьеры. Примерно в это же время в том же

институте защищала кандидатскую диссертацию некая Алаторцева. Ее научный руководитель профессор Е. Н. Городецкий на защите не был. Диссертантка подвергла грубой, разнузданной критике «*Указатель литературы по истории СССР*», который только что тогда вышел вторым изданием. Ответственным редактором указателя был Городецкий. Сама же Алаторцева принимала участие в составлении указателя. На возмущенный вопрос одного из присутствующих: «Как же так, Вы же сами являетесь автором указателя, следовательно, несете ответственность», — Алаторцева, не моргнув глазом, ответила: «Ответственность несет Е. Н. Городецкий. Ведь он руководил изданием». Степень кандидата наук была Алаторцевой присуждена единогласно при одном воздержавшемся.

Попытки решать научные проблемы административным путем все еще делаются, и я полагаю, они просто неизбежны в силу господства одной идеологии, одной культуры. Например, старший научный сотрудник Института истории СССР Арон Аврех получил от партийного бюро строгое указание за якобы ошибочное мнение о роли крестьянства в России в период абсолютизма. Аврех вполне резонно утверждал, что русское крестьянство было социальной опорой абсолютизма. После трех с половиной часового разбирательства Аврех так своих «ошибок» и не признал и получил строгое указание от партийного бюро. В былые времена Авреху несомненно было бы приписано обвинение в троцкизме или еще в чем-нибудь, и его бы выбросили из партии. Но теперь он получил даже не взыскание, а лишь строгое указание. И все же этот случай довольно показательный для атмосферы, которая царит в общественных науках. В области истории она не так сгущена, как у социологов и философов, где моральное истребление мыслящих людей происходит безостановочно.

Пока происходили все эти события и я отбивал то одну, то другую атаку, моя книга «*1941, 22 июня*» жила своей собственной книжной жизнью. В 1968—1970 годах появились ее издания во Франции, Австрии, Югославии и в Соединенных Штатах Америки. Об этом мне хочется рассказать подробнее. Однажды — дело было в 1968 году — один мой добрый знакомый, многолетний сотрудник библиотеки Академии наук СССР обратил мое внимание на рекламное объявление в одном из номеров лондонского «*Таймс литерери сапплемент*», в нем сообщалось о выходе в Соединенных Штатах книги некоего Владимира Петрова «*Советские историки и германское вторжение 22 июня 1941 года*», в которой содержится полный перевод известной книги советского историка Некрича «*1941, 22 июня*». В анонсе указывалось, что о судьбе автора книги «ничего не известно». Прочтя это, я посмеялся. Книгу я долго не мог достать. Наконец я получил ее в подарок от одного моего западного коллеги в августе 1970 года на Всемирном конгрессе исторических наук в Москве. Каково было мое удивление и негодование, когда я увидел, что автором книги является Владимир Петров, но почти весь текст принадлежит мне. Петров же сделал перевод книги на английский язык и комментарий к ней. Я был далеко от США и в таком сложном положении, что затевать тяжбу просто безнадежно. Спустя год-два до меня дошли сообщения, что некоторые зарубежные историки возмущены поступком Петрова. Это несколько ободрило меня, и в 1974 году я отправил два письма в США — одно директору Института китайско-советских исследований университета Джорджа Вашингтона. Этот институт субсидировал издание книги Петрова. Другое — аналогичное по содержанию — я отправил директору издательства Саус Кэролайна Юниверсити Пресс, опубликовавшего «книгу Петрова». Ответ пришел настолько

быстро, что я был просто ошеломлен и даже подумал, что, может быть, в Советском Союзе отменена цензура! Но ответ был ни от директора Института, ни от директора издательства, а от самого Петрова! Меня это очень удивило. Ведь я не обращался к Петрову. Ответ был, с моей точки зрения, совершенно неудовлетворительным. Я решил не отвечать Петрову и ничего больше не предпринимать. Сделал я это потому, что быстрота, с которой произошел обмен письмами, показалась мне подозрительной: за 11 дней мое письмо и ответ совершили круг. Было похоже, что кто-то заинтересован в том, чтобы создать из этой истории какой-то инцидент и погреть на этом руки. Не желая быть втянутым в игру за чуждые мне интересы, я решил отложить все это дело с «книгой Петрова» до более подходящего времени. И оказался прав. Спустя несколько месяцев ко мне подошел один из сотрудников института, который по моим предположениям был связан с советскими учреждениями явно не научного характера. Он спросил меня, знаю ли я, что Петров издал мою книгу под своим именем и что я намерен предпринимать. Из его слов я заключил, что моя переписка по этому поводу для него не является секретом и ответил ему, что решил пока оставить дело так, как оно есть. Между прочим, он рассказал мне, что Петров проделал точно такую же штуку, как с моей книгой, с книгами двух других советских авторов...

Всемирный конгресс историков в Москве был для меня знаменательным не только потому, что мне привезли «книгу Петрова», но прежде всего потому, что меня не хотели допустить на этот конгресс. Западный читатель не должен удивляться этому. Независимо от устава конгресса — а устав гласит, что в конгрессе имеет право принять участие любой профессиональный историк, — вопрос об участии советских историков решается персонально на уровне отделения

исторических наук и Национального комитета советских ученых, а весь список утверждается отделом науки ЦК КПСС. 12 августа 1970 года заведующий сектором истории Великобритании, сам очень хороший историк и порядочный человек, Николай Александрович Ерофеев передал мне указание директора Института всеобщей истории академика Жукова, чтобы я на конгрессе не появлялся, так как — передаю слова Жукова дословно — «это может увести конгресс в сторону от намеченной программы его работы». Я был обозлен, но в то же время не мог не рассмеяться, какое же преувеличенное значение моей особе придают начальники от науки. Одновременно я узнал, что из списка делегатов на конгресс вычеркнуты весьма уважаемые историки М. С. Альперович, М. Я. Гефтер и другие. Реагировал я немедленно и очень решительно. В тот же день я направил письма аналогичного содержания Жукову и президенту конгресса академику Губеру.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСТОРИКОВ СССР,
ПРЕЗИДЕНТУ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
академику А. А. ГУБЕРУ

Глубокоуважаемый Александр Андреевич!

Как официально сообщил мне сегодня зав. сектором истории Великобритании Института всеобщей истории АН СССР Н. А. Ерофеев, мне отказано в присутствии на заседаниях XIII международного конгресса исторических наук.

Полагаю, что любому профессиональному историку полезно принять участие в конгрессе, поскольку это дает возможность лучше ориентироваться в проблемах, находящихся в центре внимания мировой исторической науки. Это относится также и ко

мне, так как уже в течение двадцати лет я занимаюсь исследовательской работой.

Считаю решение не допускать меня на конгресс неправильным, находящимся в противоречии со статусом Международного конгресса и являющимся фактически актом дискриминации.

Убедительно прошу Вас пересмотреть это решение и дать мне возможность участвовать в работе конгресса наравне с сотнями других советских историков.

Письмо аналогичного содержания направлено мною директору Института всеобщей истории АН СССР академику Е. М. Жукову.

(А. М. Некрич)

доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР

12 августа 1970 г.

Одновременно я поставил в известность о случившемся некоторых моих западных коллег, и на традиционном коктейле один из них спросил Губера, правда ли, что Некричу запрещено появляться на конгрессе. Губер решительно это отрицал.

Через два дня Губер пригласил меня в бюро отделения и вручил мне приглашение. Но билет был все же не делегатский, а гостевой. Таким образом, это все равно было нарушением Устава конгресса, но я решил, что нет смысла добиваться чего-нибудь большего, так как конгресс начинался на следующий день. Вручая мне гостевой билет, Губер в обычной для него дружеской манере сказал мне: «Саша, произошло недоразумение, но я никак не ожидал от Вас такого письма».

— Что Вам показалось странным в нем?

— Да так, некоторые формулировки, — замялся Губер.

Еще бы! Конечно, Губеру показалась странной моя ссылка на Устав конгресса. Ведь мы так привыкли униженно просить даже о том, на что имеем право.

Альперович и Гефтер также получили билеты на конгресс.

Во время конгресса каждый раз где бы я ни появлялся, за мной (но не только за мной) велось неотступное наблюдение. Сама система наблюдения была примитивной: внизу, между входом в здание Московского университета на Ленинских горах, где происходили заседания, и лестницей, которая вела в конференц-зал, стояло несколько сотрудников органов госбезопасности в штатском. Наверху, во всех залах, коридорах и других помещениях стояли дежурные — сотрудники Института истории СССР и Института всеобщей истории. Зная в лицо всех или почти всех сотрудников, они легко могли наблюдать за нами и особенно за общением с иностранными учеными.

В один из дней конгресса я пошел на заседание секции, где делал доклад профессор Ричард Пайпс (Гарвард). Во время перерыва ко мне подошел некто Ш. и требовательным тоном спросил меня, почему я присутствую на заседании секции, не имеющей прямого отношения к проблемам, над которыми я работаю. «Потому что мне это интересно», — резко ответил я. Ш. удалился. Стоило мне начать разговор с кем-нибудь из иностранцев, как вблизи оказывалось чье-то знакомое лицо.

Однажды ко мне подошел шеф прессы конгресса доктор Григулевич, автор книг по истории Ватикана, известен также своими многочисленными поделками по истории иезуитов в Латинской Америке. В свое время Григулевич был советским агентом в этих странах. Об этом открыто писалось в одной из книг, изданной в СССР. Человек он был веселый, остроумный, говорят, широкий и очень ловкий, не веривший ни в Бога, ни в черта. Итак, Григулевич подошел ко мне и

спросил, правда ли, что я дал интервью корреспонденту западной газеты. Надо сказать, что дать интервью корреспонденту без предварительного согласования с начальством, без разрешения на то вплоть до уровня отдела ЦК для советского гражданина считалось тягчайшим проступком, вслед за которым могло последовать увольнение с работы. Здесь я позволил себе взорваться и начал выговаривать Григулевичу, что я не намерен отвечать на его провокационные вопросы. Дело было вблизи книжной выставки и служебного помещения. Около нас появился перепуганный заместитель Губера по конгрессу А. Л. Нарочницкий и инструктор отдела науки ЦК Кузнецов. Правда, они не осмелились подойти к нам, а прислушивались издали. «Мне надоели ваши вопросы, мне надоела эта дискриминация», — повышенным тоном бросал я в лицо Григулевичу. Несколько ошарашенный, он пытался перейти на дружеский тон: «Ну что ты, старик,..» и пр. Позднее выяснилось, что поступил донос от одного из осведомителей, что я беседовал с иностранным корреспондентом и он был даже назван, корреспондент английской газеты «*Обсервер*». На самом же деле мой итальянский друг, ныне покойный профессор Эрнесто Раджионери, познакомил меня с корреспондентом коммунистической газеты «*Унита*» Бенедетти, и тот спросил меня относительно моих впечатлений о конгрессе. Донос тем временем уже полетел...

Конгресс был для меня чрезвычайно интересен и даже приятен. Многие делегаты конгресса, стремясь выразить мне свое сочувствие и солидарность, дарили мне книги, которые они привезли на конгресс, крепко пожимали мне руку, интересовались моей жизнью. Да, я не был одинок. И в один из вечеров у меня собрались историки из разных стран, социалистических и капиталистических. Это был подлинный интернационал! Мы пили армянский коньяк, беседовали о

серьезных исторических проблемах и рассказывали анекдоты политического свойства и не обращали никакого внимания на то, что, быть может, моя квартира прослушивается специальной аппаратурой, хотя о такой возможности я предупредил присутствующих.

Глава 10. Расставанье

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

Булат Окуджава

Расставанье. — Похороны Пастернака и Твардовского. — Кончина Н. С. Хрущева. — Самоубийство Ильи Габая. — Речь на похоронах А. Л. Монгайта. — Еще раз об историках и истории. — О диссидентах. — Срывают фотографию. — Друзья с Запада. — Последняя попытка. — Мой выбор. — В защиту Мустафы Джемилева. — Меня объявляют предателем. — Отрешись от страха...

В эти годы было много трагических событий. Уходили в небытие родные и близкие мне люди, друзья, товарищи и просто те, кого я знал и к кому относился с симпатией и уважением.

И каждый раз, когда наступало расставанье, я чувствовал, будто уходила в далекий путь частичка меня самого. Так, должно быть, и было на самом деле. А, может быть, то была не частица моего существа, а простая и тривиальная мысль, что вот так постепенно сужается круг жизни, и ты остаешься один.

И было еще другое расставанье: с привычным укладом, с материально устроенной и обеспеченной жизнью, с Москвой, с этими улицами, тротуарами, набережными, по которым ты бродил тысячи и тысячи раз, с кладбищем, где похоронены твои близкие.

И было расставанье с живыми: с друзьями, которые были для тебя самым надежным и самым прочным прибежищем в ненастные и в добрые дни твоей жизни, с родными, теплотой которых ты был согрет, с сотнями людей, которых ты знал лишь в лицо и улыбался им при встречах.

Расставанье: со слезами, поцелуями и объятьями, с крепким рукопожатьем, с таким привычным: «Ну, будь здоров» и с пророческим напутствием: «Дай тебе Бог найти пищу и кров».

И ты понимаешь в этот последний миг, что это насовсем.

* * *

В России, в старой и новой, похороны всегда были поводом для выражения чувств современников. Напомню про похороны Льва Николаевича Толстого, В. И. Ленина, И. В. Сталина.

В общественную демонстрацию вылились похороны писателя Костерина, одного из выдающихся народных деятелей Советского Союза, выступившего в защиту несправедливо обиженных малых народов нашей страны, в частности, крымских татар.

На похоронах обычно обнажается совесть народная, которая молчит при обычных обстоятельствах жизни. Я помню похороны Бориса Пастернака. Это было в 1960 году. В последние годы жизни Пастернака, написавшего «*Доктор Живаго»*, травили и даже угрожали выслать его за пределы Советского Союза. В этой постыдной кампании принимали самое активное участие многие известные советские писатели, деятели искусства. Вскоре после этого Пастернак умер. Его похороны превратились в выражение народного осуждения травли, которой его подвергали. Я помню неожиданное выступление на его похоронах молодого парня в синей, возможно, морской фуражке, и выступление Асмуса, очень сердечное и опасное для самого Асмуса. Я приехал в Переделкино, где хоронили поэта, вместе с археологом Александром Монгайтом, Наумом Коржавиным, Булатом Окуджавой, актрисой Жанной Прохоренко. Хоронили Пастернака на склоне холма под деревьями, и сотни людей,

растекаясь ручейками по полю, двигались змейками к погребальному холму. Это было выражение подлинной искренней скорби к поэту, затравленному властью, выражение сочувствия к нему скорее как к страдальцу, чем как к поэту.

Нечто подобное происходило на похоронах Твардовского, хотя эти похороны в отличие от похорон Бориса Пастернака были официальными, торжественными, со сменой почетного караула и с выступлением секретарей Союза писателей. Но лишь один из них сказал несколько человеческих слов — Константин Симонов. Выступавшие так старательно обходили наиболее важную сторону жизни и деятельности Твардовского — годы, когда он возглавлял «*Новый мир*» — лучший литературный и общественно-политический журнал страны, — что было стыдно не только за них, но и за всех присутствовавших на траурном митинге в доме Союза писателей. Ведь им фактически плюнули в лицо, сделав вид, что Твардовского как главного редактора журнала «*Новый мир*» будто и не существовало, как вроде и не было расправы над редакционной коллегией журнала, над самим Твардовским, вынужденным сойти с капитанского мостика. И все-таки свершилось чудо: какая-то женщина в тот момент, когда митинг закрылся, но ораторы ещё толпились на сцене, а в зале народ едва поднялся со своих мест, закричала страшным голосом, голосом человека, возвещающего о случившемся великом несчастье: «Почему вы молчите?! Почему вы не скажете, что Твардовского сняли из «*Нового мира*», что это ускорило его смерть?!»

Толпа замерла. Потом раздался гул, и... все пошли к выходу. И все же этот вопль осуждения был также и голосом будущей надежды, который навечно повис в воздухе этого парадного зала. А потом было Новодевичье кладбище и Александр Исаевич Солженицын, на руку которого

опирается вдова Твардовского. Солженицын, который прошел в зал Союза писателей, несмотря на специальные патрули, выставленные для того, чтобы его не пропустить.

11 сентября 1971 года окончил свои дни Никита Сергеевич Хрущев. Вечером того же дня зарубежные радиостанции оповестили мир о смерти одного из самых удивительных государственных деятелей, которых когда-либо рождала русская земля.

Лишь 13 сентября газета «*Правда*» опубликовала официальное уведомление, в котором говорилось:

«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой продолжительной болезни скончался бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев». О дне и месте похорон не упоминалось. Радио Москвы говорило о чем угодно, кроме этого, не столь уж маловажного события.

И все-таки, несмотря на то, что место и время похорон объявлено не было, уже вечером 11 сентября по Москве распространился слух, что похороны будут в понедельник, 13 сентября, в 12 часов дня на Новодевичьем кладбище.

* * *

Я договорился пойти на похороны с моим другом художником и его женой. В назначенное время, в 10.45 мы встретились неподалеку от входа в Новодевичье кладбище, на площади XX Октября.

Пришел я немного раньше условленного времени и увидел, что около Новодевичьего, со стороны входа в церковь, уже выставлены милицейские посты и появились кучки сотрудников государственной безопасности в штатском. Но помимо них то здесь, то там начали собираться небольшие

кучки граждан, прослышавших про похороны. На углу Пироговской улицы и площади остановилось несколько офицеров, слушателей расположенной неподалеку военной академии им. Фрунзе. Офицеров вооруженных сил, большей частью одиночек, я замечал и позднее.

Вскоре подошли мои друзья. Увидев, что на дорогах уже выставлены заслоны и к центральным воротам кладбища пройти невозможно, мы попытались проникнуть на кладбище через монастырский двор, но немедленно обнаружили, что операция «Похороны» разработана весьма тщательно: во дворе уже были расставлены милицейские патрули, прогуливались сотрудники КГБ. Все проемы вдоль монастырской стены также охранялись. У запертых подъездов стояли милицейские машины.

Справа от церкви ремонтировалась стена. Мы обратились к пожилому человеку в помятой грязноватой шляпе, видимо, десятнику, и начали расспрашивать его о том, как пройти, вернее, проникнуть на кладбище. «Здесь вы не пройдете, повсюду посты, — ответил он и кивком головы указал на внезапно появившиеся в проеме стены лица двух милицейских, — да и что интересного, — усмехаясь, продолжил десятник, — покороны как покороны. (Почему-то он произносил слово «похороны» через букву «к», и это придавало его словам какое-то особенное, почти мистическое звучание). Его покоронят, и вас покоронят. Всех покоронят».

Напутствуемые сей философской сентенцией, мы ушли с монастырского подворья с тем, чтобы продолжить свои поиски. После долгих блужданий по противоположной кладбищу стороне улицы, нещадно поливаемые дождем, мы, наконец, вышли на самую выгодную для обозрения позицию на углу переулка и улицы в самом конце бульвара, наискосок от кладбищенских ворот.

Во время наших блужданий мы обнаружили, что все подходы и проезды блокированы милицией и сотрудниками госбезопасности и, возможно, привлеченными для этой цели активистами. Поодаль во дворах стояли крытые брезентом военные грузовики, в которых томились солдаты войск внутренней охраны, молодые, рослые, чисто одетые и выбритые до синевы. В кабине каждого из грузовиков сидел офицер. Около каждой группы машин, по-видимому, роты находился связист с рацией, поддерживавший непрерывную связь с вышестоящим начальником...

Проходя мимо одной из машин, я пристально посмотрел на сидевших там солдат. Один из них встретил мой взгляд чуть растерянной, как бы извиняющейся улыбкой: «Что делать, мы, мол, ни при чем». И в душе моей вдруг зазвучала песенка Булата Окуджавы: «А если что не так, какое дело! Как говорится, Родина велела...» Так и запомнился мне этот солдат с извиняющейся как бы полуулыбкой. «Нет, не все еще потеряно, нет, не все», — повторял я себе потом не раз, вспоминая солдата.

Неприятное чувство от присутствия такого количества солдат, готовых по сигналу выполнить любое приказание, сохранялось у меня долго.

...Нам повезло. Милицейские, оберегавшие доступ к кладбищу на нашем участке, оказались людьми спокойными и корректными. Время от времени они обращались к нам с просьбой отступить с проезжей части на тротуар, но никаких грубых окриков или тем более физических действий не следовало. Наш пост миновали несколько корреспондентов, иностранных и советских, их вежливо пропускали по предъявлении удостоверений. Разрешено было пройти к кладбищенским воротам и нескольким престарелым людям, главным образом женщинам, после тихого разговора милиционеров с ними. То были бывшие политические

заключенные, возвращенные и реабилитированные в годы правления Хрущева.

«...Дождь льет. А тогда шел снег, — вдруг вспомнил я, — да, конечно, — обрадованно вспоминал я, — тогда шел снег...» Это было в ночь под Рождество, 24 декабря 1942 года под Сталинградом, на внешнем обводе сталинградского «котла». «Некрич, быстро!» — в дверях появился мой начальник капитан Аркадий Квасов. Застегивая на ходу шинель, я полубежал вместе с Квасовым к окраинному дому. Сейчас будут допрашивать немцев из армии Манштейна. Тюльпанов (начальник отдела политического управления Сталинградского фронта по работе среди войск противника) предлагает операцию по заброске их в «котел»... В просторной горнице несколько человек. Вот умнейший Сергей Иванович Тюльпанов. Оглядываюсь. Все говорят вполголоса. Поглядывают на дверь, видимо, ожидают начальство. Дверь распахивается, и вместе с порывом морозного декабрьского ветра в двери появляется и на секунду замирает фигура приземистого человека. За ним еще кто-то. Хрущев! Узнаю я его. Член Военного Совета фронта Никита Сергеевич Хрущев, собственной персоной. «Черт побери, — думаю я про себя, — дело-то, видимо, предстоит серьезное». Хрущев поочередно здоровается со всеми. Я самый младший по званию, поэтому и представляюсь последним. «Лейтенант Некрич», — отчеканиваю я. Хрущев, улыбаясь, пожимает мне руку.

Итак, Хрущев будет сам беседовать с военнопленными. Он предложит им отправиться в «котел», в окруженную армию Паулюса и быть как бы живыми свидетелями поражения, которое понес спешивший на выручку Паулюсу генерал-полковник Манштейн. Моя роль заключается в том, чтобы, не привлекая ничьего внимания, сидя за занавеской, фиксировать беседу Хрущева. Но так, чтобы никто из немцев об этом не догадался. Занавеска, отделяющая одну часть

избы от другой, слишком коротка. Я сижу на высоком табурете, чуть поджав ноги, и меня обуревает страх. А вдруг я неправильно пойму немцев! А вдруг свалюсь с табурета или чихну! Боже мой! Потом успокаиваюсь и уже почти автоматически записываю беседу Хрущева.

Он говорит дружелюбно, чуть насмешливо, рассказывает немцам, как гибнет окруженная 300-тысячная армия. «Это бессмыслица!» — восклицает он. И объясняет немцам, что они могут помочь избежать излишнего кровопролития, помочь своим землякам, рассказав им правду. А она очень проста: Манштейн никогда не придет не выручку Паулюсу — он разбит...

Потом военнопленные справляли Рождество, а затем ушли в «котел». Они приняли на себя миссию, предложенную Хрущевым. Это была моя единственная встреча с Хрущевым. И вспомнил я о ней, стоя под проливным дождем на тротуаре у Новодевичьего кладбища. А затем вспомнил об этом еще раз, когда прочитал об этом эпизоде в мемуарах Хрущева и был потрясен его великолепной памятью.

...Дождь хлещет нещадно. Примерно без пятнадцати минут двенадцать микрофоны разнесли команду: «На подходе!» Я вздрогнул. Совсем как на войне!

По противоположной стороне промчались мотоциклисты, за ними на большой скорости грузовая машина с венками, а вслед за ней, не сбавляя скорости, обычный автокатафалк. Затем потянулась вереница машин. Зная принципы советской иерархии, можно было сразу определить, что никого из высокопоставленных лиц здесь нет. Ибо только черные «Волги» были здесь: на таких разъезжают лишь чиновники второго и третьего рангов.

В кладбищенские ворота входят поодиночке музыканты, держа в руках или под мышкой серебряные трубы.

Двенадцать часов. Со стороны кладбища доносятся звуки траурной мелодии. Похоронная церемония началась. Напряжение несколько спадает. Наши милицейские вступают в разговоры с публикой. «Когда нас пустят?» — спрашиваем мы их. — «Через час», — следует ответ. Вскоре к нам приблизился довольно молодой с небольшой проседью генерал-майор внутренних войск, который, по-видимому, и был здесь старшим начальником. Его сопровождал полковник. Едва генерал приблизился, как к нему подошла пожилая женщина с иссохшим лицом желтовато-коричневого цвета. «Рак», — пронеслось в голове мгновенно. Женщина что-то тихо объяснила генералу. «Да, у нее рак», — еще раз подумалось мне. «Хорошо, идите», — ответил генерал. Женщина медленно направилась к кладбищенским воротам. Стоявшие рядом — среди них был и я — начали просить, чтобы пропустили и нас. «Зачем вам?» — чуть усмехаясь, спрашивает генерал. — «Проститься с покойным», — коротко отвечаю я.

— «Нет, нельзя», — и генерал удаляется. Прошло еще несколько минут, и к нашему посту подошло трое пожилых людей, мужчина и две женщины. Одна из них, должно быть, приходилась женой этому человеку, другая — сестрой. Мужчина горячо объясняет что-то начальнику нашего поста, капитану милиции. Тот выслушал, махнул разрешающе рукой. Трое быстро зашагали к воротам. «Разрешите и мне», — обратился я к капитану. Он внимательно взглянул на меня. Очевидно, я произвел на него благоприятное впечатление: «Хорошо, идите». Вслед за мной пропустили еще несколько человек.

Мы подошли к кладбищенским воротам. Я взглянул на свои часы: было тридцать минут первого. У калитки (ворота были закрыты) произошла заминка — нас не пускали. Одна из пожилых женщин начала требовательно стучать в калитку. Стоявший по ту сторону охранник посмотрел в

глазок, затем чуть приоткрыл калитку. «Пустите нас», — раздалось несколько голосов. «Рита, — возбужденно говорит небольшого роста человек. У него живое подвижное лицо. — Тебе этот глазок ничего не напоминает?!» — «Как же, не напоминает,» — с каким-то странным смехом отвечает она. Другой разговор: «Как вы узнали, что похороны в 12? Разве об этом сообщали по радио?». Следует ответ: «Сообщали оттуда» (то есть зарубежная радиостанция — *А. Н.*).

Дождь полил еще сильнее. Я поднял воротник плаща. Стою, слушаю. Люди нервничают, становятся все возбужденнее. Сотрудники государственной безопасности, укрывшиеся в проеме цветочного павильона, стоят молча, иногда чуть улыбаются. Льет дождь.

Откуда-то появляется некий подполковник милиции. «Пустите нас!» — почти хором взывают к нему промокшие люди. — «Кладбище закрыто», — коротко отвечает он. — «Как закрыто, когда там похороны?!» — раздаются голоса возмущения. — «Кладбище закрыто», — повторяет подполковник и исчезает за калиткой. К этому времени у кладбищенских ворот уже скопилось человек двадцать. Сотрудники государственной безопасности, одетые в цивильное платье или в милицейскую форму, внимательно рассматривают присутствующих. Но не делают ни одного враждебного движения, не вступают в разговоры, имея на то, очевидно, строгие инструкции. Толпа волнуется все больше и больше. «Не надо шуметь. Давайте постоим молча у запертой калитки», — говорит, обращаясь к толпе, высокий пожилой человек. Но, видимо, мало кто понимает глубокий смысл слов, сказанных им. Люди возбуждаются все больше и больше, их требования пропустить их в ограду кладбища становятся все настойчивее. Наконец, появился человек в штатском. На вид ему что-то между 30 и 40 годами. «В чем дело?» В ответ уже вопли: «Почему нас не пускают на похороны?!» — «Разве вы не видите, что кладбище сегодня не

работает. Санитарный день», — и он жестом указывает на объявление, повешенное на воротах. Оно написано от руки красным карандашом. Вот его текст: «13 сентября кладбище закрыто. Санитарный день». В ответ взрыв иронических замечаний: «Санитарный день! День санитарной обработки! А те, кого допустили на похороны, прошли санитарную обработку?! А у вас есть справка, что вы прошли санобработку на вшивость?!» Высокий человек, не дрогнув, парировал: «Похороны проводятся родственниками и друзьями». — «А Вы, наверное, родственник?» — иронически спрашивает кто-то. — «Да, я родственник». В ответ раздался смех. Но смеялись напрасно: это был сын покойного, Сергей. Но благодаря его вмешательству калитка, наконец, отворяется и для нас. Спешным шагом устремляюсь к месту похорон. В этот момент гроб с телом Хрущева опускают в могилу. Оркестр заиграл гимн. Четверо здоровенных могильщиков быстро начали засыпать могилу, а затем сооружать погребальный холм. Я огляделся. Со всех сторон щелкают фотоаппараты и жужжат камеры корреспондентов. Их было довольно много. Наверное, несколько десятков. На могилу кладут венки, засыпают холм цветами. Могильщики укрепляют мраморную белого цвета плиту. На ней золотыми буквами выведена лаконичная надпись: Хрущев Никита Сергеевич, 1894–1971. Чуть повыше водружается портрет покойного в застекленной рамке. Такого же рода фотография на соседней могиле — народного артиста из династии Садовских, умершего в апреле этого года.

Во время процедуры похорон перед могилой стоял человек, державший в руках красным шелком отделанную панель, на которой прикреплены Золотые звезды и ордена умершего. Все честь-честью. Венки от ЦК КПСС и Совета министров СССР. От А. И. Микояна. От родных. От друзей. И еще какие-то.

Ближайшие родственники Хрущева сгрудились около могилы. Их много. Мелькнуло измученное, выплаканное

лицо Нины Петровны. Сжавшаяся в комок Рада Никитична. Статная молодая женщина с красивым лицом, которую поддерживает тоже молодой подполковник авиации. Широкая фигура Аджубея. Какое у него одутловатое, будто равнодушное лицо!

...Щелкают фотоаппараты, крутятся кинокамеры. Позади меня тихо переговариваются американские корреспонденты: «Иксепшнл ивент. Олл уорлд пресс энд уорлд рэйдио...»

Я увидел своего друга и пробираюсь к нему. Он стоит большой и печальный. Как-то пенсионер Хрущев приглашал его приехать, но он не поехал. Сейчас сожалеет, наверное, об этом. Трогаю его за плечо. Вокруг очень много сотрудников государственной безопасности. Все в штатском. По манере держаться, по покрою костюмов отличаю довольно высокопоставленных лиц из этого ведомства. Но почему их так много? Почему так много милицейских и солдат внутренней охраны, скрытых под брезентовыми крышами военных грузовиков? Почему «санитарный день»? Зачем Новодевичье кладбище, а не Кремлевская стена?

Какая ирония судьбы! Никита Хрущев будет покоиться среди артистов, поэтов, академиков, словом, среди интеллигентов, к которым он так часто бывал несправедлив, но лишь они одни поминают его сегодня добрым словом. А Тот, другой, и после своей смерти будет находиться вместе со своими соратниками у стен Кремля...

Мало, очень мало обыкновенных граждан, «простых советских людей», пожелавших проститься с Хрущевым. Пожалуй, лишь одни интеллигенты. И здесь дело, конечно, не только в том, что не было оповещения о похоронах. Дело в другом: забыты и возвращение заключенных, и посмертная реабилитация, и массовое жилищное строительство, развернутое в годы правления Хрущева. Но помнят о прекращении выплат выигрышей по займам, хотя забыли об

их полной отмене. Помнят о повышении цен, о дорогостоящих зарубежных вояжах и о потоках речей покойного...

Немногочисленная толпа, сгрудившаяся вокруг свежей могилы, медленно начинает редеть. Мой друг и я подходим к Раде Никитичне. Коротко говорю ей слова утешения, называю себя, крепкое рукопожатие. Идем к выходу. Вышли за ворота. На противоположном тротуаре уже скопилось довольно много народа. Перед ними милицейский заслон. За кладбищенские ворота уже больше никого не пропускают. Оглянулись. По-прежнему висит объявление, написанное от руки красным карандашом: «13 сентября кладбище закрыто. Санитарный день».

* * *

Осенью 1973 года покончил самоубийством Илья Габай. Я встретил его в доме у Жоры Федорова в середине 60-х годов, и он мне понравился сразу же своей интеллигентностью, остроумием и доброжелательством. К тому же Габай был человеком отважным. Он был одним из первых зачинателей нового демократического движения в СССР, возникшего после XX съезда КПСС.

...Потрясенный его гибелью, я написал небольшую заметку. К сожалению, по несчастливому стечению обстоятельств того времени, эта заметка не попала в самиздат. У меня сохранилась лишь первая страница. Вот она.

Гибель Ильи Габая

В субботу 20 октября 1973 года в начале десятого утра покончил самоубийством Илья Габай. Он выбросился с балкона своей квартиры на 11 этаже дома на Новолесной улице Москвы.

Габай снял очки, аккуратно положил их на кухонный стол. Перед этим он написал записку, в которой просил у всех прощения. Он писал, что стал обузой для семьи. Потом он вышел на балкон... Его тело упало на бетонную крышу парикмахерской, примыкающей к дому-башне, в котором он жил. Габай упал лицом вниз. И так он лежал до тех пор, пока сосед не увидел распластанное на крыше тело человека и не вызвал милицию.

Жена Габая Галя обнаружила исчезновение мужа около 11 часов, когда она встала после сна. В поисках мужа она прошла всю квартиру и очутилась на кухне. Дверь на балкон была приоткрыта. Она вышла и увидела внизу толпу людей и машину «Скорой помощи». Страшная правда раскрылась ей сразу.

У входа в подъезд, на лестнице и в самой квартире находились сотрудники госбезопасности и милиции. В квартиру никого не пропускали. У приехавших друзей Габая тщательно проверяли документы. Жене Габая разрешили взглянуть на тело мужа перед самым отправлением его в морг.

Записка, оставленная Габаем, была найдена под телефонным аппаратом сотрудниками милиции.

Вечером того же дня радиостанции (не советские, разумеется) передали краткое сообщение о самоубийстве диссидента, преподавателя литературы и поэта Ильи Габая. Одна радиостанция передала, что причиной самоубийства якобы было раскаяние Габая во вреде, будто бы причиненном им советской власти. Легко представить себе, кто был заинтересован в распространении этого лживого сообщения.

Остальное я восстанавливаю сейчас по памяти.

...Отбыв трехгодичное заключение в лагере, Габай вернулся в Москву физически надломленный, но еще

сохранивший душевную силу. Он ни от чего не отрекся и никого не предал, но он устал. Первое, что он сделал на первые же заработанные деньги — пошел по московским книжным магазинам и купил книги. В этом поступке был весь Габай, умный и тонкий книжник, человек необычайно хрупкой душевной организации.

...Государственная безопасность не оставила Габая в покое и когда он вышел на свободу. Не раз и не два его вызывали на «душеспасительные» беседы и требовали и требовали от него то отречения, то каких-то сведений. Но Габай оставался непреклонен. В ту пору КГБ готовило процесс Якира и Красина, и Габай глубоко переживал нестойкость своего близкого друга Петра Якира. Он любил Якира, и поведение Якира на следствии было для Габая страшным потрясением. И потом у Габая не было работы. Он никак не мог получить работу по своей специальности — преподавателя русской литературы, в которую он был не только безгранично влюблен, но и был ее глубоким знатоком и ценителем. Он мог бы получить эту работу, если бы пошел навстречу требованиям КГБ. Но для него это было невозможно.

Так все несчастливые обстоятельства последних лет его жизни завязались в один узел, и у него не было сил развязать его. Он предпочел разрубить его. И он это сделал, сделал страшно и беспощадно — он убил себя.

Россия! Твой сын Илья Габай покинул тебя, покинул навсегда. Плачь, Россия...

* * *

Еще студентом в довоенные годы я ездил в археологические экспедиции. В 1939 г. во время раскопок в Новгороде я подружился со многими археологами и подружился на всю жизнь. Одним из них был Шура (Александр Львович) Монгайт. Мы были друзьями с Шурой, с

его женой Валей, в которую я был немножко влюблен, да и со всем семейством в продолжении трех с половиной десятков лет. Последние восемнадцать лет мы жили в одном доме кооператива Академии наук СССР по ул. Дм. Ульянова, д. 4 на Ленинском проспекте в Москве.

Об этом доме и о тех, кто в нем жил и живет, наверное, можно было бы написать не один рассказ. Но сейчас речь не о них.

В 1974 году случилось большое несчастье: Шура заболел раком поджелудочной железы, болезнью неизлечимой и мучительной. Последние годы его жизни были отравлены преследованиями со стороны директора Института археологии академика Рыбакова. Антисемит Рыбаков удалил из Ученого совета Монгайта, Федорова и палеонтолога Цалкина — трех выдающихся ученых. Никто в Институте археологии не осмелился поднять голос протеста. Но этим Рыбаков не ограничился. Он лишил Г. Б. Федорова экспедиции, которую тот создал в Молдавии и руководил ею в течение 20 лет, потому что Рыбакова не устраивала самостоятельность суждений Федорова. Рыбаков чинил препятствия и Федорову, и Монгайту в публикации рукописей.

Весь коллектив сотрудников института Рыбаков держал что называется железной рукой. Малейшее проявление критики глушилось «на корню». И партийное бюро, и профсоюзная организация были у Рыбакова «в кармане». Такова вкратце была атмосфера в Институте археологии ко времени смерти Монгайта.

...На прощание с Монгайтом пришли в конференц-зал десятки людей. Он дружил с многими учеными, композиторами, артистами, писателями. Среди тех, кто пришел проводить Шуру в последний путь, был Андрей Дмитриевич Сахаров.

Дети Монгайта, Боря и Дима, попросили меня сказать несколько прощальных слов. И я их сказал. Но это были не только слова о Шуре. Я говорил о нашем конформистском обществе. И о том, как трудно приходится подлинному ученому в эпоху «суетливого конформизма». Я напомнил о расправе, которую учинил академик Рыбаков, выведя из Ученого совета трех выдающихся ученых. Я вспоминал о жизни Шуры, но я имел в виду всех тех, кто присутствовал на похоронах. Я говорил это для живых, для сотрудников Института археологии, как бы приглашая их отрешиться от страха перед Рыбаковым, почувствовать себя людьми, подняться до уровня нормального человеческого достоинства. Мои слова падали в свинцовую тишину. Потом я видел, как был потрясен Рыбаков, пришедший на похороны. Надо сказать, что Рыбакова просили на похоронах не появляться, так как это будет неприятно семье Монгайта. Но все-таки он пришел, пришел за расплатой.

Позднее в партийных кругах утверждали, что Некрич воспользовался похоронами Монгайта для политического выступления. Однако никаких видимых последствий для меня выступление не имело. Да я и не боялся последствий. Выбор не идти на компромисс с нашим конформистским обществом был мною уже сделан.

Тридцать лет я проработал в одном и том же институте, и многие годы институт занимал основное место в моей жизни. Здесь была не только работа, за которую я получал заработную плату, здесь находился центр исторической науки в СССР, а я был историком по призванию. И не буду скрывать, гордился и горжусь этим. Погружение в историю было и остается для меня источником наслаждения и тоски.

Занятия историей в Советском Союзе — дело чрезвычайно сложное с психологической точки зрения. История, как и все другие науки в СССР, является

собственностью коммунистической партии и государства. Государство, фактически единственный работодатель страны, субсидирует науку. Поэтому каждый ученый является одновременно и государственным служащим; он обязан постоянно думать и строить свою работу таким образом, чтобы это приносило пользу государству. Партия берет на себя заботу об идеологическом курсе общественных наук, она направляет этот курс, исходя не только из своих стратегических планов, но прежде всего из тактических, рассчитанных на короткий период. И ученых-обществоведов заставляют приспосабливать свои научные интересы к интересам конъюнктурных партийных соображений. Вчера маршал Тито был предателем дела социализма, агентом ЦРУ, троцкистом и прислужником империализма. И в Советском Союзе писались десятки диссертаций, в которых будущее кандидаты и доктора наук пытались наукообразно доказать это. Потом было признано, что произошла небольшая ошибка, и Тито не шпион, а коммунист. И несчастные диссертанты шли в Ленинскую библиотеку, брали свои диссертации и украдкой вырывали оттуда страницы, которые не столько свидетельствовали против Тито, сколько против них самих. Примеров такого рода можно было бы привести десятки. И это было дело, не только связанное с определенной кампанией «против» или «за», а обычным рутинным делом. Словом, обществоведы в Советском Союзе были и остаются пленниками политической конъюнктуры.

Семь лет пролежала в издательстве «Наука» книга Г. Б. Федорова «*Археология Румынии*» из-за неурядиц в советско-румынских отношениях. Да что там обществоведы! Ученые в области физических, технических, естественных наук также в той или иной степени находятся во власти конъюнктуры и платят своеобразный выкуп в виде цитат из

сочинений классиков марксизма-ленинизма в своих книгах. Эти цитаты на самом деле не имеют никакого отношения, скажем, к теории света или к биофизике, но они являются свидетельством благонадежности и политической зрелости ученого.

И я всю свою жизнь платил эту дань. Сначала большую, потом поменьше до тех пор, пока не взбунтовался. Когда же я взбунтовался, жизнь моя начала быстро меняться: институт явно отстранялся от меня и вскоре перестал быть для меня вторым домом. Мысль о том, что год за годом уходят впустую, уже давно не давала мне покоя даже тогда, когда я не подвергался систематическим гонениям. Постепенно я начал уставать от необходимости самоцензуры в моих книгах и статьях, постоянного самополитконтроля при моих разговорах и беседах. Происходила странная метаморфоза: чем легче становилось дышать в нашей стране, тем тяжелее ощущал я повседневный гнет советского тоталитарного режима. Но, взбунтовавшись однажды, потом я начал все больше и больше ощущать практические последствия своего бунта: ограничения в печатании моих основных работ, запрещение выезда за границу, запрещение присутствовать на международных встречах ученых в своей собственной стране и т. д. и т. п. Не только моя жизнь изменилась, но теперь я сам начал ее сознательно менять в соответствии с моими нравственными убеждениями. Мое отношение ко многим вещам изменилось коренным образом.

Я, мнивший себя в прошлом солдатом Мировой Революции, стал ненавидеть насилие в любой его форме. Насильственное переустройство общества показалось мне тягчайшим преступлением против человечности. Убить, уничтожить, заморить голодом десятки миллионов людей во имя строительства идеального общества? Но общество, построенное такими методами, никогда не будет моральным,

никогда не будет преуспевающим, ибо преступления, совершенные во имя его, будут не только неотступной тенью этого общества, но также постоянным и неотъемлемым элементом его психологии, нравственности, этики. Конформизм такого общества является началом и концом всего. И что бы вы ни задумывали, какое бы произведение искусства ни создали, какое бы научное открытие ни сделали, оно принадлежит, прежде всего, этому обществу-государству. И лишь потом человечеству.

У меня нет и не было никакой программы переустройства общества. Для себя я считал и считаю обязательным помогать людям, оказавшимся в тяжелом положении из-за своих политических убеждений, из-за их разрыва с суетливым конформизмом советского общества. Живя в Советском Союзе, я был близок со многими диссидентами различного толка и различных убеждений, помогал им чем мог, иногда участвовал в их акциях. Однако я не примкнул ни к какому из этих течений, оставаясь всегда под своим собственным «знаменем». Это происходило не столько по причине моего индивидуализма, пожалуй, я мог бы причислить себя скорее к коллективистам, но потому, что не находил у диссидентов такой позитивной программы, которая могла бы меня вдохновить. Я как-то спросил Петра Якира, с которым одно время довольно часто встречался и разговаривал: «Чего вы хотите?» — и получил от него довольно туманный ответ: чтобы все в обществе было бы по справедливости. Это было хорошее пожелание, но никак не программа. Не могла меня устроить и программа Роя Медведева, верящего или делающего вид, что верит в молодых вождей, которые сменят, мол, старое советское руководство и постепенно изменят облик нашего общества, оставаясь на позициях марксизма и социализма. Эта программа не могла найти во мне отзвука, поскольку,

во-первых, я не верю в вождей, во-вторых, я не верю в так называемых молодых вождей; при существующей системе отбора руководителей те, кто добирается до вершин власти, становятся даже по возрасту далеко не молодыми; карабкаясь все выше и выше по пирамиде власти, а пирамида, согласно геометрической форме, сужается к вершине все больше и больше, они вынуждены на каждом витке пирамиды сбрасывать вниз своих противников, чтобы самим удержаться на площадке, пуская при этом в ход все средства, говоря фигурально, когти, конечности и клыки. Когда же, наконец, кому-нибудь из них удается достигнуть вершины, то оказывается, что он не только уже утратил свою молодость, а уже устал от жизни, растерял все свои идеалы и свои творческие возможности и теперь думает лишь о власти, как удержаться подле нее, как насладиться ею подольше. В-третьих, я не верю в возможность принципиального изменения системы ценностей, созданной советским режимом, и в перспективу перерастания существующей в Советском Союзе системы в более человечную. Перспектива иная — превращение этой системы в имитацию справедливого общества. Можно, конечно, попытаться сделать советский строй внешне более привлекательным, например, выставлять на выборах вместо одного кандидата целых двух или даже трех (можно лишь удивляться, почему это не делается, ведь эти кандидаты все равно будут утверждаться в ЦК КПСС!), можно закрыть глаза на издающиеся за границей книги представителей лояльной оппозиции и даже на издание журнала, особенно если его основной целью является борьба против других более опасных и более враждебных существующему режиму людей и идей.

Меня не привлекают диссиденты, придерживающиеся узко националистических идей, хотя я понимаю и

сочувствую идее защиты своего собственного народа, его культурных и моральных ценностей, но не в ущерб и не против других национальностей и народов. Шовинизм, апартеид, антисемитизм, идея избранности и особого предназначения чужды мне и враждебны так же, как нацизм и фашизм.

Ближе всего мне идеи, изложенные академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, поскольку они, эти идеи, исходят из интересов всего человеческого общества, хотя в первую очередь отвечают насущным интересам моей страны. Позволю себе здесь заметить, что всем своим не только образом мыслей, но и благородным образом жизни Андрей Дмитриевич Сахаров является поистине Отцом Отечества. Это захватывающая воображение историческая фигура, человек бесконечного Времени, один из немногих, чье пребывание на Земле обогащает человечество и оправдывает существование человеческой расы.

Утверждают, будто лишь небольшая кучка диссидентов ведет борьбу в Советском Союзе за человеческие права. Это и так и не так. Взять, например, проблему свободы национального самовыражения. Она затрагивает интересы вероятно миллионов людей, чьи национальные чувства ущемлены или подавлены режимом. Или обратимся к такой общенациональной проблеме, как свобода творчества. Борьбу за нее ведут, иногда даже неосознанно, тысячи людей: ученые, литераторы, артисты, художники. Все они, активно или пассивно, в зависимости от конкретных обстоятельств отстаивают свои права от нажима власти. И те, и другие являются частями общедемократического движения, находящегося в зачаточном состоянии, но обладающего известным потенциалом в будущем.

Диссиденты же представляют собой наиболее сознательную, решительную и готовую к самопожертвованию

часть общедемократического движения. Они суть его авангард и потому относительно малочисленны.

Близки к ним либералы-недиссиденты, которые в меру своего мужества или страха, как угодно, все же сознательно или инстинктивно находятся в оппозиции к существующему режиму, хотя часто склоняются к компромиссу и к капитуляции перед ним. И все же многие из них делают что-то, чтобы облегчить свою душу, например, участвуют в сборах денег и вещей для политических заключенных и их семей, читают и дают читать своим друзьям самиздатовскую литературу и пр. Мало? Да, мало. Но все же это лучше, чем ничего.

Мне самому приходилось не раз собирать деньги для политических заключенных и для диссидентов, и эти деньги часто давали люди, которые не хотели бы встречаться или знакомиться с диссидентами. Но деньги и одежду они давали охотно, просили и брали читать самиздатовскую литературу и пр. Эти либерально мыслящие люди могут, конечно, страха ради иудейского, внезапно отвернуться и даже поднять руку на собрании за осуждение Сахарова или Солженицына или даже своего собственного коллеги по работе, поставить свою подпись под какой-нибудь гнусной резолюцией, но в другой раз, при более облегченной политической и нравственной атмосфере, либералы могут выполнять и полезное дело: встать на защиту кого-нибудь при угрозе увольнения с работы. Примеры тому мы встречали неоднократно даже после ухода Хрущева, в 1965–66 годах и позднее. Напомню о петициях, сборах подписей, выступлениях против избрания в Академию наук СССР крайне реакционных фигур.

Либералы могут быть частью общедемократического движения, но они могут быть и резервом сил реакции. Так что пренебрегать ими в любом случае вряд ли стоит.

Один случай заставил меня еще раз подумать об опасности возрождения сталинизма. Я принадлежал к числу тех, кто считал, что возвращение к сталинизму вряд ли возможно в нашей стране, так как психологическая атмосфера изменилась радикальным образом. Но вот что произошло в нашем Институте всеобщей истории несколько лет тому назад:

Отмечали семидесятилетие профессора В. М. Далина, о возвращении которого после многолетнего пребывания в лагере я уже писал. Виктора Моисеевича в Институте все любили, и зал, в котором происходило торжественное заседание, был полон. Говорили много приятных слов юбиляру, которые он безусловно заслужил. Но вот слово предоставили Далину. Он довольно остроумно рассказывал о своей жизни, однако почти полностью обошел молчанием время своего пребывания в лагере, а ведь это без малого составляло треть его сознательной жизни. Под конец он разволновался и вдруг срывающимся голосом, воскликнул: «Товарищи, давайте споем наш партийный гимн "Интернационал"!» И все встали и запели. Все, кроме меня. Я стоял и молчал, и думал о том, как течет Кровавая Река и как даже те, кому чудом удалось выбраться из нее, теряют память, забывают о прошлом. Неужели верно, что тому, кто забывает прошлое, суждено пережить это еще раз? Значит так просто можно возродить психологическую атмосферу истерии? Так ли уж заметна грань между атмосферой, когда хочется воодушевленно запеть партийный гимн, и атмосферой жертвоприношения под звуки этого гимна?.. Когда все расходились, ко мне подошла одна моя знакомая, с которой я дружил, и сказала мне тихо, чуть-чуть улыбаясь: «А я знаю, кто не пел "Интернационал"».

* * *

В нашем институте есть стенд, на котором выставлены фотографии участников Великой Отечественной войны. Была там и моя фотография. Однажды — дело было в конце 1974 года — мне сказали, что что-то с моей фотографией неладно. Я подошел и посмотрел: оказалось, что кто-то проткнул мои глаза на фото. Вскоре повесили другую мою фотографию. Кто-то высказал предположение, что это, мол, сделали дети, приходившие на елку в институт, другие пошутили, что это сделала какая-нибудь женщина из ревности. На том дело и кончилось. Но я сразу понял, в чем дело. Такого рода происшествий в институте еще никогда не случалось.

Спустя несколько месяцев моя фотография была просто сорвана со стенда. Тогда мне сказали, что это хулиганство, но хулиганов почему-то никто разыскивать не собирался. Как раз в это время стало известно, что я собираюсь покинуть страну. Нет никакого сомнения в том, что в обоих случаях это было сделано преднамеренно, и даже высказывалось предположение, что это было сделано неким Б., местным доносчиком. Характерно, что и в том и в другом случаях никто из представителей администрации или общественных организаций института не счел необходимым выразить мне хотя бы сожаление. Сам я расценил первую акцию как предупреждение мне со стороны властей, а вторую как месть и объявление войны.

Но срыв фотографии был далеко не единственным эпизодом последних лет, показавшим мне, что мое положение будет все более осложняться и ухудшаться. Вот, например, другой эпизод.

Однажды один мой близкий друг пригласил меня на защиту своей диссертации на соискание степени доктора исторических наук.

На защите было довольно много народу, главным образом сотрудники этого института. Со стороны пришло всего лишь несколько человек и среди них был я. Вел заседание директор Института академик Н. Н. Иноземцев. В ту пору он уже был кандидатом в члены ЦК КПСС.

За несколько минут до начала заседания ученый секретарь Института Литвин обратился к аудитории с коротким заявлением, из которого следовало, что присутствие несотрудников Института и даже лиц, непосредственно несвязанных с данной темой, не представляется обязательным. Я расценил это как приглашение мне покинуть зал заседаний. Но я сделал вид, будто не понял намека, и продолжал сидеть на своем месте. Наступило некоторое замешательство. Однако пора было открывать заседание. Пригласить меня отдельно покинуть зал заседаний ни Иноземцев, ни тем более Литвин не решились. Иноземцев — человек неглупый и в перерыве, когда я проходил мимо него, поднялся и протянул мне руку. Мы обменялись рукопожатием.

Но я был огорчен. Еще раз подтвердилось, что я являюсь, так сказать, номине одиоза, одиозной фигурой. Иноземцев вполне мог служить барометром отношения партийных инстанций ко мне.

* * *

В эти годы я обрел новых друзей. Они разных национальностей: немцы, французы, итальянцы, англичане, скандинавы, чехи, венгры, поляки и даже новозеландцы.

Особенно я подружился с историком и журналистом Нильсом Мортеном Угардом, корреспондентом норвежской газеты «*Афтенпостен*». Я прочел его очень хорошую книгу «*Норвегия и великие державы во время Второй мировой войны*» и она мне очень понравилась. Он скоро покидает Москву, но успевает оказать мне огромную услугу. Мы встречаемся с ним

в Осло летом 1976 года. Потом судьба сводит меня с замечательным малым Марио Корти и его женой Леной. Марио работает переводчиком в итальянском посольстве. Его добросердечность плюс отличное знание русского языка распахивают перед ним двери домов многих московских интеллигентов. Мы становимся друзьями и, надеюсь, на всю жизнь. В 1978 г. Марио и Лена переводят на итальянский язык мою книгу «*Наказанные народы*». Однажды приезжают ко мне в гости новозеландцы, и мы устраиваем прекрасный ужин из новозеландского ягненка, московской водки и русских закусок. Потом мы смотрим кинофильмы о Новой Зеландии...

На рождественские праздники я пригласил к себе в гости Корти. У них четверо детей: мальчик Аллесио, девочки Ольга, Александра и Илари. Мы тщательно готовимся вместе с моими близкими друзьями к Рождеству: ведь придут четверо детей. Готовим подарки. Наконец приходят. Все необычайно весело: взрываются хлопушки, пол усеян конфетти. А потом дети собираются в кружок и неожиданно начинают петь на русском языке на мотив «Фрере Жаке», имитируя звон рождественских колоколов:

Артишоки, артишоки
И миндаль, и миндаль
Не растут на жопе,
Не растут на жопе –
Очень жаль.
Очень жаль...

Я чуть не падаю со стула от хохота. То же и со всеми другими взрослыми, а дети радостно смеются, довольные произведенным эффектом. Итальянское министерство иностранных дел не возобновляет контракта с Марио,

очевидно, по настоянию советских властей. Но Лена остается вместе с детьми. Мы по-прежнему встречаемся. Лена уходит от меня поздно, я иду провожать ее через темный наш двор. Вдруг из-за деревьев на дорогу выступает человеческая фигура. Я крепко сжимаю руку своей приятельнице и шепчу ей: «Спокойствие. Нас запугивают...» Но она и так спокойна. Едва мы вышли под арку, как за нами начинает следовать еще кто-то. Выходим на Ленинский проспект. Машина стоит у магазина «Кинолюбитель». Напротив бульвар и скамейка. На скамейке сидят трое. Подруга садится в машину и уезжает. Я возвращаюсь домой. Вдруг позади раздаются крики: «Эй, папаша, постой». Не поворачивая головы и не меняя темпа, продолжаю идти по улице. И снова крик: «Эй, постой!» Возвращаюсь домой в волнении, как она? Наконец звонок по телефону. С облегчением ложусь спать. Через несколько дней узнаю: кто-то разбил ветровое стекло автомобиля Лены. Уже находясь в Италии, я узнал, что по дороге из Советского Союза в Польшу на большой скорости лопается покрышка автомобиля, и Лена Корти лишь чудом остается в живых.

Так проходят месяцы. Контакт с внешним миром делает мою жизнь более сносной.

* * *

Время шло, и беспокойство, боязнь профессиональной деградации все более охватывала меня. Историк, подобно писателю, должен иметь своих читателей. Если их у него нет, то он постепенно увядает, утрачивает свой профессионализм. Я работал, писал и складывал написанное в ящик письменного стола. Долго так продолжаться не могло.

В январе 1975 года я решил прояснить свою ситуацию более радикально. Прежде всего я попытался заручиться поддержкой своего профсоюза, ведь я был членом

профсоюза с 1937 года. Конечно, я не строил себе иллюзий относительно роли, которую играет профсоюзная организация в нашей стране, а особенно в нашем институте, но я считал необходимым исчерпать все легальные возможности прежде чем решиться на крайность. Разговор с председателем нашего месткома З. Г. Самодуровой был спокойным, неспешным и очень откровенным. Она выслушала меня внимательно и сочувственно. Затем Самодурова попросила меня не торопить ее с ответом, дать ей месяц, чтобы она могла «провентилировать» мой вопрос. Я согласился. Моя просьба была очень ясной и несложной: прекратить дискриминацию, оценивать мои работы по их качеству, относиться ко мне во всем так же, как относятся к другим научным сотрудникам. Я предупредил Самодурову, что в случае неудовлетворительного ответа я буду вынужден подумать об изменении моей жизни.

Спустя месяц Самодурова подошла ко мне и с нескрываемым чувством облегчения сказала мне: «Я говорила с Евгением Михайловичем (т. е. с Жуковым, директором института — *А. Н.*), и он сказал мне, что Вами занимаются вышестоящие инстанции, и не дело профсоюза заниматься этим. И еще он сказал, если у Некрича есть какие-нибудь вопросы, пусть обратится ко мне».

Через несколько дней я был у Жукова и совершенно откровенно изложил ему мое отношение к создавшейся ситуации. На многих примерах я продемонстрировал ему, как действуют дискриминационные правила в отношении меня. Конечно, Жуков и сам знал это прекрасно. Его реакция была чрезвычайно проста. «Все зависит от Вас самого. Если бы Вы проявили... (тут он на мгновенье запнулся, подыскивая подходящее выражение, а затем продолжил)... большую лояльность, что ли, по отношению к Комиссии партийного контроля, то Ваше положение сразу же изменилось бы».

— Я не хотел бы объединять вопрос о моей партийной принадлежности с моим статусом старшего научного сотрудника института и с моими гражданскими правами. Давайте разделим эти два вопроса. Что касается моего пребывания в партии, то за семь лет, прошедших после моего исключения из партии, не появилось никаких документов или материалов, которые поколебали бы мою точку зрения на события 1941 года.

— Вот видите, — Жуков развел руками.

— ...скорее наоборот, — продолжил я, — все опубликованные после 1967 года материалы подкрепляют мою точку зрения.

— Какие, например?

— Сборник документов «*Пограничные войска СССР, 1939–1941*», мемуары Хрущева...

— Ну, какие же это мемуары! Это очень недостоверно.

— Я нашел в мемуарах Хрущева описание двух эпизодов, участником одного из них был я сам, а о втором был очень хорошо осведомлен.

Жуков заинтересовался. Я рассказал ему о беседе, которая была у Хрущева с пленными немецкими солдатами из армии Манштейна, спешившей на выручку Паулюсу накануне Рождества 1942 года. «Я присутствовал при этой беседе и даже составил секретарскую запись. Второй эпизод касался самоубийства члена Военного совета 2-ой Гвардейской армии генерала Ларина в том же декабре. У Хрущева, очевидно, была великолепная память, — заключил я. — У меня нет никаких сомнений в том, что мемуары подлинные».

Жуков помолчал. Затем я суммировал свои просьбы в виде пяти пунктов:

1. Напечатание выполненной мною по плану и утвержденной к печати Ученым советом института монографии «*Политика Англии в Европе, 1941–1945*».

2. Прекращение дискриминации в отношении других моих работ. Снятие запрета на печатание моих статей в профессиональных периодических изданиях.

3. Прикрепление ко мне аспирантов.

4. Участие в научных конференциях.

5. Отмена запрета на выезд за границу.

Я попросил Жукова отнестись к моей просьбе очень серьезно и предупредил его, что отказ в прекращении дискриминации вынудит меня подумать об изменении всей моей жизни, чтобы «последние годы, оставшиеся у меня для творческой работы, не пропали даром, как пропали предыдущие семь лет», — заключил я.

Жуков обещал переговорить с кем следует, и на этом наша беседа окончилась. Спустя еще месяц я узнал, что в Ленинграде в начале апреля будет проводиться симпозиум советских и западногерманских историков по проблеме германо-советских отношений до прихода к власти Гитлера. Этот вопрос занимал меня очень и был тесно связан с исследованием происхождения советско-германского пакта от 23 августа 1939 года, которым я занимался многие годы.

Я отправился к заместителю директора Ивану Ивановичу Жигалову, который курировал наш сектор. Жигалов поначалу отнесся к моей просьбе отрицательно, выдвигая всякие несущественные аргументы, в том числе вопрос об оплате дороги и пребывания в Ленинграде, но после моего заявления, что я готов отправиться за свой счет, сказал мне, что поговорит об этом с председателем оргкомитета симпозиума, директором Института истории СССР академиком А. Л. Нарочницким и скоро даст мне ответ. Действительно, вскоре он пригласил меня и сообщил, что Нарочницкий занял резко отрицательную позицию, заявив: «Я буду категорически протестовать против участия Александра Моисеевича в симпозиуме». Так ли было дело

или по-иному, я не знаю, да и не в том была суть дела. Важным было другое: отказ в присутствии на симпозиуме фактически и был ответом на мои просьбы Жукову во время нашей последней встречи. Так я это и расценил. Добавлю, что в последующие месяцы Жуков не выражал намерения дать мне формальный ответ на поставленные вопросы. Для меня стало очевидным, что никаких изменений в моем положении мне ожидать не приходиться, разве что к худшему — быть уволенным при очередном сокращении штатов, либо капитулировать.

Итак, я был приперт к стене. После отказа допустить меня на семинар в Ленинграде — нет, не в Лондон, не в Париж и даже не в Софию, а в Ленинград! — я почувствовал, что выносить всего этого я больше не желаю. И я решил уехать, покинуть свою страну.

Были ли у меня другие возможности? Да, были. Например, плюнуть на все, заниматься своей профессией ровно настолько, чтобы продолжать получать заработную плату, довольно высокую по советским масштабам, в 60 лет быть уволенным на пенсию. Опять же получать приличную по советским понятиям пенсию. Пожить, если возможно, в свое удовольствие и затем отойти в лучший мир. Так ведь и живет большинство советских людей. Жизнь моя в Москве была расписана вперед на все время оставшейся жизни. Я даже мысленно представлял себе, как кто-то из моих доброжелателей, прослышав про мою кончину, просит Институт всеобщей истории организовать мои похороны и как летят телефонные звонки в отдел науки ЦК, и там советуют траурного митинга в помещении института не проводить, в крайнем случае послать представителя профсоюзной организации для присутствия на похоронах.

Сказать по совести, такая радужная перспектива меня не радовала и не привлекала.

Была возможность другая. Оставаться в своей стране и вести борьбу за человеческие права, путь, на который я фактически вступил еще до всякого диссидентского движения. Началось это еще, как читатель, должно быть, помнит, в сталинские времена, в аспирантуре. В последние годы я все больше и больше шел навстречу диссидентскому движению, все более сближаясь с ним. Мои выступления на похоронах академика А. М. Деборина (1963 г.) и А. Л. Монгайта (1974 г.) были открытым вызовом конформизму, я уже не говорю о книге «*1941...*» и о событиях, с этим связанных.

Я считаю также, что деятельность партийного комитета Института истории в 1964–1966 годах объективно способствовала предотвращению широкого наступления неосталинистов в исторической науке и в какой-то мере привела к потере темпа этого наступления в сфере общественных наук вообще. Думаю также, что я сделал кое-что, чтобы помочь некоторым людям освободиться от идеологического влияния конформизма. Не будем преувеличивать их количества, их было совсем немного, но все же они были.

В то же время я все более отчетливо понимал, что в своем большинстве люди равнодушны к тем событиям, которые происходят. У меня вовсе не было уверенности в том, что население Советского Союза только и мечтает об обретении гарантированных гражданских прав. Привычный конформизм, не требующий собственных размышлений и решений, гораздо ближе народу, чем лозунги борьбы за гражданские права. Ведь при любой борьбе перед ее участниками встает вопрос о готовности принять на себя ответственность за что-то или за судьбу кого-то. Но именно от принятия собственного индивидуального решения советские люди были свирепо отучены за годы советской власти. Это оказалось чрезвычайно удобным и вполне соответствовало

некоторым установившимся обычаям: «Я — не я, и хата не моя», «наше дело телячье — посрал, да в овин» и т. п.

Диссидентов травили и преследовали, отправляли на каторгу, в тюрьмы, в психушки. Других, по тонкому расчету властей, не только оставили на свободе, но вроде как бы даже признавали своего рода «лояльной оппозицией». Я был знаком и даже дружил с некоторыми из диссидентов, помогал им, чем мог, и все же не пытался включиться полностью в это движение. Я предпочитал выступать «под своим собственным знаменем».

Да, в активном участии в диссидентском движении был определенный выход. И я много раз задумывался над этим. Во мне не было страха перед последствиями, хотя я и отдавал себе отчет в том, что у меня нет стопроцентной уверенности, что я вынесу физические мучения в лагере или в тюрьме. Гораздо больше меня смущало совсем другое: нуждается ли народ в моей защите? В истории обыкновенно случалось так, что пророки или лжепророки выступали от имени народа, никак этим народом не уполномоченные. Вероятно, только стихийный взрыв народных чувств, выражаемый в насильственных действиях, отражает на одно-единственное мгновенье образ мыслей народа, да, может быть, еще эти чаяния выражены в народных песнях и сказках.

Бывает, что на путь диссидентского движения люди вступают не только ради защиты чьих-то прав, но и ради самовыражения. Здесь, в этом движении, связанным с поисками истины, сопряженном с опасностью, люди находят самих себя. Их действия, их отрешенность внушает им самоуважение, открывает перед ними цель жизни. Но нужно поистине обладать глубоким умом, способностью к самокритике, к беспощадной самооценке, чтобы не выродиться в этом движении в революционного догматика

или в конформиста наоборот. История знает много подобных примеров.

...Я также думал и о том, что свой вклад в демократическое движение я успешнее всего могу сделать на своем профессиональном поприще, в области истории. Вот почему в последние годы жизни в Москве я написал небольшую книгу «*Наказанные народы*» — о депортации народов Кавказа, крымских татар и калмыков и об их дальнейшей судьбе. Одновременно я начал писать эту книгу, книгу воспоминаний, условно названную «*Отрешись от страха*». Это было в 1972 году, когда я был еще очень далек от принятия окончательного решения, оставаться ли мне на родине или покинуть ее. Мое решение созревало постепенно под влиянием и общей политической обстановки в стране и моего собственного положения. Я обрел внутреннюю свободу, но я нуждался и в свободе внешней.

Отказ директора института выдать мне рекомендацию для поездки в Венгрию отражал, конечно, не столько его личное отношение ко мне, сколько указания, данные ему сверху относительно моего статуса. Ведь в картотеке ЦК КПСС на моей карточке должно было быть четко записано, что мне разрешено, а что запрещено. Там есть записи такого характера (не ручаюсь за точность воспроизведения, но ручаюсь за смысл): «печатать ограниченно», «книг не публиковать», «выезд за границу не разрешать» и пр.

Мои попытки добиться напечатания книги успеха не имели. От меня ждали капитуляции, покаяния, но для меня это было абсолютно исключено. Следовательно?

Черта была подведена. Я решил покинуть свою страну и отправиться в добровольное (если это можно назвать добровольным) изгнание. Летом 1975 года мне удалось установить связь со своей двоюродной сестрой Верой, которая уехала в Палестину из Латвии, где она жила еще в

1932 году, и сейчас, как я вскоре узнал, была матерью и бабушкой многочисленного клана.

У меня было свое личное отношение к ней.

В 1932 году, когда я узнал о ее намерении уехать в Палестину, я написал ей ужасное письмо, которого стыдился потом всю свою жизнь. Я обвинял ее в том, что она предала международный пролетариат и пр. Ее мать, горячо любимая мною тетя Иоганна, говорила как-то много лет спустя, что Вера плакала, получив мое письмо. Когда я написал это письмо, мне было всего 12 лет, но это как-то не утешало меня.

Поэтому, прежде всего, я послал кузине письмо, в котором просто попросил прощения за свой отвратительный поступок. В ответ я получил от нее очень умное и очень важное для меня послание. Вера предостерегала меня от необдуманного решения, очень точно и очень объективно обрисовав мне трудности моего будущего положения. Спустя год пребывания на Западе, я должен признаться, что она многое предвидела. В октябре Вера прислала мне формальное приглашение поселиться в Израиле.

Но еще до того, в августе 1975 года, умерла моя мать. Это была случайность, нелепая, но трагическая. Я уехал на три дня на дачу к другу, а когда возвратился, не нашел мамы дома. Оказалось, что она, выходя во двор нашего дома, упала и переломила бедро... Через две недели ее не стало. Мы были очень душевно близки, и ее смерть была для меня одним из тягчайших ударов. Отец умер еще раньше, в 1965 году. С Надей мы расстались в 1973 году.

...После смерти матери я почувствовал, как одиночество железной рукой схватило меня за горло. Несколько недель я был не в силах оставаться надолго в комнате матери. У меня были друзья, которые были со мной долгие годы, и мы делили наши общие и отдельные радости и печали. И все же, когда я возвращался домой, я оставался один, наедине со

своими мыслями или с отсутствием таковых, и это было нелегко. Я чувствовал, что мне нужно хотя бы на время покинуть Москву.

Задолго до того в течение многих лет мои университетские друзья звали меня совершить поездку по Средней Азии, где я никогда не был. Они жили в Ташкенте. Так я отправился в сентябре 1975 года в Ташкент. Отсюда началось наше путешествие. Я побывал в Самарканде, Хиве, Бухаре, в столице автономной Кара-Калпакии Нукусе, где находится удивительный музей искусств, созданный художником-собирателем. Такого второго не сыщешь, пожалуй, не только в Советском Союзе, но и за его пределами. Мы проехали из столицы Киргизии Фрунзе по побережью горного озера Иссык-Куль и побывали в Пржевальске, очаровательном городке в предгорьях Тянь-Шаня. Там стоит памятник великому русскому путешественнику Пржевальскому. Молва гласит, что он и был подлинным отцом Сталина. Во всяком случае его портреты и скульптурное изображение действительно очень напоминают черты Сталина. Из Пржевальска мы полетели в Алма-Ату, столицу Казахстана. Короче говоря, за этот месяц мы объехали всю Среднюю Азию, за исключением Туркмении. Времени не хватило.

Это путешествие останется, наверное, одним из самых ярких моих впечатлений в жизни. И оно стало таким благодаря заботам моих дорогих ташкентских друзей.

Возвратившись в Москву и открыв дверь квартиры, я обнаружил на полу пачку писем и среди них одно, которого я ожидал с большим нетерпением, — формальное приглашение от Веры.

...Разговор мой с Жуковым был предельно кратким.

— Вы твердо решили?

— Разумеется. Ведь я предупредил Вас о таком исходе за девять месяцев. За это время Вы не дали мне никакого ответа.

Жуков промолчал. Я откланялся и ушел. Характеристику я получил в течение 10 дней. Спустя еще две недели, собрав необходимые документы, я подал прошение на выездную визу.

Сначала в институте отнеслись к этому совершенно спокойно. Но в середине января 1976 года отношение ко мне резко изменилось. По чьему-то указанию директор института

Жуков собрал актив института, человек 40. На этом заседании он сделал сообщение о моем намерении уехать. Он не скрыл, что в феврале я был у него, предъявил требования, которые, по его словам, «институт не мог выполнить», и предупредил его о возможности отъезда. От желающих выступить отбоя, говорят, не было. Особенно разнузданно вели себя некоторые молодые люди, совсем в духе недоброй памяти 1937 года. Но не их выступления огорчали меня, тем более что не было особенным секретом, что некоторые из них служат не только в институте... Огорчили меня выступления людей старшего поколения, таких, как С. Л. Утченко, В. М. Далин. Особенно последний. Далин провел 20 лет в лагере и остался по своей психологии на том же уровне, на котором его застал арест. А ведь Далин — подлинный ученый, бессребреник. Один из выступавших истерично кричал, что «Некрич предал идеалы, за которые проливал свою кровь». Были и просто лживые выступления, вроде выступления А. О. Чубарьяна. Собрание актива приняло резолюцию, осуждающую мое «предательство», и рекомендовало провести аналогичные собрания по секторским партийным организациям.

Процедура осуждения затянулась на полтора месяца и закончилась лишь в конце февраля.

Сам я не присутствовал ни на одном из заседаний. Меня пригласили на актив в довольно странной форме: позвонили и сказали, что меня вызывает директор на такой-то час.

Трусость и подлость проявились и в этом последнем акте — директор института побоялся открыто сказать мне, зачем меня вызывают. Я понял эту игру и на заседание не пошел, резонно полагая, что могу взорваться, быть спровоцированным кем-нибудь на горячие слова. Кроме того, их задача заключалась в том, чтобы «вынуть» мою нервную систему, что они и пытались достичь разными способами на протяжении семи лет. Неужели я сорвусь в этот последний момент? Наши интересы диаметрально противоположны. Если хотят, чтобы я пришел, то я не должен идти. И я не пошел.

Вскоре после собрания, проведенного в нашей секторской партийной организации, на котором заявляли, что я чуть ли не связан с Бонном (!), подавляющее большинство моих коллег по сектору перестало со мной здороваться...

В моей душе не было чувства озлобления, нет, скорее жалость к этим людям, с которыми я работал бок-о-бок многие годы, жалость, что они добровольно согласились на такое унижение.

Я продолжал работать, завершая свою плановую работу для сборника по истории английского рабочего класса. Работа называлась «*Английский рабочий класс и Вторая мировая война*». Я сдал ее в срок и ожидал обсуждения, которое так и не произошло.

Спустя некоторое время после собраний меня пригласил ученый секретарь Института всеобщей истории Н. Калмыков и сообщил, что на всех собраниях была единодушно принята резолюция, осуждающая мое решение покинуть Советский Союз, и было высказано мнение, что я должен уйти из института, подав заявление об освобождении меня от работы.

Я попросил Калмыкова ознакомить меня со стенограммой заседания актива, но получил ответ, что

стенограмма находится у директора и что после ее выправления я смогу с ней ознакомиться. Но этого так и не произошло... Мой ответ Калмыкову был предельно ясен: эмиграция официально разрешена советским правительством. Я подал документы на выезд и ожидаю ответа в соответствии с законом. Этот вопрос решается учреждениями, специально уполномоченными на то правительством. Всякие собрания, осуждения и тому прочее являются самодеятельностью и находятся в грубом противоречии с законом. Поэтому я решительно отвергаю любые резолюции, принятые на такого рода собраниях и спокойно ожидаю решения компетентных организаций. Я буду продолжать свою работу в институте до того момента, пока не получу разрешения на выезд. Конечно, если институт хочет, чтобы я ушел как можно скорее, то почему бы ему не обратиться в соответствующие учреждения и не попросить их ускорить процедуру выдачи визы? На том наш разговор и закончился и никогда больше не возобновлялся.

Хотя я был осужден подавляющим большинством сотрудников, но среди них нашлось несколько мужественных людей, которые отказались поддержать предложенную резолюцию, заявив, что вопрос эмиграции является частным делом, а не предметом общественного разбирательства. Некоторые сотрудники попросту не явились по разным причинам на собрания осуждения. Да, многое изменилось со времени смерти Сталина. Чувство самоуважения неизмеримо выросло, и оно будет расти, разрушая корни конформизма. Этот процесс может приостановить только возобновление массового террора. Но, думается мне, время для этого уже прошло.

Где-то в середине апреля я включил радиоприемник и услышал сообщение Би-Би-Си о процессе в Омске над Мустафой Джемилевым, лидером крымско-татарского

движения за восстановление прав татар Крыма и возвращение их на родину. Он должен был выйти из тюрьмы в связи с окончанием срока, к которому он был приговорен, но палачи не желали выпускать этого мужественного человека на свободу, поскольку им не удалось сломить его волю. Во время суда произошли столкновения, при которых охранники подняли руку на академика Сахарова и его жену. Когда я услышал это, меня внезапно охватил такой гнев, с которым я просто был не в состоянии совладать. Я сел и написал обращение к своим коллегам-историкам, призывая их к протесту. Немного поостыв, я позвонил Сахарову и узнал, что он еще не вернулся из Омска. Тогда я решил подождать до его приезда, чтобы получить достоверную информацию о том, что произошло. Мы встретились уже после его интервью иностранным корреспондентам о суде в Омске. Когда я выразил Сахарову сочувствие, ему и его жене, он ответил: «Выражать сочувствие нужно не мне, а Джемилеву». Да, он был прав.

...Я позвонил в агентство «Рейтер» и условился о встрече с корреспондентом агентства. Мы встретились около кукольного театра Образцова на Садовом кольце. Когда я подошел к нему, черная кагэбэшная «Волга» отъехала от театра. Наша встреча была зафиксирована. Но меньше всего я думал об этом. Затем я решил, что будет ошибкой с моей стороны, если я передам свое заявление только представителям буржуазной печати. Я в принципе считал неправильным, что диссиденты игнорируют коммунистическую печать Запада, ибо тем самым они лишают себя возможности апеллировать ко всем оттенкам общественного мнения за рубежом. И об этом я не раз говорил диссидентам. Я не застал дома корреспондента «*Юманите*» и «*Униты*», но передал заявление корреспонденту английской коммунистической газеты «*Дейли уоркер*». Надо сказать, что лондонская «*Дейли уоркер*» была первой западной газетой, полностью

опубликовавшей мое заявление. Номер этой газеты от 21 апреля 1976 года был запрещен к продаже в Москве. Таким образом, я невольно причинил газете финансовый ущерб.

Мое заявление было встречено общественностью с пониманием. Не то было с иными моими коллегами, к которым, собственно, и было адресовано обращение. Некоторые из них упрекали меня в том, что я поставил их в тяжелое моральное положение, в то время как сам собираюсь покинуть страну. Мнение о неуместности моего заявления в связи с предстоящим моим отъездом было высказано и несколькими другими людьми. Я не считал и не считаю такие упреки справедливыми, ибо это заявление было сделано мною до получения разрешения на выезд, в Москве, когда еще я продолжал работать в Академии наук. Я тогда полагал и своего мнения не изменил: выражать свое публичное согласие или несогласие можно в любой момент, независимо от жизненных планов. Многие мои друзья разделяют это убеждение. Разрешение на выезд пришло через пять с половиной месяцев после подачи заявления — 24 мая 1976 года. Мне даже не прислали обычной повестки из ОВИР'а, а позвонили по телефону и предупредили, что мне дано две недели на сборы, но крайняя дата выезда была названа 1 июня, т. е.

через шесть дней! На мой недоуменный вопрос инспектор ОВИР'а озадаченно переспросила меня: «Как шесть дней?» — «Сосчитайте сами», — посоветовал я ей. Инспекторша сосчитала и сказала, что срок будет 7 июня. Фактически в моем распоряжении оставалось 12 дней. Не очень-то большой срок для 56-летнего ученого, прожившего всю свою жизнь в СССР. Но делать было нечего. Правда, я мог бы просить об отсрочке, но по опыту других я знал, что такого рода ходатайства связаны со встречами с сотрудниками КГБ и

со встречными просьбами или предложениями с их стороны. Я этого не хотел. И стал собираться.

На следующий день после получения разрешения на выезд 25 мая 1976 года я отправился на слушание апелляции Мустафы Джемилева в Верховный Суд РСФСР, что помещается на улице Куйбышева. Я ожидал встретить там многочисленную толпу диссидентов и родственников осужденного, но когда я поднялся на 3-й этаж, где происходило заседание суда, то встретил лишь несколько человек: Андрея Дмитриевича Сахарова, Петра Григорьевича Григоренко и его жену, Нину Ивановну Буковскую, потом подошла Ада Найденович. Было еще несколько человек, но всех имен я не знал. В зал заседания никого, за исключением сестры Джемилева, не допустили. И мы все скучились в маленьком закутке, примыкавшем к комнате машинописного бюро. Правда, здесь было окно и было светло. Время от времени мы выходили на лестничную площадку, где дежурили милицейские и сотрудники КГБ. Они с интересом посмотрели на меня, видно, лицо мое им было незнакомо, появилось еще несколько кэгэбистов, которых, видимо, позвали, чтобы они помогли установить мою личность. Через некоторое время они выяснили, кто я, тем более что моя фамилия была несколько раз названа, когда меня с кем-то знакомили.

В закутке, где мы находились, сидела беременная женщина, незнакомая нам, очевидно, сотрудница КГБ, внимательно слушавшая наши разговоры. На этой почве Ада «взыграла» и с трудом удалось ее успокоить. Каково же было мое удивление, когда примерно через полтора часа эту беременную женщину сменила другая сотрудница КГБ, также беременная! Меня это очень развеселило, видно, законы об охране труда строго соблюдаются в КГБ, и беременных сотрудниц направляют на «легкую» работу

открытого наблюдения и подслушивания. Меня поразило значительное количество женщин среди присутствовавших там сотрудников КГБ. Мне и в голову раньше не приходило, что столько женщин занимается в КГБ оперативной работой.

Наконец заседание суда окончилось. Из дверей зала вышла сестра Джемилева, маленькая хрупкая женщина с очень приятным лицом и мягкими манерами. Меня представили ей, и мы сердечно расцеловались. Оба мы были растроганы. Джемилева рассказала, что суд, как обычно, был не более чем фарсом, все убедительные доводы защиты были отвернуты, отказ главного свидетеля обвинения Владимира Дворянского от показаний, данных им под нажимом во время предварительного следствия, не был принят во внимание. Суровый приговор суда в Омске был подтвержден. Мы вышли на улицу и распрощались. Андрей Дмитриевич и я направились к метро. В двух метрах от нас, по проезжей части, вдоль тротуара шли двое сотрудников КГБ в милицейской форме. Один из них безо всякого стеснения держал в руках подслушивающий аппарат. Когда я подошел к подъезду своего дома, то в машину, стоявшую близ подъезда, сели двое сотрудников КГБ. Видимо, они хотели знать, куда я направлюсь из здания суда.

* * *

Расставанье... Ко мне пришли друзья, и они упаковывают мои чемоданы. Время от времени я подхожу к ним, пошучиваю, но сердце щемит. Вот эти добрые руки моих друзей собирают меня в дальний путь. Эта маленькая хрупкая отважная женщина и муж этой маленькой женщины, в шутку я называю его «ревнивцем», и другая женщина, которая, возможно, еще любит меня. И еще расставанье с моими любимыми друзьями. У одного из них твердый профиль римского центуриона и яркие голубые глаза. Приходят и уходят друзья. Драгоценные минуты

оставляемой навсегда жизни. Боже мой, неужели я никогда больше не увижу их?!

Никогда?! Я ненавижу это слово. Никогда — это значит небытие, смерть, забвение. И я стараюсь уверить себя, что обязательно еще встречусь с ними. Это будет, будет, и я внушаю эту веру и им, и, наверное, потому мы еще встретимся. А пока вот расстаемся на время, до встречи.

И еще расставание с теми, кто остается в стране, чтобы продолжать борьбу за права человека. Они остаются, эти мужественные люди — Сахаров, Григоренко, Орлов и другие, и другие. Последние встречи, рукопожатия, добрые напутствия. Накануне отъезда узнаю о создании группы по контролю над выполнением Хельсинкских решений.

...Последняя вечеринка у меня в доме с друзьями. Все свое имущество я раздарил друзьям, родственникам, но просил ничего не трогать до моего отъезда. Мне хотелось уехать из дома неразоренного, вроде как бы не насовсем, а на время и оставить дом таким, каким он был всегда...

...А потом проводы в аэропорту. Я прощаюсь: объятия, поцелуи, слезы, слова напутствия. Подымаюсь на площадку, друзья стоят внизу. Я делаю прощальный жест рукой и весело кричу, как лозунг: «Пенга-Пенга!» (шутя я говорил своим друзьям, что отправляюсь на уединенный остров в Тихом океане под названием Пенга-Пенга). Кричу весело. Внизу улыбаются, смеются, машут руками. Ухожу за загородку. Слезы стоят комом в горле, вот-вот разрыдаюсь. Все же беру себя в руки. Успокаиваюсь. Кому-то, кто покидал Москву до меня, я сказал вроде как в утешение: «Помни, что мир огромен и прекрасен. Надо только отрешиться от страха». И теперь я вдруг вспоминаю собственные слова.

Некрич Александр Моисеевич

Отрешись от страха

Воспоминания историка

16+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru